This book was produced in EPUB format by the Internet Archive.

The book pages were scanned and converted to EPUB format automatically. This process relies on optical character recognition, and is somewhat susceptible to errors. The book may not offer the correct reading sequence, and there may be weird characters, non-words, and incorrect guesses at structure. Some page numbers and headers or footers may remain from the scanned page. The process which identifies images might have found stray marks on the page which are not actually images from the book. The hidden page numbering which may be available to your ereader corresponds to the numbered pages in the print edition, but is not an exact match; page numbers will increment at the same rate as the corresponding print edition, but we may have started numbering before the print book's visible page numbers. The Internet Archive is working to improve the scanning process and resulting books, but in the meantime, we hope that this book will be useful to you.

The Internet Archive was founded in 1996 to build an Internet library and to promote universal access to all knowledge. The Archive's purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. The Internet Archive includes texts, audio, moving images, and software as well as archived web pages, and provides specialized services for information access for the blind and other persons with disabilities.

Created with hocr-to-epub (v.1.0.0)

The text on this page is estimated to be only 13.00% accurate

у У ВЕРЖЕННЫ



The text on this page is estimated to be only 2.00% accurate

Ijtcrt



ОТВЕРЖЕННЫЕ РОМАН том II МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1979

Перевод с французского Иллюстрации и оформление художника Т. И. КОСТЕРИНОИ Гюго В. Г 99 Отверженные. В 2-х томах. Т. 2. — М.: Правда, 1979. — 800 с., 4 л. ил. ИСБН Роман-эпопея «Отверженные» знаменитого французского писателя Виктора Гюго обличает буржуазный мир, его лицемерие и жестокость. Г Л304'267 79 4703000000 ив0(02)-79 И (Франц.) Текст печатается по изданию: Виктор Гюго. Собрание сочинений в 10-и томах, т. 4 — 7, Издательство «Правда»». М., 1972.

И (Франц.)
Г 99

Перевод с французского

Иллюстрации и оформление художника
Т. Н. КОСТЕРИНОЙ

Гюго В.

Г 99 Отверженные. В 2-х томах. Т. 2.— М.: Правда, 1979.— 800 с., 4 л. ил.

ИСБН

Роман-эпопея «Отверженные» знаменитого французского писателя Виктора Гюго обличает буржуазный мир, его лицемерие и жестокость.

Г $\frac{70304\text{-}267}{080(02)\text{-}79}$ 79 4703000000

И (Франц.)

Текст печатается по изданию:

Часть 3 МАРИУС (Продолжение)

Часть 3

МАРИУС

(Продолжение)

Книга шестая ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД Глава первая ПРОЗВИЩЕ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ФАМИЛИИ

В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного; выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый. В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски, и смеются над ним. На самом деле они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем. 5

Книга шестая
ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД

Глава первая
ПРОЗВИЩЕ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ФАМИЛИИ

В ту пору Мариус был красивым юношей среднего роста, с шапкой густых черных волос, с высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного; выражение его лица было горделивое, задумчивое и наивное. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с его целомудренным лбом. Глаза у него были небольшие, взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки заглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что на нем обноски, и смеются над ним. На самом деле они смотрели на не-

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил — «по-дурацки», как выражался Курфейрак. — Не лезь в святоши (они были на «ты»: в юности друзья легко переходят на «ты»), — говорил Курфейрак. — Мой тебе совет, дружище: поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, Мариус! А будешь бегать от них да краснеть — отупеешь. Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат!» Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин, и молодых и старых, да и самого Курфейрака. Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка». Другая была девочка; он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания. Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом, почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходившей на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил' Мариуса в эту аллею, — а это бывало почти ежедневно, — он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие паттталоны, синий редингот и широкополую шляпу, на вид новенькие, с иголочки, черный галстук и квакер

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил — «по-дурацки», как выражался Курфейрак.

— Не лезь в святоши (они были на «ты»: в юности друзья легко переходят на «ты»),— говорил Курфейрак.— Мой тебе совет, дружище: поменьше читай и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутовки не так уж плохи, поверь мне, Мариус! А будешь бегать от них да краснеть — отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат!»

Послушав Курфейрака, Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал женщин, и молодых и старых, да и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила его служанка». Другая была девочка; он очень часто видел ее, но не обращал на нее внимания.

Больше года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших рядом, почти всегда на одной и той же скамейке, в самой уединенной части аллеи, выходившей на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею,— а это бывало почти ежедневно,— он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе, но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие пан-

скую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Чистюля-вдовец!» — крикнула однажды, проходя мимо, гризетка. Голова у него была совсем седая. В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она показалась ему тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь. Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них. А те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали. Девочка весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности. Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут. Вот как это происходило. Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь сызнова. Раз шесть мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка .явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стре7

скую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Чистюля-вдовец!» — крикнула однажды, проходя мимо, гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда Мариус увидел, как девочка, сопровождавшая старика, села подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она показалась ему тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное, плохо скроенное платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было назвать стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он перестал думать о них. А те, должно быть, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали. Девочка весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к исходному пункту и начинал путь сызнова. Раз шесть мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову поздороваться. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому их заметили студенты, изредка приходившие погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на

мительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца — «господином Белым». Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А! Господин Белый тут как тут!» — говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного г-ном Белым. Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его г-ном Белым. Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил мало приятной. Глава вторая LUX FACTA EST1 На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил прогулки в Люксембургский сад и почти полгода не показывался в аллее. Но вот однажды, ясным летним утром, он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев. Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик нисколько не изменился, а девушка показалась ему совсем иной... Высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка, — пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся нц шее Венеры Жана Гужона. И, наконец, довершал (лат.).

мительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Только и запомнив, что цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «девицей Черной», а отца — «господином Белым». Никто не знал, как их зовут, и за отсутствием имени вошло в силу прозвище. «А! Господин Белый тут как тут!» — говорили студенты. Мариус тоже стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем именовать его г-ном Белым.

Первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку он находил мало приятной.

Глава вторая

LUX FACTA EST[1]

На второй год, как раз к тому времени, до которого мы дошли в своем повествовании, Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил прогулки в Люксембургский сад и почти полгода не показывался в аллее. Но вот однажды, ясным летним утром, он снова туда отправился. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет хор птиц и в его сердце голубеет лазурь небес, глядевшая сквозь листву дерев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца, увидел на той же скамье знакомую пару. Поравнявшись с ней, он заметил, что старик нисколько не изменился, а девушка показалась ему совсем иной... Высокая, красивая. Создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они сочетаются еще с наивной грацией ребенка,— пору мимолетную и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб, словно изваянный из мрамора, щеки, словно лепестки розы, легкий румянец, заалевшаяся белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И, наконец, довершал

обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа, хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов. Проходя мимо, Мариус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость. Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего; трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз. В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он вгляделся в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, в мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня — это существо, которое волнует вас. Но девочка не только выросла, в ней появилась одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель. Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищенства попадают в роскошь, сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги, — вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход. Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одеДая девушка. На ней было платье из черного дамй, пелеринка из той же материи и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, ко

обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа, хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо, Мариус не мог разглядеть ее глаза, все время остававшиеся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего; трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он вгляделся в девушку, то убедился, что это была она. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, в мгновение ока бутон распускается, и вы видите розу. Вчера это был еще ребенок, сегодня — это существо, которое волнует вас.

Но девочка не только выросла, в ней появилась одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточно полгода, чтобы облечься в красоту. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно после дурного сна, из нищенства попадают в роскошь, сорят деньгами, становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись деньги,— вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериносовое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая девушка. На ней было платье из черного дама́, пелеринка из той же материи и белая креповая шляп-

торыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности. А старик совсем не изменился. Когда Мариус, проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом. Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее. В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там «отра и дочь», но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку. Глава третья ДЕЙСТВИЕ ВЕСНЫ Был теплый день; Люксембургский сад заливали' свет и тень, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе; он ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились. Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все. Словно неожиданно сверкнула молния. Девушка опустила глаза, Мариус пошел дальше. То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, — то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся. 10

торыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

А старик совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже думая о другом.

Он еще несколько раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус по-прежнему приходил в Люксембургский сад, по-прежнему заставал там «отца и дочь», но не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

Глава третья

ДЕЙСТВИЕ ВЕСНЫ

Был теплый день; Люксембургский сад заливали свет и тень, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали воробьи. Мариус раскрыл всю душу природе; он ни о чем не думал, он только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взгляды встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все. Словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка — то была таинственная бездна.

У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости! Этот первый взгляд еще не сознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые невольно расставляет невинность и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины. Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью. Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «на каждый день»,' иными словами — в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях. Глава четвертая НАЧАЛО СЕРЬЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь! — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад. о По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, сказал товарищам: «Я только что встретил но

У каждой девушки бывает день, когда она так смотрит. Горе тому, кто случится поблизости!

Этот первый взгляд еще не сознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые невольно расставляет невинность и в которые, сама того не желая и не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не поверг в глубокую задумчивость человека, на которого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном, роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, цветок, именуемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной небрежностью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «на каждый день», иными словами — в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозчичьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, протертом на локтях.

Глава четвертая

НАЧАЛО СЕРЬЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ

На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь! — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал

вую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса ç придачу. Наверно, он шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий». Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в трм отчета и полагал, что ведет себя как всегда. Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке» г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим». Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни обычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какая глупая книга — «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке и ça ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние. Но, по мере того как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть 12

вую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Наверно, он шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке» г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни обычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какая глупая книга — «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул об-

его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что сидели сзади, вздумалось взглянуть на него. Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось П{й)йти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было то же платье из дамй и та же креповая шляпка, что и накануне.' До него донесся чей-то дивный голос — наверное, «ее голос». Она что-то не спеша рассказывала. Она была прехорошенькая. Он чувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением,— думал он,— если бы узнала, что не кто иной, как я, — подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию Жиль Блаза!» Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться. Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой н Черным платьем он любовался, могла остаться совер* шенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку. 13

его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что сидели сзади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось пройти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было то же платье из дама́ и та же креповая шляпка, что и накануне. До него донесся чей-то дивный голос — наверное, «ее голос». Она что-то не спеша рассказывала. Она была прехорошенькая. Он чувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением,— думал он,— если бы узнала, что не кто иной, как я,— подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию *Жиль Блаза!*»

Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен. По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его

Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь. Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца «г-н Белый». ' Несколько минут стоял он, опустив голову и чертя h¿ песке тростью. Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой. В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба. Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье. Глава пятая ГРОМЫ НЕБЕСНЫЕ РАЗРАЖАЮТСЯ НАД ГОЛОВОЙ МАМАШИ ВОРЧУНЬИ На другой день мамаша Ворчунья — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела, — итак, мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме. Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне; издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер. 14

Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца «г-н Белый».

Несколько минут стоял он, опустив голову и чертя на песке тростью.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

Глава пятая

ГРОМЫ НЕБЕСНЫЕ РАЗРАЖАЮТСЯ НАД ГОЛОВОЙ МАМАШИ ВОРЧУНЬИ

На другой день мамаша Ворчунья — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но сорвиголове Курфейраку не было до этого никакого дела,— итак, мамаша Ворчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Он сел здесь, как и накануне; издали ему хорошо были видны белая шляпка, черное платье и особенно голубое сияние. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запирать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и решил, что они прошли через калитку, выходившую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая

На другой день — это был уже третий по счету — мамашу Ворчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме. — Три дня подряд! — воскликнула она. Она пошла было за ним, но Мариус шел быстра, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» — ворчала она. А Мариус опять пошел в Люксембургский сад. Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним. Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова. Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение. Глава шестая ВЗЯТ В ПЛЕН Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в £уках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под 13

На другой день — это был уже третий по счету — мамашу Ворчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

— Три дня подряд! — воскликнула она.

Она пошла было за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля здравого смысла?» — ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была в самом деле изумительно хороша. Если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность, то разве в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

Глава шестая

ВЗЯТ В ПЛЕН

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случи-

руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, — думал он, — я не успею принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, то казалось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные, мягкие шаги. Он вообразил, что г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней, и говорит: «Я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взором. Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной — той совершенной красотой, и женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на верху блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги. Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги. Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен. Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице. 10

руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже,— думал он,— я не успею принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится целую вечность, то казалось, что не прошло и мгновения. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос.— Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближались их мерные, мягкие шаги. Он вообразил, что г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову, а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался с духом подойти к ней, и говорит: «Я пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым бездонным взором.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Прекрасной — той совершенной красотой, и женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на верху блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком. — Пойдем со мной обедать,— предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону. .гг — А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака. — Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво! Он был безумно влюблен. После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр. — Плачу я, — заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в Адретской гостинице. Мариус смеялся от души. Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — привело его в ужас. На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишерй. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения. — А все-таки очень приятно иметь орден I — воскликнул он. — Это уж смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу. — Нет! — возразил Жан Прувер, — Тут не до смеха. Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало сильной страсти. И все это сделал один только взгляд. Когда мина заложена, когда все подготовлено к 17

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком.

— Пойдем со мной обедать,— предложил он.

Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону.

— А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака.— Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр.

— Плачу я,— заявил он.

Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в *Адретской гостинице*. Мариус смеялся от души.

Вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы не прочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похохотать. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях Кишера́. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения.

— А все-таки очень приятно иметь орден! — воскликнул он.

— Это уж смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

— Нет! — возразил Жан Прувер.— Тут не до смеха.

Действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало сильной страсти.

И все это сделал один только взгляд.

взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд — это искра. Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано? Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд в вас вцепился* Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути, попались ли вы по рассеянности, как и почему это случилось — не важно. Но вы погибли. Вас тянет туда всего. Вас скуют таинственные силы. Сопротивление напрасно. Человеческая помощь бесполезна. От колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой; все муки, все пытки придется вам претерпеть, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины обезображенный стыдом или преображенный любовью. Глава седьмая ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БУКВОЙ «У» И ДОГАДКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОЙ БУКВЫ Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которая именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь. Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус щ Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его. «У него дежурство», — говорил Курфейрак. А Мариус испытывал ни 18

взрыву, то дальше все идет просто. Взгляд — это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Что было ему предначертано?

Женский взгляд напоминает машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд в вас вцепился. Вцепился ли он в вашу мысль, оказавшуюся на его пути, попались ли вы по рассеянности, как и почему это случилось — не важно. Но вы погибли. Вас тянет туда всего. Вас скуют таинственные силы. Сопротивление напрасно. Человеческая помощь бесполезна. От колеса к колесу машина потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой; все муки, все пытки придется вам претерпеть, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины обезображенный стыдом или преображенный любовью.

Глава седьмая

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БУКВОЙ «У» И ДОГАДКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОЙ БУКВЫ

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию одержимости, которая именуется страстью. Обожествление отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло в глубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и

с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было — девушка смотрела на него! Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». Как истинный макиавеллист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине — со дня рождения! Губы ее отвечали одному, глаза — другому. Надо думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка! Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естественный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье; подлив масла в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный 19

с чем не сравнимое блаженство. Сомнений не было — девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». Как истинный макиавеллист, рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по получасу неподвижно простаивал подле какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, тоже поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Марпусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве со дня творения и каждой женщине — со дня рождения! Губы ее отвечали одному, глаза — другому.

Надо думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо при появлении Мариуса он часто поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиатором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка!

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естественный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все росла. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье; подлив масла в огонь, оно совсем затуманило ему глаза. Однажды, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без вышивки, но очень белый, тонкий носовой платок

аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы, и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква «У», — думал он, — обозначает имя. Наверное, Урсула! Чудесное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть. — Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он. А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана. В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это. — О стыдливость! — говорил себе Мариус. Глава восьмая ДАЖЕ ИНВАЛИДЫ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ Если мы уже произнесли слово «стыдливость» и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный ветер, колыхавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок. Вдруг еще более резвый порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Феокрита, приподнял ее платье — не менее священное, чем покрывало Изиды, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость. 20

аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ничего не знал о милой девочке, не знал ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Первое, что он узнал о ней, были эти две буквы, и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква «У»,— думал он,— обозначает имя. Наверное, Урсула! Чудесное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

— Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он.

А платок принадлежал старику, который выронил его из кармана.

В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

— О стыдливость! — говорил себе Мариус.

Глава восьмая

ДАЖЕ ИНВАЛИДЫ МОГУТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ

Если мы уже произнесли слово «стыдливость» и если мы не желаем ничего таить, то должны сказать, что, несмотря на свое упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный ветер, колыхавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса. Мариус тотчас поднялся и стал пристально глядеть им вслед, как это и подобало человеку, потерявшему от любви рассудок.

Вдруг еще более резвый порыв ветра, которому, по всей вероятности, было поручено делать дело весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Феокрита, приподнял ее платье — не менее священное, чем покрывало Изиды, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел

Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там,— думал он,— мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Вообразить себе только! То, что она натворила, ужасно!» Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был ветер; но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо От ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее. Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с г-ном Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый, свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?» Это была их «первая ссора». Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого; сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какоето непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» — повторял он себе. А, чтоб он пропал, этот инвалид! 21

Божественным движением, полным испуга, девушка оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там,— думал он,— мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Вообразить себе только! То, что она натворила, ужасно!» Бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был ветер; но Мариус, в котором зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда его «Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла вместе с г-ном Белым мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый, свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался в аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого; сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, серебряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был

Время притупляет остроту чувства. Гнев Мариуса на «Урсулу», гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня. Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие. Глава девятая ЗАТМЕНИЕ Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл, — будто «ее» зовут Урсулой. Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет. Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу». Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид. С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дому. Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она. Однажды вечером, проводив их до дому и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника: — Скажите, это вернулся жилец второго этажа? — Нет, — ответил привратник,— это жилец третьего. Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса. — Его квартира выходит на улицу? 22

Время притупляет остроту чувства. Гнев Мариуса на «Урсулу», гнев праведный, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

Глава девятая

ЗАТМЕНИЕ

Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл,— будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиатора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дому.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дому и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

— Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

— Нет,— ответил привратник,— это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Ма-

— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, — объяснил привратник. — А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус. — Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным. — А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус. Привратник поднял голову. — Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он. Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад. «Превосходно, — думал он. — Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже». На другой день г-н Белый . и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмот‘рел на Мариуса. На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день. С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас. На -следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь — влюбленного. Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось. Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило? — подумал 23

— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу,— объяснил привратник.

— А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус.

— Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

— А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

— Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно,— думал он.— Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь появились в Люксембургском саду ненадолго. Они ушли засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально посмотрел на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас.

На следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, любовь — влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь

он. — Лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный. На следующий день, — теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него уже не существовал, — на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду, но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен в мрак. Мариус постучался и вошел в ворота. — Дома господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника. — Он съехал, — ответил тот. Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил: — Когда? — Вчера. — А где он теперь живет? — Не знаю. — Разве он не оставил своего нового адреса? — Нет. Привратник вскинул глаза и узнал Мариуса. — Ах, это вы! — сказал он. — Стало быть, вы и впрямь шпион?

он.— Лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день,— теперь он жил ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него уже не существовал,— на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду, но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен в мрак.

Мариус постучался и вошел в ворота.

— Дома господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника.

— Он съехал,— ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

— Когда?

— Вчера.

— А где он теперь живет?

— Не знаю.

— Разве он не оставил своего нового адреса?

— Нет.

Привратник вскинул глаза и узнал Мариуса.

— Ах, это вы! — сказал он.— Стало быть, вы и впрямь шпион?

Книга седьмая ПЕТУШИНЫЙ ЧАС Глава первая РУДНИКИ И РУДОКОПЫ Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего или нижнего трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек; иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке Энциклопедия представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира. Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда 25

Книга седьмая
ПЕТУШИНЫЙ ЧАС

Глава первая
РУДНИКИ И РУДОКОПЫ

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название *третьего* или *нижнего трюма*. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек; иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке *Энциклопедия* представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы развернуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми

встречаются и • братаются между собой. Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельностиэтого движения взад И вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее. Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ. Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той граии, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого— призраки; люди будущего — личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа. Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии — какие небывалые образы! 26

встречаются и братаются между собой. Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности,— этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого — призраки; люди будущего — личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии —

Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах. Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, — что не верно, — однако, без сомнения, труд их весьма различен; мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, а эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом. Взгляд, полный мрака,— другой знак. С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы. Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет. Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли ниж* ним трюмом. Это могильный мрак. Это подземельѣ слепых. Inferi *. Дальше уже начинается бездна. 1 Преисподняя (лат.). 27

Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками,— что не верно,— однако, без сомнения, труд их весьма различен; мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, а эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака,— другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. *Inferi* [1].

Дальше уже начинается бездна.

Глава вторая САМОЕ ДНО

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик Сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти. Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такие слова, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности, а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать Князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры. Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс. Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости. Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла. Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож ни

Глава вторая

САМОЕ ДНО

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик Сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такие слова, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности, а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать Князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Ласнеры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враж-

когда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все. Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество. У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют, — стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление. Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак. Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле — одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится Злом. Глава третья БАБЕТ, ЖИВОГЛОТ, ЗВЕНИГРОШ И МОНПАРНАС С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас. Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед 29

когда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют,— стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак.

Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле —одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится Злом.

Глава третья

БАБЕТ, ЖИВОГЛОТ, ЗВЕНИГРОШ И МОНПАРНАС

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья,

вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, — вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имей за плечами такой опыт, он стал бандитом. Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка; три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что сталось с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире, его окружающем: Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в Вестнике, что некая женщина произвела на свет вполне 30

вами Геркулес Фарнезский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина,— вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглоту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, а также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка; три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что сталось с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире, его окружающем: Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в *Вест-*

жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! — воскликнул он. — Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!» Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Это его собственное выражение. Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет, «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя, — Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос, — он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо, — его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли. Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет,- у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурноз, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозно-: го, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на его душу и обратила этого 31

жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! — воскликнул он.— Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Это его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак»,— говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говаривал: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя,— Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос,— он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо,— его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», нало-

Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство — это прежде всего праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, — таков был этот модник подземного мира. Глава четвертая СОСТАВ ШАЙКИ Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за толпу. Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества. Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли поДряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать 32

Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство — это прежде всего праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шепотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице,— таков был этот модник подземного мира.

Глава четвертая

СОСТАВ ШАЙКИ

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа в маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а поста-

необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах. Они собирались обычно с наступлением ночи — это был час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить. «Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час». Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час, — эти имена сохранились в особых списках: Крючок, он же Весенний, он же Гнус. Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним). Башка, шоссейный рабочий; он уже встречался в нашем рассказе. Вдова. Финистер. Гомер Огю, негр. т. 2. 2. «Отверженные», 33

необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах.

Они собирались обычно с наступлением ночи — это был час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час,— эти имена сохранились в особых списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий; он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Дай-срок. Депеша. Фаунтлерой, он же Цветочница. Бахвал, отбывший срок каторжник. Шлагбаум, он же господин Дюпон. Южный вал. Дроздище. Карманьол ыцик. Процентщик, он же Бизарро. Кружевник. Вверх-тормашки. Пол-лиарда, он же Два миллиарда. И т. д., и т. д. Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации. Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю. Что сталось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них: Ambubaiarum collegia, pharmacopolae mendici, mimae К И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже. Пусть особи истребляются — род остается. Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, все они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, 1 Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (лат.) — 0тйх из «Сатир» Горация. 34

Дай-срок.
Депеша.
Фаунтлерой, он же Цветочница.
Бахвал, отбывший срок каторжник.
Шлагбаум, он же господин Дюпон.
Южный вал.
Дроздище.
Карманьольщик.
Процентщик, он же Бизарро.
Кружевник.
Вверх-тормашки.
Пол-лиарда, он же Два миллиарда.
И т. д., и т. д.

Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что сталось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них: *Ambubaiarum collegia, pharmacopolae mendici, mimae*[1]. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются — род остается.

Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, все они блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что,

кажется, грех было б^ их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пау^и. Всякому, ктр набредет на них или увидит мель* ком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы. Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье!

кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы, можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье!

Книга восьмая КОВАРНЫЙ БЕДНЯК Глава первая МАРИУС, РАЗЫСКИВАЯ ДЕВУШКУ В ШЛЯПКЕ, ВСТРЕЧАЕТ МУЖЧИНУ В ФУРАЖКЕ Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний; он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло. Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?» Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел её! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус 36

Книга восьмая
КОВАРНЫЙ БЕДНЯК

Глава первая
МАРИУС, РАЗЫСКИВАЯ ДЕВУШКУ В ШЛЯПКЕ, ВСТРЕЧАЕТ МУЖЧИНУ В ФУРАЖКЕ

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний; он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось?

по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер». Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника. Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла. В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать. 37

по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым

не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, — говорил он себе, — это просто сходство». Глава вторая НАХОДКА Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания. Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж. Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое Сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двустишие, ставшее классическим: Пусть светит солнце, пусть сияет, — Медведь в берлогу уползает. А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо — увы, таково несовершенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать. Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Ворчунья мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог: — Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь задаром! Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурив голову. Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях — одну высокую и худую, другую поменьше; 38

не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности,— говорил он себе,— это просто сходство».

Глава вторая

НАХОДКА

Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое Сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двустишие, ставшее классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет,—
Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо — увы, таково несовершенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Ворчунья мела пол, произнося одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

— Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь задаром!

Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понурив голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в

тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от когото спасаясь в испуге; девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледиые лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала: — Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали. — Я их заметила, — сказала другая. — И как припущу! Как припущу! Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать. Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса; мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли. Мариус приостановился. Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги. «Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус. Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать. По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака. «Бедные матери! — подумал он. — Еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути». Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада. «Как мрачна стала моя жизнь! — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы». 39

тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге; девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

— Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

— Я их заметила,— сказала другая.— И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса; мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли.

Мариус приостановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания»,— подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! — подумал он.— Еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути».

Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

«Как мрачна стала моя жизнь! — говорил он себе.— Девушки и теперь встречаются на моем пути

Глава третья ЧЕТЫРЕХЛИКИЙ Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане ^сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу, его потерявшему. Мариус развернул конверт. Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны. На письмах были проставлены адреса. От всех четырех разило дешевым табаком. Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...» Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, а раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее: «Милостивая государыня! Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание. Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть, Милостивая государыня, Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роя40

Глава третья

ЧЕТЫРЕХЛИКИЙ

Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть,— возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило дешевым табаком.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...»

Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, а раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его.

Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня!

Добрадетель милосердия и сострадания есть та добрадетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь нещасной нации. Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,

Милостивая государыня

лист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь». Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9». Вот что прочел Мариус в этом письме: «Милостивая государыня! К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищите. Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением тетушка Бализар». Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее: «Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер. Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ощасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке. Главной моей задачей является угадить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняит положение при каждом дуновении ветра. 41

лист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня!

К Вам обращается нещасная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищите.

Уповая на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка Бализар».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что́ на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ощасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитаится в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадить моде, этому капризному, при-

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствии зависти и себелюбия прнвилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка. Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушаит мне ірешимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедствинное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены. Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо. Жанфло, литиратор. P. S. Хотя бы 40 су. Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходитъ...» Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот каково содержание этого немногословного письма: «Благодетель! Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедствинного положения, а я представлю Вам свои документы. При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения. Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть 42

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствии зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушаит мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедственное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое нижайшее почтение господину и госпоже Пабуржо.

Жанфло, литиратор.

P. S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Вот каково содержание этого немногословного письма:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедственного положения, а я представлю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения.

немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращатся за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим. В ожидании Вашего посещения или вспомощиетвования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим, муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой П. Фабанту, драматический актер». Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось. Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса. Далее, все письма исходили как будто от четырех разных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком. Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все онн исходят от одного лица? В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки: литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана. Трудиться над разгадкой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют е ним в жмурки и дразнят его. Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил

немного облигчить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращатся за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, нижайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех разных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки: литератор Жанфло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

на бульваре. Скорее всего, это были просто ненужные бумаги. Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать. Около семи часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь. У него не было никакого ценного имущества; линіь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут»,— говорила мамаша Ворчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Ворчуньи, у него украли пару старых сапог. В дверь снова постучали и опять так же тихо. — Войдите,— сказал Мариус. Дверь отворилась. — Что вам угодно, мамаша Ворчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе. — Извините, сударь,— ответил чей-то незнакомый голос. Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков. Мариус живо обернулся и увидел девушку. Глава четвертая РОЗА В НИЩЕТЕ В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода; с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пя44

на бульваре. Скорее всего, это были просто ненужные бумаги.

Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

У него не было никакого ценного имущества; лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут»,— говорила мамаша Ворчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Ворчуньи, у него украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо.

— Войдите,— сказал Мариус.

Дверь отворилась.

— Что вам угодно, мамаша Ворчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

— Извините, сударь,— ответил чей-то незнакомый голос.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус живо обернулся и увидел девушку.

Глава четвертая

РОЗА В НИЩЕТЕ

В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода; с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерз-

тидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает ужас, то вызывает слезы. Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне. Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его. — Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку. — У меня письмо для вас, господин Мариус,— ответила она тем же голосом пьяного каторжника. Она назвала Мариуса по имени; таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут? Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Ее всю трясло от холода. Она протянула Мариусу письмо. Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал: «Молодой человек, любезный мой сосед! Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себе надеждой, что ваше великадушное сердце разжалобится вслед45

тидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку.

— У меня письмо для вас, господин Мариус,— ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Ее всю трясло от холода.

Она протянула Мариусу письмо.

Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед!

Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна.

ствии этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щидрот своих. Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого. Жондрет. P. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус». Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера; оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось. Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах. Здесь было пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель, У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом. Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли — туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, — а это, несомненно, были они,— он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше. Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку-профессионала и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убе^

ствии этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щидрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

P. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера; оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь было пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли — туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета,— а это, несомненно, были они,— он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку-профессионала и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма

гали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, • по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек, ни девушек, ни женщин, — двух порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных. То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса. Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комоде принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам. — Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она. И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд. Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей. 47

гали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек, ни девушек, ни женщин,— двух порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комоде принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

— Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо,

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей. Она подошла к столу. — Ах, книги! — сказала она. В ее тусклых глазах блеснул огонек. — Я тоже умею читать, — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, — стремление, не чуждое ни одному человеческому существу. Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла: — - «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо. „» Она остановилась. — А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами. Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула: — И писать я тоже умею! Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила: — Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь. И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли». — Ошибок нет, — бросив перо, заявила она. — Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы... Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь: — Э-эх! И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки: Голодно, папаша, В доме хлеба нету. Холодно, мамаша, Мы совсем раадеты. Дрожи, Нанетта, Рыдай, Жанетта! 48

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей. Она подошла к столу.

— Ах, книги! — сказала она.

В ее тусклых глазах блеснул огонек.

— Я тоже умею читать,— добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться,— стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

— «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо...»

Она остановилась.

— А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

— И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

— Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

— Ошибок нет,— бросив перо, заявила она.— Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:

— Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,
В доме хлеба нету.
Холодно, мамаша,
Мы совсем раздеты.
Дрожи,

Едва закончив куплет, она снова заговорила: — Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет. Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала: — А знаете, господин Мариус, вы красавчик! И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться. Она подошла и положила ему руку на плечо. — Вы не обращаете на меня никакого внимания,— продолжала она,— а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут. Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но, кроме хрипа, у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш. Мариус тихонько отодвинулся. — У меня тут пакет, — сказал он своим обычным холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его. И он протянул ей конверт с четырьмя письмами. Девушка захлопала в ладоши. — И где мы только его не искали! — воскликнула она. Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая: — Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совсем без надобности, ну мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А как вы до49

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

— Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

— А знаете, господин Мариус, вы красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.

Она подошла и положила ему руку на плечо.

— Вы не обращаете на меня никакого внимания,— продолжала она,— а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но, кроме хрипа, у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

— У меня тут пакет,— сказал он своим обычным холодным тоном.— Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт с четырьмя письмами.

Девушка захлопала в ладоши.

— И где мы только его не искали! — воскликнула она.

Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая:

— Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обыскались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совсем без надобности, ну мы

гадались, что они мои? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина». Она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». — Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне! Очень кстати. Пойду снесу — может, даст на завтрак. И снова засмеявшись, пояснила: — Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Черт побери! А если вам этого мало, так и подыхайте, собаки! Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной. Он порылся в жилетном кармане, но ничего, не нашел. А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса: — Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора Богоматери, мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Глядика, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации,— кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь! 50

гадались, что они мои? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

— Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне! Очень кстати. Пойду снесу — может, даст на завтрак.

И снова засмеявшись, пояснила:

— Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Черт побери! А если вам этого мало, так и подыхайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса:

— Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора Богоматери, мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Глядика, там вода!» Звезды, как плошки на иллюминации,— кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то невесть что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кру-

И она окинула его блуждающим взглядом. Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». Оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке. Девушка схватила монету. — Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она. И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила: — Пять фрацков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малек! Как тут не втюриться! Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, — жареного, пареного! Ешь, пей, сколько влезет! Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив: — До свидания, сударь! Все равно. Пойду к своему старикашке. Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча: — Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь! Потом ушла. Глава пятая ПОТАЙНОЕ ОКОНЦЕ, УКАЗАННОЕ ПРОВИДЕНИЕМ В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, — надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, — надо видеть в нищете ребенка. Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него 51

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне, во всяком случае, хватит,— подумал он,— а завтра будет видно». Оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Девушка схватила монету.

— Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

— Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малек! Как тут не втюриться! Браво, блатари! Двое суток лопай, жри,— жареного, пареного! Ешь, пей, сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

— До свидания, сударь! Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

— Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь!

Потом ушла.

Глава пятая

ПОТАЙНОЕ ОКОНЦЕ, УКАЗАННОЕ ПРОВИДЕНИЕМ

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел,— надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел,— надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, не раз-

нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор. Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки. Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость— эта эпидерма души,— все безжалостно попирается в поисках средств опасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом смешении попов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы. Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака. Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи. Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв,— каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были

нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — эта эпидерма души,— все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв,— каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают,

поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение? Читая себе эту мораль, — а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал,— Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, 53

поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль,— а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал,— Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны, выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которою было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно

но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», — подумал Мариус. Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть. Глава шестая ХИЩНИК В СВОЕМ ЛОГОВЕ В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов. Именно вертеп и увидел Мариус. Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки. В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей известке. На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был 54

но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится»,— подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

Глава шестая

ХИЩНИК В СВОЕМ ЛОГОВЕ

В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей известке. На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми со-

камин, потому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни. Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и человекообразные чудовища. Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса. В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «СОН». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях; женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью: Моренго Аустерлис • Иена Ваграм Элоу Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять. За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй. Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора прида55

камин, потому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «СОН». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях; женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью:

Моренго
Аустерлиц
Иена
Ваграм
Элоу

Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали

вали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное. У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы. Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был. Он что-то писал, вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус. На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ, 1814 г.». Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова: — Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, неудачников — чего с ними церемониться! — закапывают в ннзине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь. Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил: — Так бы и перегрыз всем горло! У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок и сто лет. Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями. 56

вали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал, вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ, 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова:

— Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, неудачников — чего с ними церемониться! — закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее сгнили! Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

— Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа. На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно бледную долговязую девочку,— она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала. Это, конечно, была младшая сестра приходившей К нему девушки. На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!» Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девочка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею. Сейчас это создание казалось еще ребенком. Ничто в комнате не указывало на занятие какимлибо трудом: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень — спутница отчаяния и предвестница смерти. Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь. Чердак, подвал, подземелье, где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, — это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду. Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера. 57

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно бледную долговязую девочку,— она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, конечно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девочка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо трудом: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень — спутница отчаяния и предвестница смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье, где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды,— это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только

Старик проворчал, не переставая писать: — Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь! Этот вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох. — Успокойся, дружок! — промолвила она. — Не огорчайся, душенька! Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек. В бедности люди жмутся другу к другу, точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувство. Уста говорили «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало. Старик снова принялся писать. Глава седьмая СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум; это удержало его. Дверь чердака внезапно распахнулась. На пороге появилась старшая дочь. Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней ме видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула: -г— Идет! Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась. — Кто идет? — спросил отец, — Тот господин. ÉÔ

Старик проворчал, не переставая писать:

— Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Этот вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

— Успокойся, дружок! — промолвила она.— Не огорчайся, душенька! Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности люди жмутся другу к другу, точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувство. Уста говорили «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

Глава седьмая

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум; это удержало его.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:

— Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

— Кто идет? — спросил отец.

— Филантроп? - Да. — Из церкви святого Иакова? - Да. — Тот самый старик? - Да. — И он придет? — Сейчас. Следом за мной. — Ты уверена? — Уверена. — В самом деле придет? — Едет в наемной карете. — В карете! Да это настоящий Ротшильд! Отец встал. — Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Толь* ко бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал? — Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина,— ответила дочка. — Слушай: вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» «Я провожу вас, сударь», — говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо. — Откуда же ты взяла, что он приедет? — Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом. — А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр? — Да ведь я же заметила номер! — Ну-ка, скажи, какой? — - Четыреста сорок. — Так. Ты, девка, не дура. Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила: 59

— Филантроп?
— Да.
— Из церкви святого Иакова?
— Да.
— Тот самый старик?
— Да.
— И он придет?
— Сейчас. Следом за мной.
— Ты уверена?
— Уверена.
— В самом деле придет?
— Едет в наемной карете.
— В карете! Да это настоящий Ротшильд!

Отец встал.

— Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

— Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина,— ответила дочка.— Слушай: вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвешиваю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» «Я провожу вас, сударь»,— говорю я. А он: «Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо.

— Откуда же ты взяла, что он приедет?

— Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

— А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?
— Да ведь я же заметила номер!
— Ну-ка, скажи, какой?
— Четыреста сорок.
— Так. Ты, девка, не дура.

— Может быть, и не дура, но только я не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны,— во-первых, в них простудиться можно, а потом грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу: чав, чав, чав! Уж лучше буду босиком ходить. — Верно, — ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки, — но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен,— добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: — Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а? — За мной по пятам едет,— сказала она. Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием. — Слышишь, жена? — крикнул он. — Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь. Мать, опешив, не двигалась с места. Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни. Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал: — Тащи-ка солому из стула! Дочь не поняла. Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь. — На дворе холодно? — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья. — Очень холодно. Снег валит. Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал: — ■ Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло! Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати. — Выбивай стекло! — повторил он. Она застыла в изумлении. — Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец. Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки. — Хорошо, — сказал отец.

— Может быть, и не дура, но только я не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны,— во-первых, в них простудиться можно, а потом грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу: чав, чав, чав! Уж лучше буду босиком ходить.

— Верно,— ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки,— но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К господу богу вход босиком воспрещен,— добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: — Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

— За мной по пятам едет,— сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

— Слышишь, жена? — крикнул он.— Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

— Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

— На дворе холодно? — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

— Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал:

— Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.

— Выбивай стекло! — повторил он.

Она застыла в изумлении.

— Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец.

Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном раз-

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака. Ни дать ни взять полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой. Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле: — Что это ты задумал, голубчик? — Ложись в постель! — последовал ответ. Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать. В углу послышался плач. — Что там еще? — закричал отец. Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда она забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери. Тут настал черед матери. Она вскочила с криком: — Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась. — Тем лучше, это было мною предусмотрено, — сказал муж. — То есть как тем лучше? — завопила женщина. — Молчать! Я отменяю свободу слова, — объявил отец. Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки. Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку. — Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше. Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце Сретенья, и в самом деле наступил. Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головни, чтобы их 61

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

— Что это ты задумал, голубчик?

— Ложись в постель! — последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать.

В углу послышался плач.

— Что там еще? — закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда она забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут настал черед матери. Она вскочила с криком:

— Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

— Тем лучше, это было мною предусмотрено,— сказал муж.

— То есть как тем лучше? — завопила женщина.

— Молчать! Я отменяю свободу слова,— объявил отец.

Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

— Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце Сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться,

совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал: — Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа. Глава восьмая ЛУЧ СВЕТА В ПРИТОНЕ Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала: — Пощупай, как я озябла! — Подумаешь! Я озяб еще больше,— ответил отец. Мать запальчиво крикнула: — Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого! — Заткнись! — сказал муж. Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала. Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывав ла; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала: — Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца. — Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец и обратился к старшей: — Дьявольщина, его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно. — И дочурку поранил! — прошептала мать. — Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су,— одежда! Одарить хле62

совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

— Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

Глава восьмая

ЛУЧ СВЕТА В ПРИТОНЕ

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

— Пощупай, как я озябла!

— Подумаешь! Я озяб еще больше,— ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

— Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

— Заткнись! — сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала:

— Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

— Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец и обратился к старшей: — Дьявольщина, его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

— И дочурку поранил! — прошептала мать.

— Известно ли вам,— продолжал отец,— что на нашем чертовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, кото-

бом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но денег-то они как раз и не дают! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и хорошенько встряхнуть! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, так-то лучше! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина... Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул: — Входите, сударь! Окажите честь войти, глубокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня. На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка. Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык. То была Она. Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «Она». Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь. Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса! Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после долгих поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу. Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная 63

бом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но денег-то они как раз и не дают! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и хорошенько встряхнуть! Все бы перебилось, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, так-то лучше! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина...

Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

— Входите, сударь! Окажите честь войти, глубокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после долгих поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только лицо

шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек. Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый. Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток. Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико. Глава десятая ЖОНДРЕТ ЧУТЬ НЕ ПЛАЧЕТ В конуре было темно, и всякий входивший сюда с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались нерешительно, ■еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно. Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал: — Сударь! Здесь, в свертке, вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла. — Посланец божий, благодетель наш! — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли. Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал: — Ну? Что я говорил? Обноски! А денежки где? Все господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею? — Фабанту, — отвечала дочь. — Драматический актер, великолепно. Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника: — Я вижу, что вы в плачевном положении, господин... — Фабанту, — быстро подсказал Жондрет. — Господин Фабанту, да, так... Вспомнил. — Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек.

Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.

Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

Глава десятая

ЖОНДРЕТ ЧУТЬ НЕ ПЛАЧЕТ

В конуре было темно, и всякий входивший сюда с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

— Сударь! Здесь, в свертке, вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

— Посланец божий, благодетель наш! — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли.

Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

— Ну? Что я говорил? Обноски! А денежки где? Все господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

— Фабанту,— отвечала дочь.

— Драматический актер, великолепно.

Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

— Я вижу, что вы в плачевном положении, господин...

— Фабанту,— быстро подсказал Жондрет.

— Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа». — Я ученик ТальМа, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничижение нищего с проезжей дороги,— Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой: нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую погоду! Супруга в постели! Больна! — Бедняжка! — сказал г-н Белый. — И дочурка поранилась, — добавил Жондрет. Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать. — Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика. Девочка громко заплакала. Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами: — Бедная детка! — Взгляните, милая барышня, — продолжал Жондрет, — у нее рука в крови! Несчастный случай, — попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку! — Неужели? — встревоженно спросил старик. Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее. — Увы, это так, благодетель! — ответил папаша. Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей: — Вглядись-ка в него получше! Затем он обернулся к г-ну Белому, и опять полились его плаксивые жалобы: — Подумайте, сударь, вся моя одежда — женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые холода. Не 8. «Отверженные», т. 2. 65

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа».

— Я ученик Тальма, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничижение нищего с проезжей дороги.— Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой: нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую погоду! Супруга в постели! Больна!

— Бедняжка! — сказал г-н Белый.

— И дочурка поранилась,— добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

— Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

— Бедная детка!

— Взгляните, милая барышня,— продолжал Жондрет,— у нее рука в крови! Несчастный случай,— попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять руку!

— Неужели? — встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее.

— Увы, это так, благодетель! — ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей:

— Вглядись-ка в него получше!

Затем он обернулся к г-ну Белому, и опять полились его плаксивые жалобы:

— Подумайте, сударь, вся моя одежда — жилет

в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь! Я готов пасть на колени перед монетой в десять су! Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас... Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Только попробуйте ослушаться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в Добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков. Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я делил с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь! Я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас... Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Только попробуйте ослушаться! Со мной шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, черт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квар-

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол. Жондрет буркнул на ухо старшей дочери: — Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты! В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула. — Господин Фабанту! — сказал он. — У меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны уплатить вечером?.. В глазах Жондрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить: — Да, глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина. — Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков. — Благодетель! — в восторге завопил Жондрет. И чуть слышно добавил: — Всмотрись в него хорошенько, жена! Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери. — До вечера, друзья мои! — сказал он. — В шесть часов? — переспросил Жондрет. — Ровно в шесть. Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук. — Сударь! Вы забыли ваш редингот, — сказала она. Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами. Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь: — Я не забыл, я нарочно оставил его. — О мой покровитель! — воскликнул Жондрет, — Мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра. — Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук, — сказал г-н Белый. — На дворе очень холодно. Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый редингот. Они вышли втроем: Жондрет впереди, за ним посетители. 67

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери:

— Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!

В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

— Господин Фабанту! — сказал он.— У меня только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны уплатить вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить:

— Да, глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

— Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

— Благодетель! — в восторге завопил Жондрет.

И чуть слышно добавил:

— Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери.

— До вечера, друзья мои! — сказал он.

— В шесть часов? — переспросил Жондрет.

— Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

— Сударь! Вы забыли ваш редингот,— сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

— Я не забыл, я нарочно оставил его.

— О мой покровитель! — воскликнул Жондрет.— Мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра.

— Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук,— сказал г-н Белый.— На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый редингот.

Они вышли втроем: Жондрет впереди, за ним по-

Г лава десятая ТАКСА НАЕМНОГО КАБРИОЛЕТА: ДВА ФРАНКА В ЧАС Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он ,çqзерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен. Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Ои не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб. Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, — Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? 68

Глава десятая

ТАКСА НАЕМНОГО КАБРИОЛЕТА: ДВА ФРАНКА В ЧАС

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая,— Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса,

Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты. В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж. Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар; экипаж был уже ОЧень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут — чудесная, неслыханная случайность! — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход. Мариус знаком остановил экипаж. — Почасно! — крикнул он. Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана. Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы. — Что такое? — спросил Мариус. — Плата вперед, — сказал кучер. Мариус вспомнил, что у него было всего шестнадцать су. — Сколько? — спросил он. — Сорок су. — Уплачу по приезде. Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь. Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою Любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру несчастной дочери

Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут — чудесная, неслыханная случайность! — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж.

— Почасно! — крикнул он.

Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

— Что такое? — спросил Мариус.

— Плата вперед,— сказал кучер.

Мариус вспомнил, что у него было всего шестнадцать су.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок су.

— Уплачу по приезде.

Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он

Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он вновь связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии. Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал. В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью. Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней. Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же .Весенний, он же Гнус; на него как-то указал ему Курфейрак; в квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время ой был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через ко70

Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он вновь связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное; спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же Весенний, он же Гнус; на него как-то указал ему Курфейрак; в квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы

торый в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя: Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал. Глава одиннадцатая НИЩЕТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ГОРЮ Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку,— ведь именно к ней и перешли его пять франков, — но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители; очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Однако она не закрылась плотно; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука. — Что такое? Кто там? — спросил он и увидел дочь Жондрета. — Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно? Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре,— Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь. — Отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам от меня нужно! Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала: — Господин Мариус! У вас такой печальный вид! Что с вами? — Со мной? 71

торый в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя: Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал.

Глава одиннадцатая

НИЩЕТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ГОРЮ

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку,— ведь именно к ней и перешли его пять франков,— но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители; очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась плотно; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

— Что такое? Кто там? — спросил он и увидел дочь Жондрета.

— Это вы? — почти грубо продолжал Мариус.— Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре,— Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

— Отвечайте же! — воскликнул Мариус.— Что вам от меня нужно!

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала:

— Господин Мариус! У вас такой печальный вид! Что с вами?

— Да, с вами. — Ничего. — Что-то все-таки есть! — Нет. — А я говорю — есть. — Оставьте меня в покое. Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее. — Слушайте, это вы зря,— сказала она,— Вы небогаты, а какой были добрый утром! Ну станьте опять таким! Вы мне дали на пропитанье. Скажите же: что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу! Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, — посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной. У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет! Он приблизился к дочери Жондрета. — Послушай...— сказал он. Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули: — Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится. — Хорошо,— продолжал он,— Ведь это ты привела сюда старика с дочкой... - Да. — Ты знаешь их адрес? — Нет. — Узнай мне его. Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным. — Только это вам и надо? — спросила она. - Да. — Вы с ними знакомы? — Нет. 72

— Да, с вами.
— Ничего.
— Что-то все-таки есть!
— Нет.
— А я говорю — есть.
— Оставьте меня в покое.

Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее.

— Слушайте, это вы зря,— сказала она.— Вы небогаты, а какой были добрый утром! Ну станьте опять таким! Вы мне дали на пропитанье. Скажите же: что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу! Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь,— посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить, я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

— Послушай...— сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули:

— Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

— Хорошо,— продолжал он.— Ведь это ты привела сюда старика с дочкой...
— Да.
— Ты знаешь их адрес?
— Нет.
— Узнай мне его.

Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным.

— Только это вам и надо? — спросила она.
— Да.

— Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться. Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью. — Ну как? Сумеешь? — спросил Мариус. — Я добуду вам адрес красивой барышни. Тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал : — В конце концов не важно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих. Она пристально посмотрела на него. — Что вы мне за это дадите? — Все, что пожелаешь. — Все, что пожелаю? - Да. — Вы получите адрес. Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь. Мариус остался один. Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния, — вот что проносилось в его мозгу. Вдруг его задумчивость была грубо прервана. Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова: — Говорят тебе, я уверен! Я его узнал. О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо! Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке. И снова увидел внутренность логова Жондрета. 73

— Иначе говоря,— живо перебила его девушка,— вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью.

— Ну как? Сумеешь? — спросил Мариус.

— Я добуду вам адрес красивой барышни.

Тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:

— В конце концов не важно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально посмотрела на него.

— Что вы мне за это дадите?

— Все, что пожелаешь.

— Все, что пожелаю?

— Да.

— Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния,— вот что проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

— Говорят тебе, я уверен! Я его узнал.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в перегородке.

Глава двенадцатая НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА Г-НА БЕЛОГО

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочки успели вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати. Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное. Наконец жена, видимо, потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести: — Неужели правда? Ты уверен? — Конечно, уверен! Прошло восемь лет. И всетаки я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза? — Нет. — Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, — некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются,— ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись! Он остановился, крикнул дочерям: — Эй, вы, убирайтесь отсюда! — И, обращаясь к жене, добавил: — Чудно, что тебе не бросилось в глаза. Дочери покорно встали. — С больной рукой!.. — пробормотала мать. — Воздух ей на пользу,— отрезал Жондрет,— Убирайтесь. Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли. В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал: — Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобитесь. Это заставило Мариуса удвоить внимание. 74

Глава двенадцатая

НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА Г-НА БЕЛОГО

С виду в семействе Жондрета все было по-прежнему, если не считать того, что жена и дочки успели вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, по-видимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо, потрясенная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

— Неужели правда? Ты уверен?

— Конечно, уверен! Прошло восемь лет. И все-таки я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

— Нет.

— Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел,— некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются,— ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись!

Он остановился, крикнул дочерям:

— Эй, вы, убирайтесь отсюда!—И, обращаясь к жене, добавил: — Чудно́, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

— С больной рукой!..— пробормотала мать.

— Воздух ей на пользу,— отрезал Жондрет.— Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту, когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и многозначительным тоном сказал:

— Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне пона-

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки. Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул: — Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица... — Ну? Что такое? — подхватила жена. — Что девица? У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе. Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил: — Это она! — Вот эта? — спросила жена. — Вот эта! — подтвердил муж. Трудно передать выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «вот эта». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным. — Быть не может! — закричала она. — И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Дама, да и только! Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а эта недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она! — А я тебе говорю — она. Сама увидишь. При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы. — Вот как,— прошипела она. — Значит, эта расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы! Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуот* 75

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

— Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

— Ну? Что такое? — подхватила жена.— Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и громко закончил:

— Это она!

— Вот эта? — спросила жена.

— Вот эта! — подтвердил муж.

Трудно передать выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «вот эта». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось в зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

— Быть не может! — закричала она.— И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Дама, да и только! Да нет же, ты ошибся. Во-первых, та была уродина, а эта недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

— А я тебе говорю — она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла широкое кирпично-красное лицо и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. Это была свинья с глазами тигрицы.

— Вот как,— прошипела она.— Значит, эта расфуфыренная барышня, которая так жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

крытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу. После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки. — А хочешь, я скажу тебе еще кое-что? — Ну что? — спросила она. — Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо. Жена устремила на него взгляд, казалось, говорив ший: «Уж не спятил ли ты?» Жондрет продолжал: — Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, — мой, вот что! Пока не издох! Я желаю немножко пожить миллионером! Он прошелся по своей конуре и прибавил: — Не хуже иных прочих. — Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена. Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал: — Что я хочу сказать? Слушай! — Тсс... — заворчала тетка Жондрет. — Потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать. — Вот еще! Кому слупщть-то? Соседу? Я только что видел, как оц выходил из дому. Да и что оц поймет, эта глупая башка? А потом, я тебе говорю, что он ушел. Тем не менее Жондрет инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов. Вот что услышал Мариус: 76

крытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

— А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

— Ну что? — спросила она.

— Да то, что я теперь богач,— ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось, говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

— Проклятие! Довольно я хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, предвечный бог! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед,— мой, вот что! Пока не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

— Не хуже иных прочих.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена.

Он тряхнул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

— Что я хочу сказать? Слушай!

— Тсс...— заворчала тетка Жондрет.— Потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

— Вот еще! Кому слушать-то? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он поймет, эта глупая башка? А потом, я тебе говорю, что он ушел.

Тем не менее Жондрет инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропу-

— Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается. — А вдруг не расквитается? — спросила жена. Жондрет сделал угрожающий жест. — Тогда мы расквитаемся с ним. И засмеялся. Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу. Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом. — Ну, я ухожу, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом. Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул: — А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня — ни за что бы не пришел! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка! И он опять засмеялся. Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба. — Собачья погода! — сказал он и, запахнув редингот, добавил: — Эта шкура немного широковата. Ну ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит! Нахлобучив фуражку, он вышел. 77

— Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед раньше одиннадцати не возвращается. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он с нами расквитается.

— А вдруг не расквитается? — спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

— Тогда мы расквитаемся с ним.

И засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробегала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

— Ну, я ухожу,— сказал он.— Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

Засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

— А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня — ни за что бы не пришел! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И он опять засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

— Собачья погода! — сказал он и, запахнув редингот, добавил: — Эта шкура немного широковата. Ну ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все за-

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль. — Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с угольями. Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп». — Жаровню с углем? — переспросила жена. - Да. — Сколько мер угля купить? — Две с верхом. — Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду. — К черту обед! — Почему? — Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су. — Почему? — Потому что мне тоже нужно кое-что купить. — Что же? — Да так, кое-что. — Сколько тебе на это потребуется? — Где тут у нас ближняя скобяная лавка? — На улице Муфтар. — Ах, да, на углу, знаю! — Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки? — Пятьдесят су, а может, и все три франка. — Не много остается на обед. — Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее. — Как знаешь, мое сокровище. Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице. На Сен-Медарской колокольне пробило час. Глава тринадцатая SOLUS CUM SOLA. IN LOCO REMOTO, NON COGITABUNTUR ORARE «PATER NOSTER»1 Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышле1 Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (лат.). 78

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

— Совсем забыл,— сказал он.— Приготовь жаровню с угольями.

Он кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

— Жаровню с углем? — переспросила жена.

— Да.

— Сколько мер угля купить?

— Две с верхом.

— Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

— К черту обед!

— Почему?

— Не вздумай растранжирить всю монету, все сто су.

— Почему?

— Потому что мне тоже нужно кое-что купить.

— Что же?

— Да так, кое-что.

— Сколько тебе на это потребуется?

— Где тут у нас ближняя скобяная лавка?

— На улице Муфтар.

— Ах, да, на углу, знаю!

— Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на покупки?

— Пятьдесят су, а может, и все три франка.

— Не много остается на обед.

— Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.

— Как знаешь, мое сокровище.

Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, что его шаги, быстро удалявшиеся по коридору, мало-помалу затихли на лестнице.

На Сен-Медарской колокольне пробило час.

Глава тринадцатая

SOLUS CUM SOLA. IN LOCO REMOTO, NON COGITABUNTUR ORARE «PATER NOSTER»[1]

Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышле-

ниям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность негодовать; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; его глазам предстало гнездо чудовищ. «Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он. Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка, — непонятная, но ужасная ловушка; что над ними обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками. Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе. Он осторожно, бесшумно спустился с комода. Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит. Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами н вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов. Оставалось одно. Он надел сюртук, еще вполне приличный, повязал 79

ниям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может, ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность негодовать; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; его глазам предстало гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев»,— подумал он.

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если не считать того, что Жондрет их, оказывается, знал. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка,— непонятная, но ужасная ловушка; что над ними обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно, бесшумно спустился с комода.

Полный страха перед тем, что готовилось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то карауллит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хочет спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху. Вдобавок тетка Жондрет продолжала громыхать железом. Выйдя из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице. Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустырь низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса. Ему пришло в голову заглянуть за ограду. Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин. Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запушил снег. Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу. Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача: — Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет. — Так ли? — усомнился бородач. — Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, — ну, по десять, не больше! — возразил лохматый. — Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься,стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке. — А я тебе говорю, что промашки не будет, — настаивал лохматый,— Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове. Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гете. Мариус пошел дальше. Ему казалось, что непонятная речь субъектов, подозрительно расположившихся в укромном местечке аа стеной, прямо на снегу, возможно, имеет некоторое

шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок тетка Жондрет продолжала громыхать железом.

Выйдя из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Пройдя половину улицы, он увидел отгораживавшую пустырь низкую стену, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг совсем рядом он услышал голоса. Он оглянулся. Улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришло в голову заглянуть за ограду.

Сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, непокрытую голову его собеседника запушил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог слышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

— Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

— Так ли? — усомнился бородач.

— Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть,— ну, по десять, не больше! — возразил лохматый.

— Уж это-то наверняка. Тут не отвертишься,— стуча зубами от холода, нерешительно заметил бородач в греческом колпаке.

— А я тебе говорю, что промашки не будет,— настаивал лохматый.— Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гете.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь субъектов, по-

отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое дело. Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава. Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14. Мариус пошел туда. Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не' удается. Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь. Глава четырнадцатая ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДАЕТ АДВОКАТУ ДВА КАРМАННЫХ ПИСТОЛЕТА Подойдя к дому № 14 на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава. — Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии, — сказал один из писарей, — но его заменяет надзиратель. Может быть, вы поговорите с ним? У вас спешное дело? — Да, — ответил Мариус. Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал. С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком. — Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь». — Вы — господин полицейский пристав? — Его нет. Я его заменяю. — Я по весьма секретному делу. 81

отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое *дело*.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром Белого и ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

Глава четырнадцатая

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДАЕТ АДВОКАТУ ДВА КАРМАННЫХ ПИСТОЛЕТА

Подойдя к дому № 14 на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

— Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии,— сказал один из писарей,— но его заменяет надзиратель. Может быть, вы поговорите с ним? У вас спешное дело?

— Да,— ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

— Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

— Вы — господин полицейский пристав?

— Говорите. — И весьма срочному. — Говорите скорее. Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что человека, которого он, Мариус, знает лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности, «хозяева застав», в том числе Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, потому что даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52. Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил: — Комната в конце коридора? — Совершенно верно,— подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом? Надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу: — По-видимому, так. Он продолжал цедить сквозь зубы, обращаясь не столько к Мариусу, сколько к собственному галстуку: — Тут без Петушиного часа не обошлось. Его слова поразили Мариуса. — Петушиный час...— повторил он. — В самом деле, я слышал эти слова. Он рассказал надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, на снегу, за стеной на Малой Банкирской улице. Надзиратель пробурчал: — Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородатый — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда. Он снова Опустил глаза и предался размышлениям. — Ну, а насчет папаши Бесфамильного, — присовокупил он, — я тоже догадываюсь... Так и есть, я под82

— Говорите.

— И весьма срочному.

— Говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что человека, которого он, Мариус, знает лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности, «хозяева застав», в том числе Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, потому что даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

— Комната в конце коридора?

— Совершенно верно,— подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом?

Надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

— По-видимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, обращаясь не столько к Мариусу, сколько к собственному галстуку:

— Тут без Петушиного часа не обошлось.

Его слова поразили Мариуса.

— Петушиный час...— повторил он.— В самом деле, я слышал эти слова.

Он рассказал надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, на снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

— Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородатый — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

палил каррик!.. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо. Он взглянул на Мариуса: — Вы видели только бородача и лохмача? — И Крючка. — А этакого молоденького франтика? — Нет. — А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада? — Нет. — А этакого пройдоху, с виду старого паяца? — Нет. — Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили. — Действительно, не заметил. А что это за люди? — спросил Мариус. — Впрочем, это совсем не их час... — вместо ответа сказал надзиратель. Он помолчал, потом заговорил снова: — Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются тем, что отменят водевиль. Это народ скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать. Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор: — Вы боитесь? — Кого? — Этих людей? — Не больше, чем вас — мрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик ни разу не назвал его сударем. Надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какой-то нравоучительной торжественностью: — Вы говорите, как человек смелый и честный. Мужество не страшится зрелища преступления, честность не страшится властей. — Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? — прервал его Мариус. Надзиратель ограничился таким ответом: 83

палил каррик!.. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.

Он взглянул на Мариуса:

— Вы видели только бородача и лохмача?

— И Крючка.

— А этакого молоденького франтика?

— Нет.

— А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

— Нет.

— А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

— Нет.

— Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

— Действительно, не заметил. А что это за люди? — спросил Мариус.

— Впрочем, это совсем не их час...— вместо ответа сказал надзиратель.

Он помолчал, потом заговорил снова:

— Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются тем, что отменят водевиль. Это народ скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

— Вы боитесь?

— Кого?

— Этих людей?

— Не больше, чем вас,— мрачно отрезал Мариус, заметив наконец, что сыщик ни разу не назвал его сударем.

Надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какой-то нравоучительной торжественностью:

— Вы говорите, как человек смелый и честный. Мужество не страшится зрелища преступления, честность не страшится властей.

— Все это хорошо, но что вы думаете предпри-

— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ? — Да, — ответил Мариус. — Он при вас? - Да. — Дайте его мне, — сказал надзиратель. Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил: — Послушайтесь меня, приходите с охраной. Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, запустив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолета, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами: — Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда решите, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — все равно куда. Главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно. Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука. — Очень топорщится, сразу заметно. Лучше суньте их в жилетные карманы, — сказал надзиратель. Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы. — А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь? — К шести, — ответил Мариус. — Время у меня есть,— сказал надзиратель,— а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел. — Будьте покойны,— ответил Мариус.

— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

— Да,— ответил Мариус.

— Он при вас?

— Да.

— Дайте его мне,— сказал надзиратель.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

— Послушайтесь меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсказавшего ему рифму, и, запустив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолета, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

— Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда решите, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — все равно куда. Главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

— Очень топорщится, сразу заметно. Лучше суньте их в жилетные карманы,— сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

— А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

— К шести,— ответил Мариус.

— Время у меня есть,— сказал надзиратель,— а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

Когда он взялся за ручку двери, собираясь выйти, надзиратель крикнул: — Кстати, если я вам понадоблюсь раньше, приходите сюда или пришлите кого-нибудь. Спросите полицейского надзирателя Жавера. Глава пятнадцатая ЖОНДРЕТ ДЕЛАЕТ ЗАКУПКИ Немного погодя, часов около трех, Курфейрак и Боссюэ шли по улице Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом. — Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, — начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса,— тот шел к заставе, и вид у него был какой-то странный. — Смотри-ка! Мариус! — воскликнул Боссюэ. — Вижу, — сказал Курфейрак. — Только не стоит с ним заговаривать. — Почему? — Он занят. — Чем? — Разве ты не видишь, какое у него выражение лица? — Какое? — Да такое, будто он кого-то выслеживает. — Верно, — согласился Боссюэ. — А какие у него глаза! — заметил Курфейрак. — Ты только взгляни на него. — Какого же черта он выслеживает? — Какой-нибудь помпончик-бутончик. Он влюблен. — Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, — заметил Боссюэ. — Словом, ни одной девицы. Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса. — Мариус выслеживает мужчину! — воскликнул он. В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду. На нем был новый, длинный, не по его росту, редингот и ужасные рваные брюки, побуревшие от грязи. 85

Когда он взялся за ручку двери, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

— Кстати, если я вам понадоблюсь раньше, приходите сюда или пришлите кого-нибудь. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

Глава пятнадцатая

ЖОНДРЕТ ДЕЛАЕТ ЗАКУПКИ

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак и Боссюэ шли по улице Муфтар. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

— Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек,— начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса,— тот шел к заставе, и вид у него был какой-то странный.

— Смотри-ка! Мариус! — воскликнул Боссюэ.

— Вижу,— сказал Курфейрак.— Только не стоит с ним заговаривать.

— Почему?

— Он занят.

— Чем?

— Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

— Какое?

— Да такое, будто он кого-то выслеживает.

— Верно,— согласился Боссюэ.

— А какие у него глаза! — заметил Курфейрак.— Ты только взгляни на него.

— Какого же черта он выслеживает?

— Какой-нибудь помпончик-бутончик. Он влюблен.

— Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика,— заметил Боссюэ.— Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел в сторону Мариуса.

— Мариус выслеживает мужчину! — воскликнул он.

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; видели они только его спину, но сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, длинный, не по его росту, редин-

Боссюэ расхохотался. — Это еще что за тип, а? — Поэт, — заявил Курфейрак, — безусловно поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками и в рединготах пэров Франции. — Давай посмотрим, куда направятся Мариус и этот человек, — предложил Боссюэ. — Выследим их, идет? — О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак. — Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел! Они повернули обратно. И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить. Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку. Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы ПьерЛомбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и немного погодя был уже на Малой Банкирской улице. День склонялся к вечеру, снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся. Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несйойько ветхих тарантасов. Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время близилось к вечеру; по вечерам мама

Боссюэ расхохотался.

— Это еще что за тип, а?

— Поэт,— заявил Курфейрак,— безусловно поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют в штанах торговцев кроличьими шкурками и в рединготах пэров Франции.

— Давай посмотрим, куда направятся Мариус и этот человек,— предложил Боссюэ.— Выследим их, идет?

— О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак.— Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, что он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что̀ в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он вышел из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и немного погодя был уже на Малой Банкирской улице. День склонялся к вечеру, снег, на минуту прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, дойдя до низкой стены, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к

ша Бюртон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал ключ надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться. Наступил вечер, почти совсем стемнело; на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна. Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер. Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки; все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные угасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть — он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь. Глава шестнадцатая, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УСЛЫШИТ ПЕСЕНКУ НА АНГЛИЙСКИЙ МОТИВ. МОДНУЮ В 1832 ГОДУ Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, — так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство, с другой — надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при 87

ша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирать входную дверь, и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал ключ надзирателю, следовательно, надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело; на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась открытой. Он на цыпочках поднялся по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки; все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, слабо освещенные угасавшим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть — он боялся, как бы его не увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел вовремя. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

Глава шестнадцатая,

В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УСЛЫШИТ ПЕСЕНКУ НА АНГЛИЙСКИЙ МОТИВ, МОДНУЮ В 1832 ГОДУ

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах,— так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство, с другой — надвигалось правосудие. Страха он не испы-

внезапном столкновении с событием, из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара. Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой. У Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым. Было ясно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха, — там царила леденящая душу, глухая тишина; и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп. Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать. Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грузные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору; со стуком приподнялась щеколда: это вернулся Жондрет. Сразу послышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка. — Вот и я, — сказал Жондрет. — Добрый вечер, папочка! — завизжали дочки. — Ну как? — спросила жена. — Помаленьку, — отвечал Жондрет, — но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие. — Я готова, могу идти. — Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо? — Будь спокоен. — Дело в том... — сказал Жондрет. И не закончил фразу. Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности — купленное Им долото. — Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет. — Да, — ответила жена. — У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла,— спасибо, огонь еще был.

внезапном столкновении с событием, из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой.

У Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было ясно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха,— там царила леденящая душу, глухая тишина; и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грузные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору; со стуком приподнялась щеколда: это вернулся Жондрет.

Сразу послышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

— Вот и я,— сказал Жондрет.

— Добрый вечер, папочка! — завизжали дочки.

— Ну как? — спросила жена.

— Помаленьку,—отвечал Жондрет,— но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

— Я готова, могу идти.

— Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?

— Будь спокоен.

— Дело в том...— сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности — купленное им долото.

— Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет.

— Да,— ответила жена.— У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла.— спасибо.

— Отлично,— сказал Жондрет,— Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше! И, понизив голос, добавил: — Мышеловка открыта. Коты начеку. И еще тише: — Сунька это в огонь. Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или какимто железным инструментом. — Дверные петли смазала, чтобы не скрипели? — спросил Жондрет. — Да, — ответила жена. — Который теперь час? — Скоро шесть. Недавно пробило половину шестого на Сен-Медаре. — Черт возьми! — воскликнул Жондрет. — Девчонкам пора идти караулить. Эй вы, идите-ка сюда, слушайте! Они зашушукались. Потом снова послышался громкий голос Жондрета: — Бюргонша ушла? — Да, — ответила жена. — Ты уверена, что у соседа никого нет? — Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает. — Ты в этом уверена? — Уверена. — Все равно,— сказал Жондрет,— невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда. Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать. Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях просочился свет. — Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре. Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета. — Ты входила в комнату? — спросил отец. — Нет,— ответила дочь,— но раз ключ в дверях, значит, он ушел. — А все-таки войди! — крикнул отец. Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую де

— Отлично,— сказал Жондрет.— Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

И, понизив голос, добавил:

— Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

— Сунь-ка это в огонь.

Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом.

— Дверные петли смазала, чтобы не скрипели? — спросил Жондрет.

— Да,— ответила жена.

— Который теперь час?

— Скоро шесть. Недавно пробило половину шестого на Сен-Медаре.

— Черт возьми! — воскликнул Жондрет.— Девчонкам пора идти караулить. Эй вы, идите-ка сюда, слушайте!

Они зашушукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

— Бюргонша ушла?

— Да,— ответила жена.

— Ты уверена, что у соседа никого нет?

— Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

— Ты в этом уверена?

— Уверена.

— Все равно,— сказал Жондрет,— невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях просочился свет.

— Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

— Ты входила в комнату? — спросил отец.

— Нет,— ответила дочь,— но раз ключ в дверях, значит, он ушел.

— А все-таки войди! — крикнул отец.

вицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее. Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг передвигаемых железных предметов. Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом: Семь или восемь дней пылал огонь сердечный, И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас! Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной! Но счастье лишь блеснет и покидает нас. Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания. Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила: — Надел Париж белую рубаху и стал уродиной! Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль. — Ну что же ты? — крикнул отец. — Куда запропастилась? — Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, — отвечала она, взбивая волосы. — Никого. — Дуреха! — заревел отец,— Сейчас же сюда! Нечего время терять. — Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать: Вы бросили меня, ушли дорогой славы, Но сердцем горестным везде я там, где вы... Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь. А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам: — Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас. 90

вицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,
И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!
Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!
Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

— Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

— Ну что же ты? — крикнул отец.— Куда запропастилась?

— Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью,— отвечала она, взбивая волосы.— Никого.

— Дуреха! — заревел отец.— Сейчас же сюда! Нечего время терять.

— Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,
Но сердцем горестным везде я там, где вы...

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

— Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери

Старшая проворчала: — Попробуй покарауль босиком на снегу! — Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец. Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли. В доме остались Мариус, чета Жондретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустовавшей каморки. Глава семнадцатая НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА МАРИУСА Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке. Он заглянул внутрь. Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, — той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице ПьерЛомбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человек, не посвящённый в то, что здесь замышлялось, мбг бы предположить и самое худшее и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца. От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплы91

Старшая проворчала:

— Попробуй покарауль босиком на снегу!

— Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались Мариус, чета Жондретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустовавшей каморки.

Глава семнадцатая

НА ЧТО БЫЛА ИСТРАЧЕНА ПЯТИФРАНКОВАЯ МОНЕТА МАРИУСА

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение с проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.

Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище. Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев,— той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно, положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человек, не посвященный в то, что здесь замышлялось, мог бы предположить и самое худшее и самое безобидное. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

вая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем. Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха. Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, за*-летевшей в безобразные земные сны. Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни. Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там. Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами. Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом. Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Aral Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!» А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта. 92

вая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылавшее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем, даже когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, рассеивал чад и помогал скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о жилище Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Толща стен и множество необитаемых помещений отделяли эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шепотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, живо напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее дочь. По-видимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

А на Жондрете был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный Белым, и в его костюме по-прежнему поражало несоответствие между

Вдруг Жондрет возвысил голос: — Постой! Дай сообразить. Ведь по такой погоде, он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его. — А деньги где? — спросила жена. Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей лять франков. — Это еще откуда? — воскликнула она. — Тот лобанчик, что дал утром сосед, — с важным видом ответил Жондрет и прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула. — Зачем? — Чтобы было на чем сидеть. У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет: — Ладно! Пойду приволоку их от соседа. Она быстро отворила дверь и вышла в коридор. Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться. — Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку. — Не надо, — сказала она, — только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло. Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом. Тетка Жондрет вошла в комнату. Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно. Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью. Она вернулась в свою конуру. — Вот тебе стулья. — А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо!

Вдруг Жондрет возвысил голос:

— Постой! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, приедет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подымется, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустись бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

— А деньги где? — спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

— Это еще откуда? — воскликнула она.

— Тот лобанчик, что дал утром сосед,— с важным видом ответил Жондрет и прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

— Зачем?

— Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

— Ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор.

Мариусу не хватило времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

— Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку.

— Не надо,— сказала она,— только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч, разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

— Вот тебе стулья.

— А вот и фонарь,— сказал муж.— Спускайся,

Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один. Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями. Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета; очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил. «Это кузнечные инструменты»,— подумал Мариус. Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудия кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь». Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой; от самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе висело ожидание чего-то страшного. Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик. Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок. Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск. Жондрет вздрогнул и привстал, — Кто там? — крикнул он. 94

Она быстрым шагом вышла из комнаты, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял за бесформенную кучу хлама, оказалось отлично слаженной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни лестницы, ни похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета; очевидно, он принес их днем, когда Мариус уходил.

«Это кузнечные инструменты»,— подумал Мариус.

Если бы Мариус лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за орудия кузнеца особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, комната освещалась только свечой; от самого маленького черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в жутком и зловещем покое. В воздухе висело ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова сел за стол. Пламя свечи освещало острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и взмахивал правой рукой, как бы возражая на последние доводы грозного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок.

Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск.

Жондрет вздрогнул и привстал.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил смеясь: — Ну и болван же я! Это трещит перегородка. Мариус зажал пистолет в руке. Глава восемнадцатая ДВА СТУЛА МАРИУСА СТАВЯТСЯ ОДИН ПРОТИВ ДРУГОГО Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов. Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда послышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи. Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место. Не успел он сесть, как дверь отворилась. Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабляясь отвратительной льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря. — Милости просим, сударь! — сказала она. — Милости просим, благодетель вы наш! — вскочив, подхватил Жондрет. Появился Белый. Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение. Он положил на стол четыре золотых. — Господин Фабанту! — заговорил он. — Вот вам на квартиру и на неотложные расходы. А дальше будет видно. — Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал: — Отошли фиакр. Покуда ее муж кланялся и пододвигал стул Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо: — Отослала! Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как подкатил фиакр и как он отъехал. 95

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушался, затем проговорил смеясь:

— Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

Глава восемнадцатая

ДВА СТУЛА МАРИУСА СТАВЯТСЯ ОДИН ПРОТИВ ДРУГОГО

Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда послышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабляясь отвратительной льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

— Милости просим, сударь! — сказала она.

— Милости просим, благодетель вы наш! — вскочив, подхватил Жондрет.

Появился Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

— Господин Фабанту! — заговорил он.— Вот вам на квартиру и на неотложные расходы. А дальше будет видно.

— Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал:

— Отошли фиакр.

Покуда ее муж кланялся и пододвигал стул Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо:

— Отослала!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как под-

Белый сел. Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него. Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны, огоньки уличных фонарей, бросавшие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; дом Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух человек, сидевших за одним столом: Белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке. Мариус не испытывал страха; им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным»,— думал он. Он знал, что полиция близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника. Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать. Глава девятнадцатая ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕМНЫХ УГЛОВ Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, Белый спросил: — Как себя чувствует бедное раненое дитя? — Плохо, — отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой,— очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся. — А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя у двери, словно она уже

Белый сел.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны, огоньки уличных фонарей, бросавшие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может, на четверть мили вокруг; дом Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух человек, сидевших за одним столом: Белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Мариус не испытывал страха; им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным»,— думал он.

Он знал, что полиция близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

Глава девятнадцатая

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТЕМНЫХ УГЛОВ

Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, Белый спросил:

— Как себя чувствует бедное раненое дитя?

— Плохо,— отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой,— очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

— А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал Белый, рассматривая причудливый наряд тет-

сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом. — Она смертельно больна, — заявил Жондрет. — Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это не женщина, а бык. Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили: — Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет! — Жондрет? — удивился г-н Белый. — Я полагал, что вас зовут Фабанту? — Фабанту, а по сцене — Жондрет, — нашелся муж. — Псевдоним артиста. Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил Белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом: — Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь! Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо! Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная, зиявшая прорехами, широкие плисовые штаны' и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми 4. «Отверженные», т. 2. 97

сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

— Она смертельно больна,— заявил Жондрет.— Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

— Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

— Жондрет? — удивился г-н Белый.— Я полагал, что вас зовут Фабанту?

— Фабанту, а по сцене — Жондрет,— нашелся муж.— Псевдоним артиста.

Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил Белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом:

— Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь! Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной-единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная,

татуированными руками; лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно. Повинуясь внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет. — Ага, понимаю! — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы. — Вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет! — Что это за человек? — спросил Белый. — Это?.. — протянул Жондрет,— Это так, сосед. Не обращайте на него внимания. Вид у соседа был странный. Но в предместье СенМарсо расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность Белого говорила о полном доверии, в нем не чувствовалось и тени страха. — Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту? — Я говорил, мой дорогой покровитель, — подхватил Жондрет, облокотись на стол и вперив в Белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава, — я говорил, что у меня продается картина. Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, за теткой Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо. Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его. — Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть. Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только

татуированными руками; лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно.

Повинуясь внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

— Ага, понимаю! — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы.— Вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

— Что это за человек? — спросил Белый.

— Это?..— протянул Жондрет.— Это так, сосед. Не обращайте на него внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность Белого говорила о полном доверии, в нем не чувствовалось и тени страха.

— Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

— Я говорил, мой дорогой покровитель,— подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в Белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава,— я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, за теткой Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его.

— Не беспокойтесь,— продолжал Жондрет,— это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так

грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было намалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра. — Что это такое? — спросил Белый. Жондрет воскликнул с восторгом: — Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить. Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только г-н Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с выпачканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик; его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты — кто в носках, кто босиком. Жондрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей. — Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит обращать на них внимания, благодетель, лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого. Во сколько вы ее оцените? — Но ведь это вывеска с кабачка, ей цена не больше трех франков,— проговорил г-н Белый, пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрета. — При вас ли бумажник? — вкрадчивым голосом спросил Жондрет. — С меня довольно будет тысячи экю. Белый встал во весь рост, прислонился к стене и пробежал глазами по комнате. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно заскулил, обводя всех блуждающим взглядом, так что Белому могло показаться,

грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было намалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

— Что это такое? — спросил Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

— Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только г-н Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с выпачканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик; его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты — кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей.

— Это друзья. Живут по соседству,—сказал он.— Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит обращать на них внимания, благодетель, лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого. Во сколько вы ее оцените?

— Но ведь это вывеска с кабачка, ей цена не больше трех франков,— проговорил г-н Белый, пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрета.

— При вас ли бумажник? — вкрадчивым голосом спросил Жондрет.— С меня довольно будет тысячи экю.

Белый встал во весь рост, прислонился к стене и пробежал глазами по комнате. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его.

будто от нищеты у этого человека помутился рассудок. — Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, — продолжал ныть Жондрет, — я пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только: ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванью коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или для материи, нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть надо четырнадцать часов. Каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа! И за все — четыре су в день! Разве на это проживешь? Причитая, Жондрет не глядел на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза Белого были устремлены на Жондрета, глаза Жондрета — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!» Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу Белому и крикнул громовым голосом: — Все это вздор, не в этом дело! Вы меня узнаете? Глава двадцатая ЗАПАДНЯ Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную палку, окованную железом; другой, рослый детина, 100

будто от нищеты у этого человека помутился рассудок.

— Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель,— продолжал ныть Жондрет,— я пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только: ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванью коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или для материи, нужен резак для заготовки картона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть надо четырнадцать часов. Каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смачивать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа! И за все — четыре су в день! Разве на это проживешь?

Причитая, Жондрет не глядел на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза Белого были устремлены на Жондрета, глаза Жондрета — на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя: «Не умалишенный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу Белому и крикнул громовым голосом:

— Все это вздор, не в этом дело! Вы меня узнаете?

Глава двадцатая

ЗАПАДНЯ

Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных

держал за топорище, обухом вниз, топор, какой употребляют для боя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какой-нибудь двери. Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог. — Все готово? — спросил Жондрет. — Все, — отвечал тот. — А где Монпарнас? — Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой. — С которой? — Со старшей. — Фиакр стоит внизу? — Стоит. — А повозка запряжена? - Да. — А пару заложили хорошую? — Отличную. — Дожидаются, где я велел? - Да. — Ну хорошо, — сказал Жондрет. Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружавших его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой. Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины — нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца. Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «Это трубочисты», вытащили из кучи громадные ножницы для резки металла, тяже101

держал за топорище, обухом вниз, топор, какой употребляют для боя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог.

— Все готово? — спросил Жондрет.

— Все,— отвечал тот.

— А где Монпарнас?

— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

— С которой?

— Со старшей.

— Фиакр стоит внизу?

— Стоит.

— А повозка запряжена?

— Да.

— А пару заложили хорошую?

— Отличную.

— Дожидаются, где я велел?

— Да.

— Ну хорошо,— сказал Жондрет.

Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружавших его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины — нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про ко-

лый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, Нé тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него. Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора. Жондрет, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком. — Итак, вы меня не узнаете? — Нет, — ответил Белый, глядя ему прямо в глаза. Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевельнулся, свои тяжелые хищные челюсти и, застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул: — Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь вы узнаете меня? Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил негромким, недрогнувшим голосом: — И теперь не узнаю. Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выпустили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердЦа, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного завета, гласившего: «Человёк по имени ТенарДье спас мне

лый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком.

— Итак, вы меня не узнаете?

— Нет,— ответил Белый, глядя ему прямо в глаза.

Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевельнулся, свои тяжелые хищные челюсти и, застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул:

— Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь вы узнаете меня?

Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил негромким, недрогнувшим голосом:

— И теперь не узнаю.

Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выпустили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глуби-

жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!» Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление, — какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг. И вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве под Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, — казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил ЮЗ

жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление,— какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг. И вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве под Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти,— казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью

в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились перед ним. Если он выстрелит, то спасет Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли властным воспоминаниям, важнейшим обязательствам перед самим собой, священному долгу, святым письменам? Изменить заветам отца или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, и голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание. Между тем Тенардье, — впредь мы уже не будем называть его иначе, — в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию. Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену. Затем он с угрожающим видом повернулся к Белому и зарычал: — Проиграли сь, промотались, проторговались! В лоск! И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый: — Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий мильонщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой дочку Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый рединг от? Скажете — нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только

в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились перед ним. Если он выстрелит, то спасет Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли властным воспоминаниям, важнейшим обязательствам перед самим собой, священному долгу, святым письменам? Изменить заветам отца или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, и голос полковника, препоручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье,— впредь мы уже не будем называть его иначе,— в каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем он с угрожающим видом повернулся к Белому и зарычал:

— Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

— Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий мильонщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой дочку Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый редингот? Скажете — нет? И не

послушай, жена! Видно, такая уж у него блажь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Какой благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля, господин мильонщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, святоша?! Шут гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю вас! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда это проходит даром — забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким платьем и нищенским видом, с каким гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вам не удастся, разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей! Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал борное течение Роны, вдруг исчезающее в расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул: — Да при этом еще корчить праведника! И снова обратился к Белому: — Когда-то вы надо мной насмеялись, пропади вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну да не об том речь. Признайтесь: я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка? В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, как погляжу на него! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадмуазель Марс, — подумайте только, с самой мадмуазель Шептуньей! — 105

послушай, жена! Видно, такая уж у него блажь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Какой благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля, господин мильонщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, святоша?! Шут гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю вас! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда это проходит даром — забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким платьем и нищенским видом, с каким гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вам не удастся, разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг исчезающее в расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

— Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к Белому:

— Когда-то вы надо мной насмеялись, пропади вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором, черта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну да не об том речь. Признайтесь: я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка? В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, как погляжу на него! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту,

будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я думал про себя: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!» Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, — счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать. Белый не прерывал Тенардье. Когда же тот умолк, он сказал: — Я вас не понимаю. Вы ошибаетесь. Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого. — Ага! — захрипел Тенардье. — Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я? — Извините, сударь, — ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно,— я вижу, что вы бандит. Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки. — Эй ты, не суйся! — крикнул он жене и, повернувшись к Белому, разразился длинной тирадой: — Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, — значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! 106

будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши развесил, слушая мою чепуху! Умора! А я думал про себя: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило,— счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Белый не прерывал Тенардье. Когда же тот умолк, он сказал:

— Я вас не понимаю. Вы ошибаетесь. Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

— Ага! — захрипел Тенардье.— Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

— Извините, сударь,— ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно,— я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардье соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки.

— Эй ты, не суйся! —крикнул он жене и, повернувшись к Белому, разразился длинной тирадой:

— Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба,

Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне, смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши труііщбы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Знайте, господин мильонщик: я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы — еще неизвестно, кто вы такой! Тут Тенардье подошел к людям, стоявшим у дЕери, и, дрожа от гнева, добавил: — Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним сапожник! Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал: — Запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался под Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я не расслышал. Я разобрал только мерси. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысячи чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, 107

Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сакосского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне, смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедим, проглотим, голубчиков! Знайте, господин мильонщик: я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы —еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардье подошел к людям, стоявшим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

— Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним сапожник!

Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал:

— Запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался под Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я не расслышал. Я разобрал только *мерси*. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это.

давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите,— погибли, провались я на этом месте! Мариус справился со своим волнением, он слышал слова Тенардье. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу,— ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек. Его тревога росла. Но в речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуздавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, — во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда. Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, намалеванной, — единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения. Тенардье теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Тенардье и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный; картина оживляла перед ним отца; он видел не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полураэверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его; ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него. Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на Белого налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите,— погибли, провались я на этом месте!

Мариус справился со своим волнением, он слышал слова Тенардье. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу,— ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек. Его тревога росла. Но в речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуздавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино,— во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардье предлагал Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, намалеванной,— единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Тенардье теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Тенардье и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный: картина оживляла перед ним отца; он видел не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его; ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардье, отдышавшись и уставив на

— Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощеньем? Белый молчал. В наступившей тишине кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту: — Кому наколоть дров? Я готов! То была шутка человека с топором. И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, осклабленное лицо землистого цвета. Это был человек с топором. — Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардье. — Чтобы посмеяться, — ответил тот. Уже несколько минут Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому. Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол и, прежде чем Тенардье успел повернуться, с изумительным проворством, одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы. На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним. Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу. 109

— Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощеньем?

Белый молчал. В наступившей тишине кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту:

— Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, осклабленное лицо землистого цвета.

Это был человек с топором.

— Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардье.

— Чтобы посмеяться,— ответил тот.

Уже несколько минут Белый внимательно следил за каждым движением Тенардье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому.

Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол и, прежде чем Тенардье успел повернуться, с изумительным проворством, одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардье тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой Белого

Этого Мариус уже не мог выдержать. «Прости меня, отец!»— мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье: — Не троньте его! Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый. — Не троньте его! — повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, — обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать погибнуть «отцу Урсулы» или погубить человека, спасшего полковника? Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами. Но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым «трубочистам». Одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, Белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой ищеек и догов. Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они и оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье не выпускала из рук его волос. — Тебе нечего в это путаться! — прикрикнул на нее Тенардье. — Еще шаль порвешь. Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку. — Обыскать его, ребята! — приказал Тенардье. Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного ко110

Этого Мариус уже не мог выдержать. «Прости меня, отец!»— мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье:

— Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардье скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

— Не троньте его! — повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса,— обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать погибнуть «отцу Урсулы» или погубить человека, спасшего полковника?

Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами. Но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым «трубочистам». Одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, Белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей сворой ищеек и догов.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они и оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардье не выпускала из рук его волос.

— Тебе нечего в это путаться! — прикрикнул на нее Тенардье.— Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.

— Обыскать его, ребята! — приказал Тенардье.

шелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось. Тенардье положил платок к себе в карман. — Неужели нет бумажки? — спросил он. — Ни бумажки, ни часов, — ответил кто-то из «трубочистов». — Неважно, — пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. — Что и говорить, неподатливый старик! Тенардье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам. — Привяжите его к изножию кровати, — приказал он и, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом Белого, спросил: — Что, Башка помер? — Нет, пьян, — ответил Гнус. — Оттащите его в угол, — распорядился Тенардье. Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома. — Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье человека с палкой,— Этого не требовалось. — Не отвяжешься от них, — ответил тот. — Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел. Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину. Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам. 111

шелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардье положил платок к себе в карман.

— Неужели нет бумажки? — спросил он.

— Ни бумажки, ни часов,— ответил кто-то из «трубочистов».

— Неважно,— пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ.— Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам.

— Привяжите его к изножию кровати,— приказал он и, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом Белого, спросил: — Что, Башка помер?

— Нет, пьян,— ответил Гнус.

— Оттащите его в угол,— распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

— Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье человека с палкой.— Этого не требовалось.

— Не отвяжешься от них,— ответил тот.— Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел.

Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого на-

— Сударь...— начал было Тенардье, но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим Белого, знак удалиться. — Отойдите. Дайте мне поговорить с господином, — сказал он. Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил: — СударьI Зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули. Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное, поразительное молчание. Тенардье продолжал: — Да разве бы я нашел неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещеньице. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный: кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, кое-что скрываете. Мы тоже скрываем — стало быть, можно договориться. Тенардье не сводил глаз с Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осто112

— Сударь...— начал было Тенардье, но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим Белого, знак удалиться.

— Отойдите. Дайте мне поговорить с господином,— сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

— Сударь! Зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное, поразительное молчание. Тенардье продолжал:

— Да разве бы я нашел неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещеньице. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный: кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, кое-что скрываете. Мы тоже скрываем — стало быть, можно договориться.

Тенардье не сводил глаз с Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в глубину

рожна и почти изысканна; этого негодяя, за минуту до того представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который «готовился в священники». Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души — в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения. Вполне обоснованные замечания Тенардье сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал г-ном Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновеньем все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали. То была душа, недоступная страху, не знающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз. Тенардье непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами. Затем Тенардье снова подсел к Белому. — Итак, пойдем дальше, — сказал он. — Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы мильонщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех лю113

рожна и почти изысканна; этого негодяя, за минуту до того представлявшего собой обыкновенного разбойника, теперь можно было принять за человека, который «готовился в священники».

Молчание пленника, его необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, упорство, с каким он подавлял в себе первое движение души — в минуту опасности позвать на помощь, все это было неприятно Мариусу и вызывало у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардье сгустили таинственный мрак, окутывавший строгую необычную фигуру человека, которого Курфейрак прозвал г-ном Белым. Связанный веревками, окруженный палачами, находясь наполовину в могиле и с каждым мгновеньем все глубже туда опускаясь, испытуемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардье, человек этот оставался невозмутимым, и Мариус не мог не любоваться его лицом, хранившим выражение гордой печали.

То была душа, недоступная страху, не знающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардье непринужденно поднялся с места, подошел к камину и, отодвинув ширмы, прислонил их к стоящей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардье снова подсел к Белому.

— Итак, пойдем дальше,— сказал он.— Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы мильонщик, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого

дей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте: я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков. Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал: — Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков!» О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого не требуется. Я прошу вас только об одном: не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую. Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню: — Предупреждаю: никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу. Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке. Тенардье придвинул стол вплотную к Белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа. Лист он положил перед Белым. — Пишите,— сказал он. Тут, наконец, заговорил пленник: — Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан. — Совершенно верно, вы правы. Извините! — произнес Тенардье. Обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал: 114

дей, которые злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте: я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Белый не проронил ни слова. Тенардье продолжал:

— Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестны размеры вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному отцу семейства. Впрочем, вы человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сущий пустяк. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков!» О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого не требуется. Я прошу вас только об одном: не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

— Предупреждаю: никаких отговорок насчет неграмотности я и слушать не хочу.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к Белому и вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед Белым.

— Пишите,— сказал он.

Тут, наконец, заговорил пленник:

— Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

— Совершенно верно, вы правы. Извините! — произнес Тенардье.

— Развяжите господину правую руку. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и протянул Белому. — Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать. — Что же я должен писать? — спросил пленник. — Я продиктую. Белый взял перо. Тенардье стал диктовать: — «Дочь моя...» Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье. — Напишите: «Дорогая дочь моя», — продолжал Тенардье. Белый повиновался. — «...приезжай немедленно...» Он приостановился: — Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли? — Кому? — спросил Белый — Ну девчонке, Жаворонку, черт побери! — Я не понимаю, что вы хотите сказать... — ответил Белый без малейших признаков волнения. — ГIишите, пишите, — оборвал его Тенардье и опять принялся диктовать: — «Приезжай немедленно. Ты мне очень нужна. Особе, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая». Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился: — Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать. Белый зачеркнул эти три слова. — А теперь, — продолжал Тенардье, — подпишитесь. Как вас зовут? Пленник положил перо и спросил: 115

— Развяжите господину правую руку.

Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказание Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и протянул Белому.

— Советую хорошенько запомнить, сударь,— сказал он,— что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила не вырвет вас отсюда и что мы будем огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю, что вас не развяжут до тех пор, пока не воротится особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

— Что же я должен писать? — спросил пленник.

— Я продиктую.

Белый взял перо.

Тенардье стал диктовать:

— «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардье.

— Напишите: «Дорогая дочь моя»,— продолжал Тенардье. Белый повиновался.

— «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

— Кому? — спросил Белый

— Ну девчонке, Жаворонку, черт побери!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать...— ответил Белый без малейших признаков волнения.

— Пишите, пишите,— оборвал его Тенардье и опять принялся диктовать:

— «Приезжай немедленно. Ты мне очень нужна. Особе, которая передаст тебе эту записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардье не успокоился:

— Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Белый зачеркнул эти три слова.

— А теперь,— продолжал Тенардье,— подпиши-

— Кому предназначается это письмо? — Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Я же вам сказал. Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать. — Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он. — Урбен Фабр, — сказал пленник. Тенардье кошачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече. — У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.». Пленник поставил подпись. — Одной рукой письма не сложить, — сказал Тенардье. — Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадмуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-дю-ОПа, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами. Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал: «Мадмуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д’Анфер, № 17». Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо. — Жена! — позвал он. Жена подбежала. — Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Поезжай и живо назад. Обратившись к человеку с топором, он распорядился: — А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку? — Помню, — ответил тот. Поставив топор в угол, он последовал за теткой Тенардье. 116

— Кому предназначается это письмо?

— Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Я же вам сказал.

Тенардье явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя значило бы раскрыть им все «дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

— Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он.

— Урбен Фабр,— сказал пленник.

Тенардье кошачьим движением запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

— У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

— Одной рукой письма не сложить,— сказал Тенардье.— Давайте я сложу. Пишите адрес: «Мадмуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал: «Мадмуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, № 17».

Тенардье с лихорадочной поспешностью схватил письмо.

— Жена! — позвал он.

Жена подбежала.

— Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Поезжай и живо назад.

Обратившись к человеку с топором, он распорядился:

— А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Ты хорошо помнишь, где поставил повозку?

— Помню — ответил тот

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор: — Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков. — Не беспокойся. Оно у меня за пазухой,— отвечал сиплый голос супруги. Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута: оно становилось все тише и вскоре совсем замерло. — Отлично, — пробормотал Тенардье. — Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется. Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог. — Ноги у меня совсем закоченели, — сказал он. Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Тенардье. Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени. Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика. Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл еще «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснения буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее обстоятельство особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его 117

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

— Главное, не потеряй письмо! Не забудь, что везешь двести тысяч франков.

— Не беспокойся. Оно у меня за пазухой,— отвечал сиплый голос супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута: оно становилось все тише и вскоре совсем замерло.

— Отлично,— пробормотал Тенардье.— Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы грязных сапог.

— Ноги у меня совсем закоченели,— сказал он.

Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут назад логово Тенардье.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спавшего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл еще «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, нисколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Нашли объяснения буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее обстоя-

к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять решение. «Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь». Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен мрачными мыслями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий, приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник. — Господин Фабр! — вдруг обратился к пленнику Тенардье.— Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу. Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился. — Потерпите немного, — продолжал Тенардье. — Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все. Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал: — Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, есЛи вы сами этого не захотите. Я вам 118

к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять решение.

«Во всяком случае,— думал он,— если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардье должна привезти ее сюда. А тогда, если понадобится, я не пощажу ни своей жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь».

Так прошло около получаса. Тенардье, казалось, был поглощен мрачными мыслями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий, приглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

— Господин Фабр! — вдруг обратился к пленнику Тенардье.— Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта короткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

— Потерпите немного,— продолжал Тенардье.— Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке, поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардье после небольшой паузы продолжал:

для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело. Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил: — Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет. Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: « Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка». Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой. Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона. Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину. Связанный пленник пошевелился. — А вот и хозяйка, — сказал Тенардье. Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом, и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила: — Фальшивый адрес! Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор. — Фальшивый адрес? — переспросил Тенардье. 119

для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардье снова заговорил:

— Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он уже не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: «*Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка*».

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелился.

— А вот и хозяйка,— сказал Тенардье.

Не успел он договорить, как в комнату ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом, и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

— Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой

— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает! Тетка Тенардье остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила: — Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты слишком добр! На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись до меня, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали! Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, — та, имя которой он теперь не сумел бы уже назвать, — была спасена. Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню. Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил: — Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся? — Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу. Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом. Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в доме Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была 120

— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает!

Тетка Тенардье остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

— Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты слишком добр! На твоем месте я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись до меня, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок,— та, имя которой он теперь не сумел бы уже назвать,— была спасена.

Между тем как жена продолжала исступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

— Фальшивый адрес? На что же ты, собственно говоря, надеялся?

— Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник был привязан к кровати только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впослед-

обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, — одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью ножичка или старого долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета завинчивается и развинчивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при обыске в логове Тенардье. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняются легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус. Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге. Между тем бандиты опомнились от испуга. — Не беспокойся,— обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, — одна нога у него привязана, и ему не уйти. Могу ручаться. Эту лапу я сам ему затянул. Но тут возвысил голос пленник: — Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то... 121

обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремесленного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака,— одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, как метафоры воровского арго в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью ножичка или старого долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета завинчивается и развинчивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним су. Нет, он обладает свободой. Вот такую монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при обыске в логове Тенардье. Была обнаружена и стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки. Этим объясняются легкий шум и едва уловимые движения, которые заметил Мариус.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты опомнились от испуга.

— Не беспокойся,— обращаясь к Тенардье, сказал Гнус,— одна нога у него привязана, и ему не уйти. Могу ручаться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысил голос пленник:

— Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить пи-

Он засучил рукав на левой руке и прибавил: — Вот, глядите! С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку. Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось г. дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание. У сильных, благородных натур, когда они станрвятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира. — Несчастные! — сказал он. — Я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь. Резким движением вырвав долото из раны, он бро-' сил его за окошко, остававшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас. — Делайте со мной, что угодно, — продолжал пленник. Теперь он был безоружен. — Держите его! — крикнул Тенардье. Два бандита схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом. В ту же минуту внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса: — Остается одно. — Укокошить? — Вот именно. Это совещались супруги Тенардье. Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож. 122

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

— Вот, глядите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице этого удивительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

— Несчастные! — сказал он.— Я не боюсь вас, и вы меня не бойтесь.

Резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, остававшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

— Делайте со мной, что угодно,— продолжал пленник.

Теперь он был безоружен.

— Держите его! — крикнул Тенардье.

Два бандита схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении размозжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой, в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса:

— Остается одно.

— Укокошить?

— Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призьіЕзл чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника. Мариус растерянно водил глазами,— к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние. Внезапно он вздрогнул. Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Марйусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами ставшая дочь Тенардье: Легавые пришли. Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье. И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику. — Что-то упало! — крикнула тетка Тенардье. — Что такое? — спросил Тенардье. Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу. — Как он сюда попал? — удивился Тенардье. — А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена. — Я видел, как он влетел, — заявил Гнус. Тенардье поспешно развернул листок и поднес. его к свече. — Почерк Эпонины. Проклятие! Он сделал знак жене и, когда та подскочила, пока123

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла борьба голосов, причиняя ему смертельную муку. Он все лелеял надежду, что найдет средство примирить два долга, но так и не нашел. Между тем опасность приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардье, с ножом в руках, о чем-то думал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил глазами,— к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Внезапно он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую еще нынче утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардье:

Легавые пришли.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардье.

И как раз вовремя. Тенардье, поборов последние страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

— Что-то упало! — крикнула тетка Тенардье.

— Что такое? — спросил Тенардье.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она протянула его мужу.

— Как он сюда попал? — удивился Тенардье.

— А как еще, черт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно,— объяснила жена.

— Я видел, как он влетел,— заявил Гнус.

Тенардье поспешно развернул листок и поднес его к свече.

зал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение: — Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться! — Не свернув ему шею? — спросила тетка Тена рдье. — Теперь некогда этим заниматься. — А как будем уходить? — задал вопрос Гнус. — Через окно,— ответил Тенардье.— Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен. Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками. Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился. Как только лестница была прилажена, Тенардье крикнул: — Хозяйка, идем! И бросился к окошку. Но едва он занес ногу, как Гнус схватил его за шиворот. — Нет, шалишь, старый плут! После нас! — После нас! — зарычали бандиты. — Перестаньте дурачиться! — принялся увещевать их Тенардье. — Мы теряем время. Фараоны у нас за горбом. — Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, — предложил один из бандитов. — Да что вы, рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье. — Видали олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку? — Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос. Все обернулись. Это был Жавер. Он, улыбаясь, протягивал свою шляпу бандитам. 124

зал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом отдал распоряжение:

— Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

— Не свернув ему шею? — спросила тетка Тенардье.

— Теперь некогда этим заниматься.

— А как будем уходить? — задал вопрос Гнус.

— Через окно,— ответил Тенардье.— Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Как только лестница была прилажена, Тенардье крикнул:

— Хозяйка, идем!

И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус схватил его за шиворот.

— Нет, шалишь, старый плут! После нас!

— После нас! — зарычали бандиты.

— Перестаньте дурачиться! — принялся увещевать их Тенардье.— Мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

— Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать,— предложил один из бандитов.

— Да что вы, рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье.— Видали олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шапку?

— Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос.

Глава двадцать первая ВСЕГДА НАДО НАЧИНАТЬ С АРЕСТА ПОСТРАДАВШИХ

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на заставе Гобеленов, против дома Горбо, по ту сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» только Азельму. Эпонины на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кое-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела. Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери. Жавер подоспел как раз вовремя. Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с палкой, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям. Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед. — Стой, ни с места! — крикнул он. — Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему. Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо: — Это — Жавер. Ты как хочешь, а я в него стрелять не могу. — Плевать я на него хотел, — ответил Тенардье. — Ну что ж, стреляй. 125

Глава двадцать первая

ВСЕГДА НАДО НАЧИНАТЬ С АРЕСТА ПОСТРАДАВШИХ

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на заставе Гобеленов, против дома Горбо, по ту сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» только Азельму. Эпонины на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кое-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер подоспел как раз вовремя.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с палкой, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардье — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость под мышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

— Стой, ни с места! — крикнул он.— Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардье, шепнув ему на ухо:

— Это — Жавер. Ты как хочешь, а я в него стрелять не могу.

Плевать я на него хотел, — ответил Тенардье.

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера. Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, дристально взглянул на него и сказал: — Не стреляй. Все равно даст осечку. Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку. — Я ведь тебе говорил,— заметил Жавер. Гнус бросил к ногам Жавера палку, — Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь. — А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам. — Мы тоже, — последовал ответ. — Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил: надо по-хорошему,— спокойно добавил Жавер. — Я прошу одного, — снова заговорил Гнус, — пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке. — Хорошо, — ответил Жавер. Тут он обернулся и крикнул в дверь: — Войдите! Постовые, с саблями наголо, и полицейские, вооруженные. кастетами и короткими дубинками, ввалились в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном только свечой, стало совсем темно. — Всем наручники! — распорядился Жавер. — А ну, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но и не женский, голос. Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна. Полицейские и постовые отступили. Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес. — Берегитесь! — крикнула она. Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела. Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и хриплым, гортанным голосом пробормотала: — У -у, трусы! 126

Тенардье взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардье, пристально взглянул на него и сказал:

— Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардье спустил курок. Пистолет дал осечку.

— Я ведь тебе говорил,— заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера палку.

— Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

— А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам.

— Мы тоже,— последовал ответ.

— Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил: надо по-хорошему,— спокойно добавил Жавер.

— Я прошу одного,— снова заговорил Гнус,— пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

— Хорошо,— ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

— Войдите!

Постовые, с саблями наголо, и полицейские, вооруженные кастетами и короткими дубинками, ввалились в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардье, освещенном только свечой, стало совсем темно.

— Всем наручники! — распорядился Жавер.

— А ну, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но и не женский, голос.

Это рычала тетка Тенардье, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

— Берегитесь! — крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела.

Тетка Тенардье взглянула на бандитов, давших себя связать, и хриплым, гортанным голосом пробор-

Жавер усмехнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье. — Не подходи! Не то расшибу! — завопила она. — Экий гренадер! — сказал Жавер. — Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины. И он продолжал идти вперед. Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер пригнулся. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера. В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая на голову супруга. — Наручники! — крикнул он. Полицейские гурьбой бросились к нему, и приказание Жавера было исполнено. Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула: — Дочки, мои дочки! — Они за решеткой, — объявил Жавер. Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу. — Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья. — Да, — ответил Жавер. Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения; трое сохраняли свою черную размалевку, трое других — маски. — Масок не снимать, — распорядился Жавер. Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих И, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил: — Здорово, Гнус! Здорово, Башка! Здорово, Два Миллиарда! Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором: — Здорово, Живоглот! 127

Жавер усмехнулся и пошел прямо в опустевшую часть комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардье.

— Не подходи! Не то расшибу! — завопила она.

— Экий гренадер! — сказал Жавер.— Ну, мамаша, хоть у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, как у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардье расставила ноги, откинулась назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер пригнулся. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью, теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардье. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая на голову супруга.

— Наручники! — крикнул он.

Полицейские гурьбой бросились к нему, и приказание Жавера было исполнено.

Это сломило тетку Тенардье. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

— Дочки, мои дочки!

— Они за решеткой,— объявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

— Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья.

— Да,— ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения; трое сохраняли свою черную размалевку, трое других — маски.

— Масок не снимать,— распорядился Жавер.

Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

— Здоро́во, Гнус! Здоро́во, Башка! Здоро́во, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

Человека с палкой: — Здорово, Бабет! А чревовещателя: — Здравия желаю, Звенигрош! Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову. — Отвяжите господина, и не уходить! — приказал он. Потом он с важным видом сел за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу. Написав первые строчки, состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза. — Подведите господина, который был связан этими господами. Полицейские огляделись. — В чем дело? Где же он? — спросил Жавер. Но пленник бандитов, — г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, — исчез. Дверь охранялась, а про окно забыли. Почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно. Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно. Веревочная лестница еще покачивалась. — Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер. — Видно, этот был почище всех. Глава двадцать вторая МАЛЫШ, ПЛАКАВШИЙ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ КНИГИ На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло. 128

Человека с палкой:

— Здоро́во, Бабет!

А чревовещателя:

— Здравия желаю, Звенигрош!

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.

— Отвяжите господина, и не уходить! — приказал он.

Потом он с важным видом сел за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

— Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись.

— В чем дело? Где же он? — спросил Жавер.

Но пленник бандитов,— г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка,— исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

— Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер.— Видно, этот был почище всех.

Глава двадцать вторая

МАЛЫШ, ПЛАКАВШИЙ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ КНИГИ

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный, худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмот-

Н £ углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил. — Вот тебе раз! — крикнул он. — А я-то думал, что это болыиущая-пребольшущая собака! Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака! Взбешенная старуха выпрямилась. — У, висельник!— заворчала она.— Мне бы преж« нюю силу, я бы такого пинка тебе дала! Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии. — Куси, куси! — поддразнил он. — Ну если так, то я, пожалуй, не ошибся. Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула Страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил: — Красота ваша не в моем вкусе, сударыня. И пошел дальше, распевая: Король наш Стуконог, Взяв порох, дробь и пули, Пошел стрелять сорок. Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел д дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут. Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы. — Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! — орала она. Удары не прекращались. Б. «Отверженные», т. 2. 129

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил.

— Вот тебе раз! — крикнул он.— А я-то думал, что это большущая-пребольшущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕБОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

— У, висельник!— заворчала она.— Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

— Куси, куси! — поддразнил он.— Ну если так, то я, пожалуй, не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

— Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, распевая:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок.

Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут.

Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

— Что такое? Что такое? Боже милосердный!

— Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? — надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала гамена. — Да ведь это же наш дьяволенок! — А! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик. — Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков. Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства: то была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости. — Никого нет, бесстыжая твоя рожа, — сказала старуха. — Вот тебе раз! — воскликнул мальчик. — А где же отец? — В тюрьме Форс. — Смотри-ка! А мать? — В Сен-Лазаре. — Так, так! А сестры? — В Мадлонет. Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул: — Э-эх! Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услыхала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру: Король наш Слуконог, Взяв пордх, дробь и пули, Пошел стрелять сорок, Взобравйиёь на ходули. Кто проходил внизу, Платил ему два су.

— Да разве нынешние постройки на это рассчитаны? — надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала гамена.

— Да ведь это же наш дьяволенок!

— А! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик.— Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства: то была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости.

— Никого нет, бесстыжая твоя рожа,— сказала старуха.

— Вот тебе раз! — воскликнул мальчик.— А где же отец?

— В тюрьме Форс.

— Смотри-ка! А мать?

— В Сен-Лазаре.

— Так, так! А сестры?

— В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

— Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услыхала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,
Взобравшись на ходули.
Кто проходил внизу,
Платил ему два су.

Часть 4 ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМВ и ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ

Часть 4

ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ И ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ

Книга первая НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ Глава первая ХОРОШО СКРОЕНО Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души. Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты. Попытаемся это сделать. Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо — усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, она была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притязание — умалиться. Это означает — жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди, — нет, покорно благодарим, навидались мы их, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на 133

Книга первая

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ

Глава первая

ХОРОШО СКРОЕНО

Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то проглядывают, то скрываются за грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо — усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, она была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притязание — умалиться. Это означает — жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, ве-

Прузия, Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели. Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе й стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, готовящие квартиры для принципов. И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем. Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей. Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи. Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же они обязаны своим возникновением силе обстоятельств. Истина глубокая и знать ее небесполезно, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что в голову не пришло Бурбонам в 1814. Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, и что политические права, пожалованные Людовиком XVIII,— всего лишь ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому, с каким неудовольствием Бурбоны преподносили этот 134

Прузия, Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурьеры, готовящие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей.

Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же они обязаны своим возникновением силе обстоятельств. Истина глубокая и знать ее небесполезно, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что в голову не пришло Бурбонам в 1814.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, и что политические права, пожалованные Людовиком XVIII,— всего лишь ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорас-

дар, они должны были почувствовать, что исходит он не от них. Они были угрюмы в XIX веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «избрюзжались» — воспользуемся этим обиходным выражением, выражением народным и точным. Народ это видел. Династия полагала, что она сильна, Так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась так же. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали Наполеона. Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной сёмьи, а историю народа. Они тянулись всюду, но только не под троном. Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать,— они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, с первых дней истории государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права. Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом. Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар.

дар, они должны были почувствовать, что исходит он не от них.

Они были угрюмы в XIX веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «избрюзжались» — воспользуемся этим обиходным выражением, выражением народным и точным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась так же. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись всюду, но только не под троном.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать,— они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, с первых дней истории государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась

Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации — верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, а у гражданина то, что делало его гражданином. В этом суть тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами. Реставрация пала. Этого требовала справедливость. Тем не менее нельзя не признать, что она не была до конца враждебна всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий. При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, а величие — с миром, чего не было при Империи. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, старые для мыслителя, новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения. Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон важно, но не величественно; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не с королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл X по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный; казалось, его больше тревожила угро« 136

Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации — верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, а у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом суть тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Этого требовала справедливость. Тем не менее нельзя не признать, что она не была до конца враждебна всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, а величие — с миром, чего не было при Империи. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, старые для мыслителя, новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон важно, но не величественно; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не с королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл X по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола че-

за этикету, чем крушение монархии. Такая мелочность его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько сил, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома с грустью и осторожностью. Не один и не несколько человек, а Франция, вся Франция, победоносная и упоенная своей победой, казалось, вспомнила и перед всем миром провела в жизнь замечательные слова Гильома дю Вера, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка, с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким по отношению к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих». Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта. Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее ЗЙмышлёНО или предпринято. Даже те, что были силь137

за этикету, чем крушение монархии. Такая мелочность его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько сил, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома с грустью и осторожностью. Не один и не несколько человек, а Франция, вся Франция, победоносная и упоенная своей победой, казалось, вспомнила и перед всем миром провела в жизнь замечательные слова Гильома дю Вера, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка, с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким по отношению к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее

нее других напуганы, те, что были особенно недовольны, особенно раздражены, приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злбпамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие Кого-то, действующего в области более высокой, чем дано действовать человеку. Июльская революция — торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия. Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию. Право — это все, что истинно и справедливо. Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, как будто неизбежный, наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало или вовсе никакого права, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже чудовищным. Если ктогнибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего XVI столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи XIX века. Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область фактъ и факт в область права — вот дело мудрых. Глава вторая ДУРНО СШИТО Но работа людей мудрых — это одно, а работа людей ловких — другое. Революция 1830 года быстро закончилась. Как только революция терпит крушение, ловкие

нее других напуганы, те, что были особенно недовольны, особенно раздражены, приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие Кого-то, действующего в области более высокой, чем дано действовать человеку.

Июльская революция — торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право — это все, что истинно и справедливо.

Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, как будто неизбежный, наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало или вовсе никакого права, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего XVI столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи XIX века.

Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот дело мудрых.

Глава вторая

ДУРНО СШИТО

Но работа людей мудрых — это одно, а работа людей ловких — другое.

Революция 1830 года быстро закончилась.

люди растаскивают по частям корабль, севший на мель. Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти арготическим выражением. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно что сказать «человек заурядный». Точно так же сказать: «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник». Итак, если верить ловким, то революции, подобные Июльской,— не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, коль скоро право утверждено, следует укрепить государство. Коль скоро свобода обеспечена, следует подумать о власти. Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, — откуда она? Ловкие как будто не слышат произнесенных шепотом возражений и продолжают свое дело. По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, — если этот народ составляет часть монархической Европы, — это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса, заслоняет госпиталь. Однако не всегда легко добыть себе династию. В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде. Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно. Если стать на точку зрения «государственных мужей», со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после

люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти арготическим выражением. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать: «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если верить ловким, то революции, подобные Июльской,— не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, коль скоро право утверждено, следует укрепить государство. Коль скоро свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых,— откуда она?

Ловкие как будто не слышат произнесенных шепотом возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции,— если этот народ составляет часть монархической Европы,— это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса, заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если стать на точку зрения «государственных му-

революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом, или прославился, брался ли за ее топор, или действовал с помощью шпаги. Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа. Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую. Королевские дома похожи на фиговые деревья в Индии, каждая ветвь которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что она склонится к народу. Такова теория ловких. Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, рринйдр предосторожности против слишкой большогб усіівха, надеть на революцию абажур. 1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году. 1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина nporpecсá, подобие права! Но

революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом, или прославился, брался ли за ее топор, или действовал с помощью шпаги.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на фиговые деревья в Индии, каждая ветвь которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что она склонится к народу.

Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи. Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия. Почему? Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение. То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X. Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста. Но, желая усесться слишком рано, можно остановить движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии. Однако допустить ошибку не значит стать классом. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка. В конце концов,— следует быть справедливым даже к эгоизму,— состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал. Привал — слово, имеющее двойной, особый и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой. Привал — это восстановление сил, это покой, настороженный или бодрствующий; это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра. Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом. То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом. Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы называться Йотя-Ибо. Сложная индивидуальность, оз141

логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста.

Но, желая усесться слишком рано, можно остановить движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Однако допустить ошибку не значит стать классом. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов,— следует быть справедливым даже к эгоизму,— состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал.

Привал — слово, имеющее двойной, особый и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал — это восстановление сил, это покой, настороженный или бодрствующий; это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы

качающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим. Этот человек оказался под рукой. Звали его ЛуиФилипп Орлеанский. Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе. Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года». Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я протестую!» Затем — грозное знамение! — оно снова скрылось в тени. Глава третья ЛУИ-ФИЛИПП У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революций никогда не бывает отречением. Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции заблуждаются, и тогда видны крупные промахи. Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своет пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стойл больше, чем монархия. Луи- Филипп был редким человеком. Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми достоинствами частного лица и некоторыми достоинствами общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих 142

начающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался под рукой. Звали его Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я протестую!» Затем — грозное знамение! — оно снова скрылось в тени.

Глава третья

ЛУИ-ФИЛИПП

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революций никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми достоинствами частного лица и некоторыми досто-

делах, знал цену минуты и не всегда цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь, был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, — хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще реже, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но не уличенный; в сущности это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но не разбиравшийся в литературе; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывавший только сегодняшний день, не способный ни на злопамятство, ни на благодарность, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в рыборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой, а Европу Францией; бесспорно любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету, а авторитет достоинству — склонцость, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрица* 143

делах, знал цену минуты и не всегда цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь, был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе,— хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще реже, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но не уличенный; в сущности это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но не разбиравшийся в литературе; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывавший только сегодняшний день, не способный ни на злопамятство, ни на благодарность, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой, а Европу Францией; бесспорно любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету, а авторитет достоинству — склон-

ет низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречивший самому себе и бравший свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет марсельезу; недоступед унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами неустрашимости, генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он всегда улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был не способен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен наблюдательностью, но не прозорливостью; мало интересовался духами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; всегда черпал из запаса этой памяти, — единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал .устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по де144

ет низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречивший самому себе и бравший свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами неустрашимости, генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он всегда улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был не способен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен наблюдательностью, но не прозорливостью; мало интересовался дýхами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; всегда черпал из запаса этой памяти,— единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным

лам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом, личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой обладал чувством полезного. Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом: то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года, Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и и Венгрию, однако писал: polonois и произносил: hongrois1. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон. Он редко бывал у обедни, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без ланцета, как Генрих III без кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем, — первым королем, пролившим кровь в целях излечения. Что касается претензий истории к Луи-Филиппу, то кое-что следует отнести не к нему; одни обвинения касаются монархии, другие — царствования, а 1 В новом правописании: polonais (поляки) и hongrois (венгры). 145

лам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом, личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом: то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года, Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и и Венгрию, однако писал: *polonois* и произносил: *hongrais*[1]. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко бывал у обедни, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без ланцета, как Генрих III без кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем,— первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается претензий истории к Луи-Филиппу, то кое-что следует отнести не к нему; одни обвинения касаются монархии, другие — царствования, а

третьи — короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремя стами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир, и, как Индия англичанами, — скорее варварами, чем носителями цивилизации, вероломство по отношению к Абд-ЭльКадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная,— за это отвечает король. Как видите, за вычетом этого, можно уменьшить вину короля. Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции. Где корни этой ошибки? Сейчас поясним. В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя нерешительность, навязываемая народу, у которого в его гражданских традициях было 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц. Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила свой род среди художников так же, как Шарль Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д’Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерних^i следующую демагогическую похвалу: «Таких молодых людей не встретишь, таких принцев не бывает». Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе. 146

третьи — короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремя стами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир, и, как Индия англичанами,— скорее варварами, чем носителями цивилизации, вероломство по отношению к Абд-Эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная,— за это отвечает король.

Как видите, за вычетом этого, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Сейчас поясним.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя нерешительность, навязываемая народу, у которого в его гражданских традициях было 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила свой род среди художников так же, как Шарль Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д'Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Таких молодых людей не встретишь, таких принцев не бывает».

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, — такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не было столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден, он скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы не умереть с голоду. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев, Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93 году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения: слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого неистовства идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый — Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед безграничным правосудием 147

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе,— такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не было столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден, он скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы не умереть с голоду. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев, Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93 году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения: слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого неистовства идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный

народа, почти столь же безличным, как правосудие бога. След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком каждой минуты этих великих годин. Однажды перед свидетелем, которому нельзя не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А». Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он знал, что яркий свет подтачивает привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность. Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию. Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настйяо еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий, прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол. Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского 148

народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком каждой минуты этих великих годин. Однажды перед свидетелем, которому нельзя не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он знал, что яркий свет подтачивает привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий, прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот

сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, — чем он занимался? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что дать отпор Европе — это очень важно, но еще важнее — вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава СенЖак— Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узко корыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранені Я мог бы его помиловать». В другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остаётся только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV. А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик. Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, пбэтому вполне по

сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть,— чем он занимался? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что дать отпор Европе — это очень важно, но еще важнее — вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узко корыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». В другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.

нятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; Эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому». Глава четвертая ТРЕЩИНЫ ПОД ОСНОВАНИЕМ Поскольку драма, о которой мы повествуем в этой книге, вот-вот взорвет толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, мы решили, избегнув недомолвок, охарактеризовать личность короля. Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, лично не участвовал. Он родился принцем и считал себя избранным королем. Он не сам дал себе эти полномочия, он не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение соответствовало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы говорим это, положа руку на сердце: Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, пори

нятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; Эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

Глава четвертая

ТРЕЩИНЫ ПОД ОСНОВАНИЕМ

Поскольку драма, о которой мы повествуем в этой книге, вот-вот взорвет толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, мы решили, избегнув недомолвок, охарактеризовать личность короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, лично не участвовал. Он родился принцем и считал себя избранным королем. Он не сам дал себе эти полномочия, он не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение соответствовало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы говорим это, положа руку на сердце: Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой

цать борющихся не следует: одна из двух сторон явно заблуждается; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренне; слепой — не преступник, вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не отвечают. Закончим наше изложение событий. Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться. Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, недавно созданную и непрочную. Сопротивление возникло на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне. С каждым месяцем возмущение росло и из тайного стало явным. Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована по-разному. Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, проницательные расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние. Нередко и сама власть является фракцией. Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, — это старые партии. По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если револю151

цать борющихся не следует: одна из двух сторон явно заблуждается; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренне; слепой — не преступник, вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не отвечают.

Закончим наше изложение событий.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, недавно созданную и непрочную.

Сопротивление возникло на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.

С каждым месяцем возмущение росло и из тайного стало явным.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована по-разному.

Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, проницательные расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения,— это старые партии.

ции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение! Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обагренная кровью, она выживает. Революция — не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти. Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони,— за недостатком логики; они нападали на революцию в ее королевском обличии. Они ей кричали: «Революция! А зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые хорошо целятся. Республиканцы кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом. Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечнык правом. Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир — значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции ftpot152

ции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение! Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обагренная кровью, она выживает. Революция — не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони,— за недостатком логики; они нападали на революцию в ее королевском обличии. Они ей кричали: «Революция! А зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые хорошо целятся.

Республиканцы кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир — значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в

рессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире. А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей. Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению соответствовало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени. Мыслители размышляли, в то время как почва — то есть народ, — изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые — в одиночестве, другие — объединившись в дружные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени. Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи. Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья. Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества. Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли почти на высоту религии. В цивилизации, такой, какою она создается, — отчасти богом и, гораздо больше, людьми, — интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики. Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовык наименованием — социалисты, пытались просвер153

рессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению соответствовало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва — то есть народ,— изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые — в одиночестве, другие — объединившись в дружные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли почти на высоту религии. В цивилизации, такой, какою она создается,— отчасти богом и, гораздо больше, людьми,— интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, на которых можно в целом определить их роде-

лить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья. Их труды охватывали все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка. Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них. Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам. Первая проблема: создать материальные богатства. Вторая проблема: распределить их. Первая проблема включает вопрос о труде. Вторая — вопрос о плате за труд. В первой проблеме речь идет о применении производительных сил. Во второй — о распределении жизненных благ. Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества. Следствием правильного распределения жизнен ных благ является счастье личности. Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость. Из соединения этих двух начал — мощи общества вовне и личного благоденствия внутри — рождается социальное процветание. Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, Великая нация. Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого труда. Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется тут на нищете частных лиц, а вели

лить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая — вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй — о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость.

Из соединения этих двух начал — мощи общества вовне и личного благоденствия внутри — рождается социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого тру-

чие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало. Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильности решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить. Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно. Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия,— материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как. умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет возможность падать и погибать всякому себялюбию, всему, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи. Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный втрой — олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, пойдем дальше. Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, побратски и точно установите оплату за труд соответственно работе, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая работу рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом 155

чие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильности решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия,— материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет возможность падать и погибать всякому себялюбию, всему, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный строй — олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, пойдем дальше.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно работе, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания

и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией. Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах. Усилия, достойные восхищения! Святые порывы! Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему, неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало ЛуиФилиппа почти мучительно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем. У него было тревожное ощущение, что почва под ним колышется, однако она еще была твердой, так как Франция оставалась Францией более чем когдалибо. Темные, сгрудившиеся тучи обдегали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, — тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание — столько было нездорового

и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему, неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало Луи-Филиппа почти мучительно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

У него было тревожное ощущение, что почва под ним колышется, однако она еще была твердой, так как Франция оставалась Францией более чем когда-либо.

Темные, сгрудившиеся тучи облегали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями,— тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало

в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому дотоле неведомый, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака. Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж — Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд Испанский и Мигель Португалы ский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской Богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вейыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда; в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих^ в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; Йагровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговорьі, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к слитному гулу идей сумятицу событий. 157

в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому дотоле неведомый, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж — Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской Богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда; в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холе-

Глава пятая ФАКТЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ИСТОРИЮ, НО ЕЮ НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, — признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье. Сент- Анту а некое предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить. Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни странно применение двух этих эпитетов к кабачкам. Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты поклялся! Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула. В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени. Там слышались такие слова: «Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди «хорошо одетые, по виду буржуа», «сеяли сму158

Глава пятая

ФАКТЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ИСТОРИЮ, НО ЕЮ НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ

К концу апреля все усложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся,—признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни странно применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Там просто и открыто выражали недоверие правительству. Обсуждалось во всеуслышание: *драться или сохранять спокойствие*. Кое-где в комнатах за кабачком с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: *Ты дал согласие! Ты поклялся!* Иногда поднимались на второй этаж, и там, в запертой комнате, происходили сцены, напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. *Они поносили правительство*, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: *«Мне неизвестны имена вождей. Мы узнаем о назначенном дне только за два часа.* Один рабочий сказал: *Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули.* Другой сказал: *Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не пройдет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно вступить в бой.* Третий заявил: *Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны.* Время от времени появлялись

ту» и, держась «распорядителями», пожимали руки самым главным , потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Все готово. «Об этом твердили все, кто был там»,— как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: У нас нет оружия! Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к Итальянской армии, ответил: Оружие есть у солдат! «Когда дело касалось какойнибудь более важной тайны, — прибавляет один из рапортов, — то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано. Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие — потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших. Стали известны и другие красноречивые факты, Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция. У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки. Рабочие сходились на улице Котт, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе. Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно вовсю делают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальйым

ту» и, держась «распорядителями», пожимали руки *самым главным*, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: *Заговор созрел. Все готово.* «Об этом твердили все, кто был там»,— как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке кто-то из рабочих крикнул: *У нас нет оружия!* Его приятель, неумышленно пародируя обращение Бонапарта к Итальянской армии, ответил: *Оружие есть у солдат!* «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны,— прибавляет один из рапортов,— то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать после того, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходили все, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены энтузиазмом, другие — потому что это им было *по пути на работу.* Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты. Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: *Должок мой, дядюшка, уплатит революция.*

У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там был набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: *Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей.* Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой:

гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец. Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают й заточают в тюрьмы...». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «Выбор возможен один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня. Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: Я бабувистi Но за именем Бабефа народ учуял Жиске. Этот человек говорил: — Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она ббъявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, й роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся! — Молчать, гражданин шпик! — крикнул ему рабочий. Этот окрик положил конец его речи, Бывали И таинственные случаи. Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», и тот его спросил: «Куда идешь, гражданин?» «Я не имею чести вас знать, сударь»,— ответил рабочий. «Зато я тебя хо160

гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: *Борто, виноторговец.*

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей настойками, какой-то бородач, взобравшись на тумбу, громко читал с итальянским акцентом необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были записаны: «Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы...». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «Выбор возможен один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. В наше время больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно своей дерзостью. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: *Я бабувист!* Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Этот человек говорил:

— Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

— Молчать, гражданин шпик! — крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», и тот его спросил:

рошр знаю, — сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай: если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят. — Он пожал рабочему руку и, сказав: — Мы скоро увидимся», — ушел. Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги. — Постарайся получить поскорей, — говорил ткач краснодеревцу. — Почему? — Да придется пострелять. Двое оборванцев обменялись следующими приме* нательными словами, отдававшими жакерией: — Кто нами правит? — Господин Филипп. — Нет, буржуазия. Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки — это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден. Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления». Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле Тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу». Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы. «Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров. — Кто ваш руководитель? — спросили его. — Я не знал да и не разузнавал, кто он. Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предтí. «Отверженные», т. 2. Т61

рошо знаю,— сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай: если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобой следят.— Он пожал рабочему руку и, сказав: — Мы скоро увидимся»,— ушел.

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

— Постарайся получить поскорей,— говорил ткач краснодеревцу.

— Почему?

— Да придется пострелять.

Двое оборванцев обменялись следующими примечательными словами, отдававшими жакерией:

— Кто нами правит?

— Господин Филипп.

— Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Жаки — это бедняки. Право на стороне тех, кто голоден.

Слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву на круглой площади возле Тронной заставы, удалось расслышать: «Будет сделано все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

— Кто ваш руководитель? — спросили его.

— *Я не знал да и не разузнавал, кто он.*

положения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки. Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было раёобрать такие строки: «...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...» И в приписке: «Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей». Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем

более что немного дальше он подобрал другую бумажку, т

положения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строившегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было разобрать такие строки:

«...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного дальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа:

К	Ц	Д	Р	Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того как вы передадите им приказания. Привет и братство. Л. ю ог а[1] фе

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв — это были *квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики,* а буквы *ю ог а*[1] *фе* означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся примечательными указаниями: *«К — Банерель,* 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц — *Бубьер.* 1 пистолет, 40 патронов; Д — *Роле.* 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р — *Тейсье.* 1 сабля, 1 патронташ. Точен; *Террор,* 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел внутри той же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но

Единство. Бланшар. Арбр-Сек, 6. Барра. Суаз, Счетная палата. Костюшко. бори Мясник? Ж. Ж. Р. Кай Гракх. Право ооМОтра. Дюфон. Фур. Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ, Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 8Ô патр, МарсельеЗд. Главенст, Народа, Мишель, Кенкампуа, Сабля. Гош. Марсо. Платон. Арбр-ÇеК. Варшава. Тилли, продавец газеты Попюлер. Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот списой был пол* ным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Гірав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок. Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела. На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось: Селитра . 12 унций Сера . , ... 2 унции Уголь . 2 с половиной унции Вода . . . ,2 унции Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом. Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьвр, песню, озаглавленную 163

Единство. Бланшар. Арбр-Сек, 6.
Барра. Суаз. Счетная палата.
Костюшко. Обри-Мясник?
Ж. Ж. Р.
Кай Гракх.
Право осмотра. Дюфон. Фур.
Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.
Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 88 патр.
Марсельеза.
Главенст. народа. Мишель, Кенкампуа, Сабля, Гош.
Марсо. Платон. Арбр-Сек.
Варшава. Тилли, продавец газеты *Попюлер.*

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, понял ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло после того, как эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться дела.

На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, сложенных пополам и вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра	12 унций
Сера	2 унции
Уголь	2 с половиной унции
Вода	2 унции

Протокол обыска гласил, что от ящика сильно пахло порохом.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный

Рабочие, соединяйтесь!, и жестяную коробку с патронами. Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать} тот обнаружил у него под курткой пистолет. На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его ÿm/me, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная Сашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри. Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому вв время восстания в апреле 1834 года, застали его сто» явшим у постели; в руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался. Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамскйе кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались. Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня. Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя бцло роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра». Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том,

Рабочие, соединяйтесь!, и жестяную коробку с патронами.

Один рабочий, выпивая с приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и чугунный котелок со следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоявшим у постели; в руке у него были патроны, изготовлением которых он занимался.

Во время обеденного перерыва на заводах и фабриках заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Однажды правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Брожение происходило открыто и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все приметы этого по-

что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваща супруга?» Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?» Другой лавочник говорил: «Скоро начнется, я внаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков. Ёпрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: Плювиоз, год 40-й республиканской эры, — общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия: Пики. Набат. Сигнальная пушка. Фригийский колпак. 21 января. Нищие. Бродяги. Робеспьер. Нивелир. Настанет день. Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности. Народное образование. Борьба с косвенныхъ

что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Скоро начнется, я знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел получить семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не составлял исключения. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и вместе с тем тайного, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: *Плювиоз, год 40-й республиканской эры,*— общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям многозначительные названия:

Пики.
Набат.
Сигнальная пушка.
Фригийский колпак.
21 января.
Нищие.
Бродяги.
Робеспьер.
Нивелир.
Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался *Галльский союз* и *Организационный комитет городских самоуправлений.* Так образовались союзы: *Свобода печати, Свобода*

ми налогами. Затем Общество рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунстов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью — сержант, двадцатью — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант; здесь знали друг друга не больше чем пять человек. Это выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе центральный комитет имел две руки — Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский ¿оюз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан. Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем. В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды — в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми; об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира. — У кого? — На улице. — Какие секции были там? — Одна. — Какая? — Секция Манюэдь. — Кто был ее руководителем? — Я — Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из центрального комитета». Армия была в такой же степени взбудоражена как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, ЛюневиДе и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, 166

ми налогами. Затем Общество рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунстов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью — сержант, двадцатью — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант; здесь знали друг друга не больше чем пять человек. Это выдумка, в которой осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоявший во главе центральный комитет имел две руки — Общество действия и Армию Бастилии. Легитимистский Союз рыцарей верности ссорил эти республиканские объединения. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды — в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько допускали обстоятельства, были открытыми; об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира.— У кого? — На улице.— Какие секции были там? — Одна.— Какая? — Секция Манюэль.— Кто был ее руководителем? — Я.— Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в

тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком. Таково было положение дел. И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения. Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающйя нищета; там же можно было найти людей пылкого и редкого ума. А именно нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей. У предместья Сент-Антуан были- и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли. Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших Сердца и возвышавших душу. Кабачки АнтуанскоГо предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из ее глубин священные дуновения, — на те таверны, где столы были подобны треножникам 167

тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард таилась ужасающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редкого ума. А именно нищета и ум представляют собой особенно грозное сочетание крайностей.

У предместья Сент-Антуан были и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, когда на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, известны в истории. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвышавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проника-

и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином. Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens К В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев. Дикарей... Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этогб святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации. Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света. Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными,— мы это признаем,— но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку проМогучий (лат.).

и где пили тот напиток, который Энний называет *сивиллиным вином.*

Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: *Ingens* [1].

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей... Поясним это выражение. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, заботы общества для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Скрытые под маской тьмы, они требовали света.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными,— мы это признаем,— но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они с кротким видом высказываются за сохранение и поддержку про-

шлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство, — мы выбрали бы первых. Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой. Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика бога. Глава шестая АНЖОЛЬРАС И ЕГО ПОМОЩНИКИ Незадолго до этого Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки. Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в ¿вок) речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал: — Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, доведем сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи! Вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баорель посетит Эстрападу. Прувер! Масоны охладевают. Ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской шко

шлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами, проповедующими цивилизацию, и людьми цивилизованными, проповедующими варварство,— мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика бога.

Глава шестая

АНЖОЛЬРАС И ЕГО ПОМОЩНИКИ

Незадолго до этого Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен».

Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

— Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, доведем сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи! Вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баорель посетит Эстрападу. Прувер! Масоны охладевают. Ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику

лы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь Кугурдой. — Значит, все в порядке, — сказал Курфейрак. — Нет. — Что же еще? — Очень важное дело. — Какое? — спросил Курфейрак. — Менская застава,— ответил Анжольрас. Он помедлил, как бы раздумывая, потом заговорил снова: — У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но ¿клонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы- раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь Для Менской застйвы. Но у меня нет людей. — А я? — сказал Грантер.— Я-то ведь здесь! — Ты? — Я. — Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огОнь в охладевших сердцах] — Почему же нет? — Да разве ты на что-нибудь годишься? — Но я некоторым образом стремлюсь к этому. — Ты ни во что не веришь. — Я верю в тебя. — Грантер! Хочешь оказать мне услугу? — Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги. — Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай абсент. — Анжольрас! Ты неблагодарен. — И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты на это способен? — Я способен пойти по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миковать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оста170

лы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь Кугурдой.

— Значит, все в порядке,— сказал Курфейрак.

— Нет.

— Что же еще?

— Очень важное дело.

— Какое? — спросил Курфейрак.

— Менская застава,— ответил Анжольрас.

Он помедлил, как бы раздумывая, потом заговорил снова:

— У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

— А я? — сказал Грантер.— Я-то ведь здесь!

— Ты?

— Я.

— Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

— Почему же нет?

— Да разве ты на что-нибудь годишься?

— Но я некоторым образом стремлюсь к этому.

— Ты ни во что не веришь.

— Я верю в тебя.

— Грантер! Хочешь оказать мне услугу?

— Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

— Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай абсент.

— Анжольрас! Ты неблагодарен.

— И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты на это способен?

— Я способен пойти по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы

вить за собой Военный совет, пробежать по Старому Ідоильри, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому щоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен. И мои сапоги тоже способны. — Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе? — Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты», — Что же ты им скажешь? — Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. Ó принципах. — Ты?! — Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен Общественный договор, я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать . о самых изумительных вещах шесть часов подряд. — Будь посерьезнее, — сказал Анжольрас. — Уж куда серьезнее! — ответил Грантер. Анжольрас подумал немного и вскинул голову с видом человека,- который принял решение. — Грантер! — сказал он значительно. — Я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе. Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера. — Красный, — сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса. Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета. Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо: — Не беспокойся. Затем решительно нахлобучил шляпу и удалился. Четверть часа спустя дальняя комната в кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись по своим делам. Анжольрас, взявший на себя Кугур-. ду, вышел последним. 171

вить за собой Военный совет, пробежать по Старому Тюильри, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому шоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен. И мои сапоги тоже способны.

— Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

— Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

— Что же ты им скажешь?

— Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

— Ты?!

— Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен *Общественный договор,* я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

— Будь посерьезнее,— сказал Анжольрас.

— Уж куда серьезнее! — ответил Грантер.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову с видом человека, который принял решение.

— Грантер! — сказал он значительно.— Я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

— Красный,— сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

— Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и удалился.

Четверть часа спустя дальняя комната в кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, добирались тогда в долине Иоси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторбну Сены. ' Анжольрас, ша^ая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьёзность того, • что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелищеі Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась дЛинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля; грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, — все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантере. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге, — сказал он себе.— Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться». На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом. Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником. Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору. Вот что услышал Анжольрас: — Два раза шесть. 172

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась длинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ,— все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантере. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге,— сказал он себе.— Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником.

Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому

— Четверка. — Свинья! У меня таких нет, — Ты пропал. Двойка. — Шесть. — Три. — Очко! — Мне ходить. — Четыре очка, — Неважно. — Тебе ходить. — Я здорово промазал. — Ты пошел правильно. — Пятнадцать. — Й еще семь. — Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два! — Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ев поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе, — Та же двойка. — • Очко! — Очко? Так вот тебе пятерка. — У меня нет. — Ты же ее как будто выставил? - Да. — Пустышка. • — Ну и везет тебе! Да... Везет! (Длительное раздумье.) Двушка. — Очко! — Проехал. Не надоело еще? — Кончил! — Ну и черт с тобой!

— Четверка.
— Свинья! У меня таких нет.
— Ты пропал. Двойка.
— Шесть.
— Три.
— Очко!
— Мне ходить.
— Четыре очка.
— Неважно.
— Тебе ходить.
— Я здорово промазал.
— Ты пошел правильно.
— Пятнадцать.
— И еще семь.
— Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!
— Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.
— Та же двойка.
— Очко!
— Очко? Так вот тебе пятерка.
— У меня нет.
— Ты же ее как будто выставил?
— Да.
— Пустышка.
— Ну и везет тебе! Да... Везет! (Длительное раздумье.) Двушка.
— Очко!
— Проехал. Не надоело еще?
— Кончил!
— Ну и черт с тобой!

Книга вторая ЭПОНИНА Г лава первая ЖАВОРОНКОВО ЛОЛЕ Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Ма; риус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», ор жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно предоставляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово». На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Ворчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему: «Съехал!» Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать! — восклицала она, болтая с соседними привратницами.-— Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!» У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так 174

Книга вторая
ЭПОНИНА

Глава первая
ЖАВОРОНКОВО ПОЛЕ

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, о которой он предупредил Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус тоже ускользнул из дома. Было девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно предоставляли убежище восстанию. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в дом Горбо, заплатил за квартиру и все, что с него причиталось, тетушке Ворчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего нового адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Ворчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Ворчунья была убеждена, что Мариус являлся сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы мог подумать! — восклицала она, болтая с соседними привратницами.— Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девица!»

У Мариуса было два основания для столь быст-

близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличии, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, йо всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Í енардье. Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно. Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков. У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — спрашивал себя Тенардье. Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, — неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: она не Урсула. «Жаворонок» — прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый одно и то же лицо. Значит, он переодевался? В этом человеке бы175

близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличии, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

У Мариуса денег больше не было, и он брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — спрашивал себя Тенардье.

Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом,— неведомые ему существа, составлявшие весь смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: она не Урсула. «Жаворонок» — прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться

ло что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задай! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьмр стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самцій инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарений. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе р тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь обрисована несколькими словами: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся. В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить. Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, в общем, это одно и то же. Заблуждение! Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысль мечтой — значит принять яд за пищу. 176

ло что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был он или не был отцом девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно пламя, которое сжигает нас, вместе с тем просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь обрисована несколькими словами: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем легкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но одна лишь мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, в общем, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление — работа ума, мечтательность — его

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить! Пучина, бурлящая и затягивающая. По мере того как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий погибает. Средства иссякают, потребности возрастают. Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — ■ самоубийству или преступлению. Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду. Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра. Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!» Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея 177

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. Он выходил из дому только чтобы побродить и помечтать. Ленивые попытки жить! Пучина, бурлящая и затягивающая. По мере того как деятельность умерялась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий погибает. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на который вступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, кого он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он видел, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, он чувствовал, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем

основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашлй меня!» Потом прибавлял: «И мои думы, быть может, находят ее». Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он покачивал головой, но она тем не менее успевалй бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней». Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений, Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном Освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте. При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало; каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастия! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, тот не видел ничего истинного и ничего не знает. Душа любящая и страдающая — возвышенна. Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти.
— Как! — повторял он. — И я ее перед этим не увижу? Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль прежнего внутреннего бульвара с левой его стороны, то дойдешь до улицы Сайте, затем до Гласьер, а далее, 178

основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом прибавлял: «И мои думы, быть может, находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он утратил способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более чем когда-либо отличался проницательностью и справедливостью суждений, Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он воспринимал все верно, но с какой-то нескрываемой им удрученностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало; каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастия! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, тот не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая — возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу казалось, что темное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край бездонной пропасти.

— Как! — повторял он.— И я ее перед этим не увижу?

Если двинуться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и некоторое время идти вдоль пре-

не доходя до речки Гобеленов, вы видите нечто вроде цоля^ которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть. Все там исполнено прелести, источник которой неведом: зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушится на ветру разное тряпье; старая,' окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами; полуразрушенные изгороди; вода, поблескивающая между тополями; женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а В глубине — строгие четырехугольные башни Собора Богоматери. Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому- то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще чем раз в четверть часа, здесь проезжает тележка Или ломовой извозчик. Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его: — Как называется это место? Прохожий ответил: — Жаворонково поле. И прибавил: — Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври. После слова «Жаворонково» Мариус ничего больше не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение — для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и неспособна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах! — сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном таинственным беседам с самим собой. — Так это ее поле! Здесь я узнаю, где она живет». Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле. 179

не доходя до речки Гобеленов, вы видите нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров представляет собой единственное место, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неведом: зеленый лужок, над которым протянуты веревки, где сушится на ветру разное тряпье; старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами; полуразрушенные изгороди; вода, поблескивающая между тополями; женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни Собора Богоматери.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще чем раз в четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, пораженный диким очарованием местности, спросил его:

— Как называется это место?

Прохожий ответил:

— Жаворонково поле.

И прибавил:

— Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври.

После слова «Жаворонково» Мариус ничего больше не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение — для этого довольно какого-нибудь одного слова. Мысль сразу сосредоточивается на одном образе и неспособна ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах! — сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном таинственным беседам с самим собой.— Так это ее поле! Здесь я узнаю, где она живет».

Это было бессмысленно, но непреодолимо.

Глава вторая ЗАРОДЫШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТЮРЕМНОМ ГНЁЗДИЛИЩЙ

Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности. Прежде всего — а это было главной заботой Жавера — ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей. Ускользнул от Жавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шин* дерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонину Жавер снова «сцапал». Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет. Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось; агенты и сержанты «ничего не понимали»; он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; когда подъехали к тюрьме, то могли только сказать, что Звенигроша нет. с)то было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяние, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о подобной сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться и очень хорошим агентом. 180

Глава вторая

ЗАРОДЫШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ТЮРЕМНОМ ГНЕЗДИЛИЩЕ

Успех Жавера в доме Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего — а это было главной заботой Жавера — ему не удалось сделать пленника бандитов своим пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Ускользнул от Жавера и Монпарнас.

Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, стоявшую на карауле под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шинderганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. А Эпонину Жавер снова «сцапал». Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось; агенты и сержанты «ничего не понимали»; он словно превратился в пар, он выскользнул из наручников, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; когда подъехали к тюрьме, то могли только сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не был ли этот человек причастен к двойной загадке — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как преступления, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на злодеяние, а задними на власть? Жавер не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о подобной сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя

Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, — это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен. Что до Мариуса, «этого пррстофили адвоката, наверное струсившего», то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он — адвокат, значит разыщется. Но только ли он адвокат? Следствие начадрсь. Судебный следователь решил одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним. Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала СенБернарским двором, а воры — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых, заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись: Брюжон, 1811 Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года. Последний, которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень Ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении. Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, 181

Иметь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать,— это выгодно для бандитов и удобно для полиции. Такие двуликие мошенники существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то для Жавера, забывшего его имя, он большого интереса не представлял. Кроме того, он — адвокат, значит разыщется. Но только ли он адвокат?

Следствие началось.

Судебный следователь решил одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся вровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых, заржавленных железных ворот, ведущих в бывшую часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, а под ним надпись:

Брюжон, 1811

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.

Последний, которого мы видели мельком в засаде у Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь

выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской. Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный прейскурант тюремной лавчонки, начинавшийся: «Чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «Сигара — 5 сантимов», или весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных. Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, эта рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су,— сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи. Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А близ Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бисарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены. Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, — таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается жетон, — через

выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. Он целыми часами, как идиот, простаивал во дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, созерцая гнусный прейскурант тюремной лавчонки, начинавшийся: «Чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «Сигара — 5 сантимов», или весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года стало известно, что Брюжон, эта рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су,— сумма непомерная, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Узнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А близ Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бисарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение о каком-то злодейском умысле. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона пресечены.

Приблизительно через неделю после того, как были приняты эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон,— таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выпол-

глазок в дверях спальни увидел Брюжона: тот, сидя на койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать. Достоверно одно: на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен «почтальон». Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную комулибо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции. На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа. «Почтальон» заключал в. себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки: — «Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой». Это и писал Брюжон ночью. Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет. 183

глазок в дверях спальни увидел Брюжона: тот, сидя на койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно одно: на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлеманя в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки:

— «Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».

Это и писал Брюжон ночью.

Обманув бдительность надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мал-

Как раз в это время, за недостатком улик против дочерей Тенардье, Эпонина и АзельМа были освобождены. Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце. Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, а Маньон передала его любовнице Бабета в Салпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: нвчвео делать. Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке в дозорных тюрь« мы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь»,— ответил Бабет. Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем. Однако ЭТО привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона. Читатель узнает о них в свое время. Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие. Глава третья ВИДЕНИЕ ПАПАШИ МАБЕФА Мариус никого больше не навещал, и только из-* редка ему случалось встретить Мабефа. В то время, когда Мариув медленно спускался пр мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и Мабеф. «Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саДу окончились неудачей. Мабефу удалось вырастить лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак парой яиц, 184

Как раз в это время, за недостатком улик против дочерей Тенардье, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей *осветить дельце*.

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, а Маньон передала его любовнице Бабета в Салпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: *нечего делать*.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке в дозорных тюрьмы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь»,— ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, не входившим в планы Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

Глава третья

ВИДЕНИЕ ПАПАШИ МАБЕФА

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить Мабефа.

В то время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Мабефу удалось вырастить лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты

причем одно из них оставлял своей служанке, которой йё платил жалованья уже пятнадцать месяцев. Часто ¿тот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно Делал, что не посещал его. Но когда Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в разговор — они только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когдц Нищета разъединяет. Выли приятелями, а стали друг для друга прохожими. Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и свойм индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежды. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений создам новый успех моей «Флоре» и куплю, — уж я-то знаю где! — Искусство навигации Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, изданное в 1559 году». А пока же он проводил целые дни возле грядки с индиго, вечером возвращался к себе, поливал садик и читал книги. Ёму было без малого восемьдесят лет. Однажды вечером ему представилось cfpaHHOe видение. Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, Служившую скамьей в его саду. Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим Садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса. Мабеф, надев очки, стал перелистывать и просматривать две книги, очень его волновавшие и даже, 185

причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. Часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно делал, что не посещал его. Но когда Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в разговор — они только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет. Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежды. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений создам новый успех моей «Флоре» и куплю,— уж я-то знаю где!— *Искусство навигации* Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, изданное в 1559 году».

А пока же он проводил целые дни возле грядки с индиго, вечером возвращался к себе, поливал садик и читал книги. Ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Мабеф, надев очки, стал перелистывать и про-

что еще удивительнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Врожденная робость способствовала его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра О личинах демонов, вторая, in quarto, О воверских бесах и бьеврских кобольдах Мотор де ла Рюбодьера. Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его в старину посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные тона небо, а землю — в темные. Читая, Мабеф поглядывал поверх книги на растения, в частности — на великолепный рододендрон, служивший ему утешением. Вот уже четыре дня стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли согнулись, бутоны поникли, листья повисли, — все нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Папаша Мабеф принадлежал к числу людей, которые и в растениях чувствую* душу. Стйрик целый день проработал над грядкой инДйгб и выбился из сил; все Ае он встал, положил книги на скамью и неверными шагами, сгорбившись, пошел к колодцу; но, ухватившись за цепь, он не мог даже дернуть ее, чтобы снять с крюка. Он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу. В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль души скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь Ае знойной, как и день. «Все небо в звездах! — думал старик. — Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!» И снова опустил голову. Затем, опять взглянув на небо, прошептал: — Хоть бы одна росинка! Хоть бы капля жалости! Он попытался еще раз снять цепь t крюка на колодце и не мог. И тут он услышал голос: — Папаша Мабеф! Хотите, я полью сад? Послышался треск, словно через изгородь пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка и остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками. Прежде чем папаша Мабеф, которого, как мы уже отмечали, легко можно было привести в смущение и

что еще удивительнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Врожденная робость способствовала его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра *О личинах демонов,* вторая, *in quarto, О воверских бесах и бьеврских кобольдах* Мотор де ла Рюбодьера. Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его в старину посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные тона небо, а землю — в темные. Читая, Мабеф поглядывал поверх книги на растения, в частности — на великолепный рододендрон, служивший ему утешением. Вот уже четыре дня стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли согнулись, бутоны поникли, листья повисли,— все нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Папаша Мабеф принадлежал к числу людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и неверными шагами, сгорбившись, пошел к колодцу; но, ухватившись за цепь, он не мог даже дернуть ее, чтобы снять с крюка. Он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль души скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! — думал старик.— Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил голову.

Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

— Хоть бы одна росинка! Хоть бы капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не мог.

И тут он услышал голос:

— Папаша Мабеф! Хотите, я полью сад?

Послышался треск, словно через изгородь пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка и остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

напугать, нашел в себе силы произнести что-то членораздельное, девушка, чьи движения в темноте приобрели странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустиЛй в Колодец ведро и, вытащив его, наполнила лейку, а затем старик увидел, как это босоногое, одетое Е́ драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу Мабефа восхищением. Ему Казалось, что теперь рододендрон счастлив. Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад. Когда она в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, бегала по аллеям, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь. Как только она кончила свое дело, Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову. — Ди благословит вас господь! — сказал он.— Вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах. — Ну нет,— ответила она,— я дьявол, а впрочем, мне все равно. Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул: — Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас! — Кое-что вы можете сделать, — ответила она, — Что же? — Сказать мне, где живет господин Мариуо, Старик сначала не понял. — Какой господин Мариус? Его тусклый взгляд, казалось, всматривался во что-то исчезнувшее. — Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас. Мабеф усиленно рылся в памяти. — А, да!.. — вскричал он. — Понимаю. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах нет, не знаю! Он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона. — Подождите, — продолжал он, — я вспомнил. Он 187

напугать, нашел в себе силы произнести что-то членораздельное, девушка, чьи движения в темноте приобрели странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец ведро и, вытащив его, наполнила лейку, а затем старик увидел, как это босоногое, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, бегала по аллеям, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Как только она кончила свое дело, Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

— Да благословит вас господь! — сказал он.— Вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

— Ну нет,— ответила она,— я дьявол, а впрочем, мне все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

— Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

— Кое-что вы можете сделать,— ответила она.

— Что же?

— Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

— Какой господин Мариус?

Его тусклый взгляд, казалось, всматривался во что-то исчезнувшее.

— Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Мабеф усиленно рылся в памяти.

— А, да!..— вскричал он.— Понимаю. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах нет, не знаю!

Он наклонился, чтобы поправить веточку родо-

очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его часто можно встретить. Когда Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла. Само собою разумеется, он бул слегка напугдн. «Право, — подумал он, — если бы мой сад не был нолит, я бы решил, что это дух». Через час, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он пробормотал: — В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд? Глава четвертая ВИДЕНИЕ МАРИУСА Спустя несколько дней после того как «дух» посетил папашу Мабефа, однажды утром, в понедельник, — день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье,— Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «прогуляться», в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какойнибудь перевод, — как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор — контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог; он видел звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал. «Надо пройтись. Это меня оживит»,— говорил он себе. И шел на Жаворонково поле. А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс. Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни Ьдной оборванной нити своих мыслей. Тогда он гово188

очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его часто можно встретить.

Когда Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, он был слегка напуган.

«Право,— подумал он,— если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Через час, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он пробормотал:

— В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?

Глава четвертая

ВИДЕНИЕ МАРИУСА

Спустя несколько дней после того как «дух» посетил папашу Мабефа, однажды утром, в понедельник,— день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье,— Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «прогуляться», в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какой-нибудь перевод,— как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор — контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог; он видел звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал. «Надо пройтись. Это меня оживит»,— говорил он себе.

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за

рил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И Выходил каждый день. Он жйл скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Сайте, седьмое дерево от улицы Крульбарб. В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся, блестевшую листву. Он думал о «ней». Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе Души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца. Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь грустную сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже мойологом, настолько ослабела в нем способность к действию,— у него даже не было сил отчаиваться,— Мариус все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти веселые звуки навеяли на него глубокую задумчивость, и в этой задумчивости начали вырисовываться связные мысли. Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос: — А вот и он! Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром,— старшую дочь Тенардье, Эпонину; теперь ему было известно ее имя. Странно! 0на совсем обнищала, но похорошела, — прежде она казалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь: к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старше: дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был все тот же хриплый голос, все тот же морщинистый, загорелый лоб, все тот же бойкий, блуждающий и не189

рил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Кульбарб.

В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся, блестевшую листву.

Он думал о «ней». Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь грустную сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию,— у него даже не было сил отчаиваться,— Мариус все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти веселые звуки навеяли на него глубокую задумчивость, и в этой задумчивости начали вырисовываться связные мысли.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:

— А вот и он!

Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром,— старшую дочь Тенардье, Эпонину; теперь ему было известно ее имя. Странно! Она совсем обнищала, но похорошела,— прежде она казалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь: к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старше: дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был

уверенный взгляд. На ее лице еще сильней чем прежде проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой. В волосах у нее запутались соломинки и сенинки, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале. И несмотря ни на чтр, она была хороша. О юность! Какая звезда сияет в тебе! Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки. Некоторое время она молчала, словно не в силах была заговорить. — Все-таки я вас нашла! — сказала она нако* нец. — Папаша Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых полтора месяца! Значит, теперь вы там не живете? — Нет, — ответил Мариус. — А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты! Вы, значит, переехали? Послушайте! Почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не помню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают Ежедневник, по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы теперь живете? Мариус не отвечал. — Ах! — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью. Она прибавила с печальным выражением лица: — Вы как будто не рады меня видеть? Мариус молчал; она тоже помолчала, потом вскрикнула: — А все-таки, если я захочу, вы будете очень рады! 190

уверенный взгляд. На ее лице еще сильней чем прежде проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались соломинки и сенинки, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря ни на что, она была хороша. О юность! Какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была заговорить.

— Все-таки я вас нашла! — сказала она наконец.— Папаша Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых полтора месяца! Значит, теперь вы там не живете?

— Нет,— ответил Мариус.

— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты! Вы, значит, переехали? Послушайте! Почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не помню как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают *Ежедневник,* по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы теперь живете?

Мариус не отвечал.

— Ах! — продолжала она,— у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением лица:

— Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала, потом

— Как? — спросил Мариусг- Что вы хотите этим сказать? — Прежде вы говорили мне «ты!» — заметила она. — Ну хорошо, что }ке ты хочешь сказать? Она закусила губу; казалось, ¿на колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась. — Ну, все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу.,, — Да, да! Говори же! Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала: — Я знаю адрес. Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. — Какой адрес? — Адрес, который вы у меня просилні И прибавила как бы с усилием: — Адрес... Ну, вы ведь сами знаете... — Да, — пролепетал Мариус. — Той барышни! Произнеся это слово, она глубоко вздохнула. Мариус вскочил с парапета и вне себя схватил ее за руку. — О, так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это? — Пойдемте со мной,^- молвила она. — Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу. Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, охваченного восторгом Мариусаі — О, как вы рады! Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку. — Поклянись мне в одном! — Поклясться? Что это значит? А, вы хотите, что* бы я поклялась вам? Она засмеялась. — Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу! 191

— Как? — спросил Мариус.—Что вы хотите этим сказать?

— Прежде вы говорили мне «ты!» — заметила она.

— Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.

— Ну, все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

— Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

— Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу.

— Какой адрес?

— Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

— Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

— Да,— пролепетал Мариус.

— Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета и вне себя схватил ее за руку.

— О, так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

— Пойдемте со мной,— молвила она.— Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, охваченного восторгом Мариуса!

— О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку.

— Поклянись мне в одном!

— Поклясться? Что это значит? А, вы хотите, чтобы я поклялась вам?

Она засмеялась.

Ошеломленная, она обернулась к нему. — Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина? — Обещай мне сделать, то, о чем я тебя прошу! Она, казалось, не слышала. — Как это мило! Вы назвали меня Эпониной! Мариус взял ее за обе руки. — Ответь же мне! Ради бога! Слушай внима тель* но, что я тебе говорю, поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу! — • Моему отцу? — переспросила она. — Ах да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец! — Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Ма-і риус. — Ну, пустите же меня! — рассмеявшись, сказала она.— Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело? — И никому? — Никому. — А теперь, — сказал Мариус, — проводи меня. — Сейчас? — Сейчас. — Идем. О, как он рад! — вздохнула она. Сделав несколько шагов, она остановилась. — Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я. Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой. Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила: — Кстати, вы ведь обещали мне кое-что? Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине. Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, ■мрачно глядя на него, сказала: — Не нужны мне ваши деньги. 192

Ошеломленная, она обернулась к нему.

— Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

— Обещай мне сделать, то, о чем я тебя прошу!

Она, казалось, не слышала.

— Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

— Ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

— Моему отцу? — переспросила она.— Ах да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

— Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Мариус.

— Ну, пустите же меня! — рассмеявшись, сказала она.— Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

— И никому?

— Никому.

— А теперь,— сказал Мариус,— проводи меня.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Идем. О, как он рад! — вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

— Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила:

— Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и,

Книга третья ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ Г лава первая ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, — в то время знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, — • построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей». Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходившей на улицу. Сад занимал почти арпан, — только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством, как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы. Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на 7. «Отверженные», т. 2. 193

Книга третья

ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ

Глава первая
ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница,— в то время знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали,— построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходившей на улицу. Сад занимал почти арпан,— только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством, как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинст-

Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря предусмотрительно прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей земле, не опасаясь надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и владельцы участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, и даже не подозревали о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия всласть посплетничали о господине председателе. Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи, — окруженный тройной цветущей изгородью, имел вид довольно скромный, немного кокетливый и отчасти торжественный, как и подобает капризу любви и судебного ведомства. Этот дом и проход, ныне исчезнувшие, еще существовали пятнадцать лет назад. В 93-м году какой-то медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, то его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее, неразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме. К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и что даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там живет женщина. В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как 194

Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря предусмотрительно прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей земле, не опасаясь надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и владельцы участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, и даже не подозревали о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия всласть посплетничали о господине председателе.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи,—окруженный тройной цветущей изгородью, имел вид довольно скромный, немного кокетливый и отчасти торжественный, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, ныне исчезнувшие, еще существовали пятнадцать лет назад. В 93-м году какой-то медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, то его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее, неразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и что даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там живет женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся

мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал сюда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было. Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще скорее узнал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье. Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось? Ничего не случилось. Как помнит читатель, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверное, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о прекрасная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на это счастье, не создано ли оно из чужого Счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы без его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусст195

мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал сюда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще скорее узнал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как помнит читатель, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверное, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о прекрасная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы без его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользо-

венно взрастить в нем призвание, — значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и пожалев о том, что она — монахиня? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, .была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь. Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Препятствий не было. Пять лет жизни, проведенных в четырех стенах со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его теперь узнает? Кроме того, если предположить худшее, опасность существовала для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности. К этому времени воспитание Козетты было почти закончено. Остановившись на определенном решении, он стал ждать случая, и случай не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван. Жан Вальжан попросил аудиенции у досточтимой настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он покорно просит досточтимую настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает обители за пять лет, проведенных Козеттой под ее кровом. Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения. Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого был всегда при нем. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама. Заметим, что отныне он не расставался с чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была 196

венно взрастить в нем призвание,— значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и пожалев о том, что она — монахиня? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Препятствий не было. Пять лет жизни, проведенных в четырех стенах со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его теперь узнает? Кроме того, если предположить худшее, опасность существовала для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ждать случая, и случай не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан попросил аудиенции у досточтимой настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он покорно просит досточтимую настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает обители за пять лет, проведенных Козеттой под ее кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого был всегда при нем. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим, что отныне он не расставался с чемода-

первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан неразлучным, добавляя: «Я ревную к нему». Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю в большой тревоге. Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана. В это же время он снял две квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей опасности, — словом, чтобы не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он чудом спасся от Жавера. Это были убогие, бедные квартирки в двух кварталах, весьма отдаленных один от другого, — одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека. Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, проводил там месяц, полтора. Он пользовался услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого есть пристанище и в городе. У этого в высшей степени добродетельного человека было целых три жилища в Париже — так он боялся попасться полиции. Глава вторая ЖАН ВАЛЬЖАН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГВАРДЕЕЦ Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом: Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую, изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф. 197

первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан *неразлучным,* добавляя: «Я ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю в большой тревоге.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана.

В это же время он снял две квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей опасности,— словом, чтобы не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он чудом спасся от Жавера. Это были убогие, бедные квартирки в двух кварталах, весьма отдаленных один от другого,— одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, проводил там месяц, полтора. Он пользовался услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого есть пристанище и в городе. У этого в высшей степени добродетельного человека было целых три жилища в Париже — так он боялся попасться полиции.

Глава вторая

ЖАН ВАЛЬЖАН — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГВАРДЕЕЦ

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свою жизнь следующим образом:

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к древностям легкую, изящную обстановку, подобаю-

книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня». — «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше чем хозяин: я — отец!» В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал подаяние, в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов нежной страсти» не было любви без грота. 198

книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминавшем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня».— «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше чем хозяин: я — отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал подаяние, в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для хранения дров и вина пользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов нежной страсти» не было

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии. Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и — надо заметить, весьма охотно — нес караульную службу; то было законное переодеванье, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет — в этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, — в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа. Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, — а это бывало обычно вечером, — то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову — картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и почти не замечала странно

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет. Но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений от национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в то время, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три-четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и — надо заметить, весьма охотно — нес караульную службу; то было законное переодеванье, которое связывало его с другими людьми, вместе с тем давая ему возможность держаться особняком. Жану Вальжану минуло шестьдесят лет — в этом возрасте человек имеет право на освобождение от военной службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством,— в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешне он хотел быть похожим на буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дому вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один,— а это бывало обычно вечером,— то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову — картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни

стей отца. Тусен уважала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Чудак!» Она возразила: «Не чудак, а святой». Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, — разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания. Но здесь, возможно, он заблуждался. Глава третья FOLIIS AC FRONDIBUS1 Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покрывшейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками. Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, — всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, — это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего в жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение ка* рабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что рас* стилается по земле, встречалось с тем, что расцвета1 Среди листьев и ветвей (лат.). 200

стей отца. Тусен уважала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Чудак!» Она возразила: «Не чудак, а святой».

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме,— разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но здесь, возможно, он заблуждался.

Глава третья

FOLIIS AC FRONDIBUS[1]

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько растений, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь,— всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии,— это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего в жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцвета-

ет в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славила и свершала под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, святое таинство братства, — символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом, — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа. В флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой и в четырех стенах, с жаром принималась за незримое дело вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; развевая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отрадно смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный, тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья. Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода, сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному плотному ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы 201

ет в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славила и свершала под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, святое таинство братства,— символ братства человеческого. Этот сад был уже не садом,— он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за решеткой и в четырех стенах, с жаром принималась за незримое дело вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти как животное, которое вдыхает веяние космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; развевая по ветру свою чудесную зеленую гриву, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было отрадно смотреть, как хлопьями кружился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов ласково сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный, тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода, сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по

ни казался он в любое время года — весной, зимой, летом, осенью, — от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой». Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — Палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, — улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света. В природе нет ничего незначительного; кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего. Алгебра приложима к облакам; изучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках перво202

ни казался он в любое время года — весной, зимой, летом, осенью,— от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога. И старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — Палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке,— улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось в четырех стенах неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь то муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

В природе нет ничего незначительного; кто наделен даром глубокого проникновения в нее, тот знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; изучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением пес-

причин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью — видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется — от образования метеора и от удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит и к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень — плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновений, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, — здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, по одному и тому ще закону,— передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система- зубчатых колес, первый двигатель которой — мошка, а последнее колесо — зодиак. 203

причин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью — видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется — от образования метеора и от удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит и к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень — плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновений, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения,— здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная всюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, именуемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, по одному и тому же закону,— передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый

Г лава четвертая ПОСЛЕ ОДНОЙ РЕШЕТКИ ДРУГАЯ

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, : ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак — сгущаясь то здесь, то там, он ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью садовника, — один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра, — исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви. Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий. Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей только исполнилось' четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она производила впечатление скорее дурнушки, чем красавицы; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой, — словом, это был подросток. Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, — впоследствии в ней возникают ми204

Глава четвертая

ПОСЛЕ ОДНОЙ РЕШЕТКИ ДРУГАЯ

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак — сгущаясь то здесь, то там, он ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью садовника,— один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра,— исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей только исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она производила впечатление скорее дурнушки, чем красавицы; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой,— словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и

ражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму следует мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям . Только материнский инстинкт, — это изумительное прирожденное чувство, в котором слиты девические воспоминания и женский опыт, — знает, как, каким образом надо создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят матери. У Козетты не было матери. Были только материмонахини, всего лишь множественное число от слова «мать». Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, старик ничего в этом не смыслил. Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью! Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, утратив возможность излиться, и замывается, утратив возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, — сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь. Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что й в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но отгораживавшая сад от улицы. 205

ражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму следует мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт,— это изумительное прирожденное чувство, в котором слиты девические воспоминания и женский опыт,— знает, как, каким образом надо создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, старик ничего в этом не смыслил.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, утратив возможность излиться, и замыкается, утратив возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума,— сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще ребенком. Жан Вальжан предоставил этот запущенный сад в ее распоряжение. «Делай здесь все, что хочешь», — сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала «зверушек»; она играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради звезд, которые она увидит сквозь ветви над головой. И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал читать, и из него вышел хороший рассказчик; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; у него был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала его с мечтательным блуждающим взором. Этот простой человек насыщал мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее взор. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к отцу и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб. Козетта обожала доброго старика. Она ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, а каморку с соломенными стульями — большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что она ему докучает, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному». Козетта отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу: — Отец! Мне очень холодно у вас. Почему вы не постелите ковер и не поставите печку? 206

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще ребенком. Жан Вальжан предоставил этот запущенный сад в ее распоряжение. «Делай здесь все, что хочешь»,— сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала «зверушек»; она играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради звезд, которые она увидит сквозь ветви над головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал читать, и из него вышел хороший рассказчик; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; у него был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала его с мечтательным блуждающим взором.

Этот простой человек насыщал мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее взор. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к отцу и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, а каморку с соломенными стульями— большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что она ему докучает, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах девочки, обращающейся к отцу:

— Милое дитя! На свете столько людей лучше меня, а у них нет даже крыши над головой. — Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно? — Потому что ты женщина и ребенок. — Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить? — Некоторые мужчины. — Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить. Потом она ему говорила: — Отец! Почему вы едите такой гадкий хлеб? — Потому, доченька... — Ах так? Ну и я буду есть такой же. Чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жану Вальжану приходилось есть белый. Козетта смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Когда ей рисовалось ее детство, она видела вокруг себя лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней. Когда он сидел подле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и, молча роняя слезу, думала: «Быть может, это моя мать!» Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки, воспитывавшейся в монастыре, в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчива, и его улыбка сменилась слезой. 207

— Милое дитя! На свете столько людей лучше меня, а у них нет даже крыши над головой.

— Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно?

— Потому что ты женщина и ребенок.

— Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

— Некоторые мужчины.

— Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.

Потом она ему говорила:

— Отец! Почему вы едите такой гадкий хлеб?

— Потому, доченька...

— Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жану Вальжану приходилось есть белый.

Козетта смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Когда ей рисовалось ее детство, она видела вокруг себя лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел подле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и, молча роняя слезу, думала: «Быть может, это моя мать!»

Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки, воспитывавшейся в монастыре, в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда она спрашивала об этом Жана Вальжана, он молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину. , Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь доверить ее имя чужой памяти со всеми ее неожиданностями? Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на это права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине, молчание угнетало его, и ему чудилось, будто во мраке он различает что-то, похожее на палец, приложенный к устам. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы веруем в смерть и не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой. Как-то Козетта сказала ему: — Отец! Сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости. — Да, мученичеством, — ответил Жан Вальжан. Тем не менее Жан Вальжан был счастлив. Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его утопает в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый неземной радостью, он с восторгом твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он уверял себя, что недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил бога за то, что его, отверженного, так горячо полюбило это невинное существо. 208

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь доверить ее имя чужой памяти со всеми ее неожиданностями?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на это права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине, молчание угнетало его, и ему чудилось, будто во мраке он различает что-то, похожее на палец, приложенный к устам. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы веруем в смерть и не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

— Отец! Сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

— Да, мученичеством,— ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его утопает в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый неземной радостью, он с восторгом твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он уверял себя, что недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил

Г лава пятая РОЗА ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ОНА СТАЛА ОРУДИЕМ ВОИНЫ

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала странное .волнение. До сих пор она совсем не думала хх своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. Кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она. — Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» Она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадмуазель такая-то?» На следующий день она уже сознательно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? — подумала она.— Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною. Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или исполняла какую-нибудь другую работу, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца. В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то сзади нее сказал: «Красивая! Только плохо одета». «Это не про меня, — подумала она. — Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье. Наконец однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Ко209

Глава пятая

РОЗА ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ОНА СТАЛА ОРУДИЕМ ВОЙНЫ

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. Кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она.— Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» Она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадмуазель такая-то?»

На следующий день она уже сознательно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? — подумала она.— Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или исполняла какую-нибудь другую работу, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то сзади нее сказал: «Красивая! Только плохо одета».

«Это не про меня,— подумала она.— Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье.

Наконец однажды днем, когда она была в саду,

serra ne слышала, что ответил отец; слова Тусен были для нее откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца как она не смотрелась в него — и вскрикнула. Она была ослеплена собой. Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и со своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то особенное сияние зажглось в ее голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, — сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах. А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу. С некоторых пор он с ужасом глядел на красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него. Козетта была хороша задолго до того, как она это заметила. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим девушку неожиданным светом. Он воспринял это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора,— этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и вымаливал у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Ко* зетты!

зетта не слышала, что ответил отец; слова Тусен были для нее откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца как она не смотрелась в него — и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и со своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то особенное сияние зажглось в ее голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней,— сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

С некоторых пор он с ужасом глядел на красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как она это заметила. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим девушку неожиданным светом. Он воспринял это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора,— этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и вымаливал у провидения, у людей, у законов, у общества,

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — < он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил! «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом». Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как нача-* ло перемены. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное. Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка. Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?» В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью. Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться. На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красивая, только плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые, взойдя, заполняют всю жизнь женщины, — зерно кокетства. Второе зерно — любовь. Как только она поверила в свою красоту, в ней проснулась ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, — тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и 211

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не очень хорошо понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красивая, только плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые, взойдя, заполняют всю жизнь женщины,— зерно кокетства. Второе зерно — любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней проснулась ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу,— тем искусством, которое делает

столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки. Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной . из самых красивых женщин Парижа, — а это немало, — но и одной из самых «хорошо одетых», что гораздо важнее. Ей хотелось встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо. Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья. Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка. Выйдя из дому в первый раз в черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: — Ну, как вы меня находите, отец? Жан Вальжан ответил тоном, в котором сквозила горькая нотка зависти: — Восхитительной! На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту: — Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние? Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние. — Костюм для ряженого! — воскликнула она. — На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело! Жан Вальжан глубоко вздохнул. С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец! Мне так хорошо здесь с вами!» — теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем 212

столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа,— а это немало,— но и одной из самых «хорошо одетых», что́ гораздо важнее. Ей хотелось встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила:

— Ну, как вы меня находите, отец?

Жан Вальжан ответил тоном, в котором сквозила горькая нотка зависти:

— Восхитительной!

На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

— Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

— Костюм для ряженого! — воскликнула она.— На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила:

нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их? Еще он заметил, что Козетта уже не так любит дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой. Жан Вальжан, замкнувшись в себе, не показывался в саду. Он не покидал дворика, словно сторожевой пес. Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке и сама того не подозревая, ключи от рая. Но, утратив прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью. Именно в это время Мариус, после полугодового перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду. Глава шестая БИТВА НАЧИНАЕТСЯ Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым, таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии. В романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов люди перестали в нее верить. Теперь нужна смелость для того, чтобы сказать, что он и бна полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И, однако, именно так начинают любить, ц только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой. 213

нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Еще он заметил, что Козетта уже не так любит дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой. Жан Вальжан, замкнувшись в себе, не показывался в саду. Он не покидал дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке и сама того не подозревая, ключи от рая. Но, утратив прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после полугодового перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

Глава шестая

БИТВА НАЧИНАЕТСЯ

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым, таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов люди перестали в нее верить. Теперь нужна смелость для того, чтобы сказать, что он и она полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И, однако, именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту. Это было такое же зло и такое же благо. Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядя в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку. Все же она не могла не признать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он совсем не глуп, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства. В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и наконец сказали друг другу неясные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. В глубокой задумчивости вернулась она в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала о молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она сердилась на красивого гордеца. Что-то протестующее шевельнулось в ней. Ей казалось, что она наконец отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость. Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить. Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это 214

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Это было такое же зло и такое же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядя в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признать, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он совсем не глуп, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и наконец сказали друг другу неясные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. В глубокой задумчивости вернулась она в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала о молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она сердилась на красивого гордеца. Что-то протестующее шевельнулось в ней. Ей казалось, что она наконец отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каж-

ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно и в то же время очень просто. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга. В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта — с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга. Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви. Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображения старших пансионерок: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни? Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?» Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности — другой такой 215

ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно и в то же время очень просто. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта — с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображения старших пансионерок: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обо-

же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, — словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перемешивались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое. Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения. Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!» Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга. . Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и неведающей о своей любви. Сверх всего — кокетливой в силу своей невинности. Глава седьмая ЗА ОДНОЙ ПЕЧАЛЬЮ ПЕЧАЛЬ ЕЩЕ БОЛЬШАЯ При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего 216

же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков,— словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перемешивались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и неведающей о своей любви. Сверх всего — кокетливой в силу своей невинности.

Глава седьмая

ЗА ОДНОЙ ПЕЧАЛЬЮ ПЕЧАЛЬ ЕЩЕ БО́ЛЬШАЯ

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых тем-

не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто созидается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью-природой, — и в этом мудрость божественного закона, — • делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он привторялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека. Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать. Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная. Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: — Как важничает этот молодой человек! Годом раньше Козетта, с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила: — Кто? Ах, этот молодой человек! Можно было подумать, что она видит его первый раз в жизни. 217

не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, словно чувствуя, что в то время как нечто созидается, нечто другое разрушается. Мариус, предупрежденный той же матерью-природой,— и в этом мудрость божественного закона,— делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Иногда Жан Вальжан его замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он привторялся? Раньше он приходил в старом фраке, теперь всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала поводов для подозрений. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он не говорил с Козеттой о незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека внезапно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей:

— Как важничает этот молодой человек!

Годом раньше Козетта, с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

— Кто? Ах, этот молодой человек!

Можно было подумать, что она видит его первый

«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан,— Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него». О простота старцев! О мудрость детей! Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями; девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании». И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия? Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: — Уже? Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрение Козетты; но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чудилось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы. 218

«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан.— Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О простота старцев! О мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святой простоте, свойственной его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнута в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло вот-вот наступить. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула:

— Уже?

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и опасаясь возбудить подозрение Козетты; но в эти столь сладкие для влюбленных часы, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он не считал себя способным на какое-либо недоброе чувство, однако порой при виде Мариуса ему казалось, что он снова становится диким, свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему чу-

«Как! Он здесь, этот малый? Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!» «Да,— продолжал думать Жан Вальжан,— это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, — а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил, — чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!» И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, взирающий на другого человека; это был не враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора. Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме. Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась ответов; она уже 219

«Как! Он здесь, этот малый? Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»

«Да,— продолжал думать Жан Вальжан,— это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет стоять на коленях, выстрадать все, что только можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел,— а это справедливо, это хорошо, я за это заплатил, я это заслужил,— чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались необыкновенным зловещим светом. Это был уже не человек, взирающий на другого человека; это был не враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он заговорил с привратником. Тот заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?»— осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не

достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги, он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон. Однажды, желая испытать ее, он спросил: — Хочешь пойти в Люксембургский сад? Луч света озарил бледное личико Козетты. — Да,— ответила она. Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было. На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту: — Хочешь пойти в Люксембургский сад? — Нет, — печально и кротко ответила она. Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан Вальжан не ложился спать; он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?»; он старался понять, о чем она думает. О, какие скорбные взоры обращал он в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир — бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!» Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней у него всегда было ясное и доброе лицо. Обращение его с нею 220

достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жану Вальжану были неведомы такого рода тревоги, он не знал, что только они таят в себе очарование, и только их ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. Это свидетельствовало о неопытности в борьбе обеих сторон.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

— Да,— ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

— Нет,— печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда Жан Вальжан не ложился спать; он просиживал целые ночи около своего жалкого ложа, обхватив руками голову и спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?»; он старался понять, о чем она думает.

О, какие скорбные взоры обращал он в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир — бедная жертва преданности, ею же повергнутая в прах! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дур-

было еще более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость. Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди; оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение. Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико. Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее: — Что с тобой? Она отвечала: — Ничего. И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла: — А вы, отец? Что с вами? — Со мною? Ничего, — говорил он. Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь. 221

было еще более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно, не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молча принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала стеснение в груди; оно не проходило, а усиливалось с каждым днем. Она уже не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она пребывала угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она тоже ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он спрашивал ее:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

— А вы, отец? Что с вами?

— Со мною? Ничего,— говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга,

Глава восьмая КАНДАЛЬНИКИ Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе свет. В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке что-то детское. Им владело напреодолимое чувство; ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время старческие, в силу их наивности, навели его на другие: он поверил, и не без основания, в действие мишуры на воображение молодых девушек. Как-то он увидел на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, — то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей. А тут еще неожиданное потрясениеі В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца, — тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее! Утренняя прогулка для любящего одиночество — все равно, что ночная прогулка, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала рано. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности. Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности, мало посещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена

Глава восьмая

КАНДАЛЬНИКИ

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке что-то детское. Им владело напреодолимое чувство; ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время старческие, в силу их наивности, навели его на другие: он поверил, и не без основания, в действие мишуры на воображение молодых девушек. Как-то он увидел на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме,— то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

А тут еще неожиданное потрясение!

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца,— тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее!

Утренняя прогулка для любящего одиночество — все равно, что ночная прогулка, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала рано. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность

вблизи парижских застав тянулись унылые, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, снимала шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость: девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико. Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок. Однажды, октябрьским утром, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле МенскЬй заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, побелевшее небо, вздрагивающие стебельки, таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на огромной высоте, и казалось, будто этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворяет беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила за ее куполом, словно душа, ускользающая из мрачной темницы. Всюду были мир и тишина; на дороге ни души; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, шедших на работу. Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот дровяного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть мысли, которые можно было бы назвать 223

вблизи парижских застав тянулись унылые, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, снимала шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость: девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды, октябрьским утром, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, побелевшее небо, вздрагивающие стебельки, таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на огромной высоте, и казалось, будто этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворяет беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила за ее куполом, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; на дороге ни души; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, шедших на работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот дровяного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех сте-

вертикальными, — они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака. Вдруг она воскликнула: — Отец! Оттуда кто-то едет. Жан Вальжан поднял голову. Она была права. Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы, и ее перерезает под прямым углом бульвар. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу. Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, и в то же время это было что-то вздыбленное и колышущееся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно были видны лошади, колеса, слышались крики, хлопали бичи. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали громче, все это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений. Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; еся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, 224

вертикальными,— они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она воскликнула:

— Отец! Оттуда кто-то едет.

Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы, и ее перерезает под прямым углом бульвар. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, и в то же время это было что-то вздыбленное и колышущееся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно были видны лошади, колеса, слышались крики, хлопали бичи. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали громче, все это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом

головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что. По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Первые шесть имели, особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги или, вернее, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные цугом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей было еще невозможно, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, — так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало: то была цепь; на шеях что-то поблескивало: то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями; каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунов, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, связанные люди, с виду больные. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания. Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в сероголубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто, по-видимому, был их начальником, 225 8. «Отверженные», т. 2.

головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.

По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги или, вернее, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные цугом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей было еще невозможно, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами,— так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало: то была цепь; на шеях что-то поблескивало: то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями; каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунов, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, связанные люди, с виду больные. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шли в два ряда гнусного вида конвойные в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками,— настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью па-

держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо. Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара. По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище. Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. А в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других — плетушки; виднелись волосатые груди; сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужащ ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребятишки. Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать, что не сегодня-завтра разразится ливень, потом еще и

держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только еще съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В ближних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. А в остальном их одежда являла собой причуды нищеты. Она была отвратительно несуразна; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, на других — плетушки; виднелись волосатые груди; сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него: это был хлеб. Глаза у всех были сухие, потухшие или светившиеся недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза заливались смехом ребятишки.

Эта вереница повозок, какова она ни была, наводила на мрачные мысли. Можно было ожидать, что

еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды. Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором. Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из пользовавшейся в то время известностью Весталки Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками. В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитка227

еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных, под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря, наводя черные тени, подчеркивала жалкие профили; все были изуродованы нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывавшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из пользовавшейся в то время известностью *Весталки* Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных; там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия

ми, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении. Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках. Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!» Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух. Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заме223

ми, детские и потому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, в прошлом, быть может, невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, и разумение, перешедшее в отчаяние. Тут не из кого было выбирать: эти люди представляли собой как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; на одной скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была нема, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице Апокалипсиса, а, что еще страшнее, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти и приговаривала: «Это тебе урок, негодник!»

Пение и брань все усиливались; наконец тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому знаку ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, и это удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были

няющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, — и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, — обычное движение, тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу. Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула: — Отец! Что такое в этих повозках? Жан Вальжан ответил: — Каторжники. — Куда же они едут? — На каторгу. В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков. Козетта дрожала с головы до ног. — Отец! И все это — люди? — снова спросила она. — Некоторые из них, — ответил несчастный. Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку. 229

няющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть,— и не мог двинуть пальцем. Иногда увиденное овладевает вами и как бы вцепляется в вас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это зловещее преследование, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу,— обычное движение, тех, к кому внезапно возвращается память,— он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

— Отец! Что такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

— Каторжники.

— Куда же они едут?

— На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя,— то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их в состояние отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног.

— Отец! И все это — люди? — снова спросила она.

— Некоторые из них,— ответил несчастный.

Это был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Мен, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продол-

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память. Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: — О господи! Мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи! К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация всюду. Жан Вальжан, изменив своим привычкам, повел Козетту на праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся в Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне. Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, испытывая нечто похожее на чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народным гуляньем»; Жан Вальжан имел право думать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения. Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюа230

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленный. Такая встреча равносильна удару; она оставляет по себе грозную память.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она задавала еще вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала:

— О господи! Мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация всюду. Жан Вальжан, изменив своим привычкам, повел Козетту на праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся в Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, испытывая нечто похожее на чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народным гуляньем»; Жан Вальжан имел право думать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, ко-

ре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно ¿везде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит — не любит»; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем девушку. Рядом, в кустах, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: — “ Отец, а что это такое — каторга?

ре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит — не любит»; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем девушку. Рядом, в кустах, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила:

— Отец, а что это такое — каторга?

Книга четвертая ПОМОЩЬ СНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ Глава первая РАНА СНАРУЖИ, ИСЦЕЛЕНИЕ ВНУТРИ Так, день за днем, омрачалась их жизнь. У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, — оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета. На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара». Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!» Пока отец был болен, Козетта покинула особняк: она снова полюбила флигелек и дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала 232

Книга четвертая

ПОМОЩЬ СНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ

Глава первая

РАНА СНАРУЖИ, ИСЦЕЛЕНИЕ ВНУТРИ

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем,— оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось помочь многим страдальцам, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, воспалившейся, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. Глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк: она снова полюбила флигелек и дворик. Почти весь

ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я все это выдумал. Я старый сумасброд». Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!» Об отвратительном видении на Менской заставе Козетта больше не заговаривала. В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана. Наступила весна; сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся».— «Хорошо, отец», — сказала Козетта. Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад. Его рана дала другое направление мыслям обоих. Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов в человеческое сердце. 233

ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я все это выдумал. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме,— думал он,— и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Об отвратительном видении на Менской заставе Козетта больше не заговаривала.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна; сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся».— «Хорошо, отец»,— сказала Козетта.

Исполняя его желание, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как заря, веселый, как детство, иногда плаксивый, как новорожденный. Природа в этом месяце полна пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для неё мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да Козетта особенно и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива. Жан Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной. — О целебная рана! — тихонько повторял он. И он был благодарен Тенардье. Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки. Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа. Г лава вторая ТЕТУШКА ПЛУТАРХ БЕЗ ТРУДА ОБЪЯСНЯЕТ НЕКОЕ ЯВЛЕНИЕ Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка; ему показалось, что это деревня Аустерлиц. Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, а в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. За садом была пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь. 234

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как в ясный полдень в подвале. Да Козетта особенно и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан с радостью убеждался, что она снова становится свежей и румяной.

— О целебная рана! — тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно без всяких приключений гулять одному вечерами по малонаселенным окраинам Парижа.

Глава вторая

ТЕТУШКА ПЛУТАРХ БЕЗ ТРУДА ОБЪЯСНЯЕТ НЕКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка; ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, а в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. За садом была пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди. В двух шагах от него, по ту сторону изгороди, как раз против места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался. — Господин Мабеф! — сказала старуха. «Мабеф! — подумал Гаврош. — Вот потеха!» Старик не шевельнулся. Старуха повторила: — Господин Мабеф! Старик, не поднимая глаз, наконец отозвался: — Что скажете, тетушка Плутарх? «Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош. — Да это прямо умора!» Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу. — Хозяин недоволен. — Почему? — Мы должны за девять месяцев. — Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать. — Он говорит, что выставит нас. — Что ж, я пойду. — Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас нет дров. — Зато есть солнце. — Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину. — Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Это для меня слишком тяжелая пища. — Что же подавать на обед? — Хлеб. — Булочник требует по счету и говорит, что раз нет денег, не будет и хлеба. — Хорошо. 235

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по ту сторону изгороди, как раз против места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

— Господин Мабеф! — сказала старуха.

«Мабеф! — подумал Гаврош.— Вот потеха!»

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

— Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец отозвался:

— Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош.— Да это прямо умора!»

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

— Хозяин недоволен.

— Почему?

— Мы должны за девять месяцев.

— Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

— Он говорит, что выставит нас.

— Что ж, я пойду.

— Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас нет дров.

— Зато есть солнце.

— Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

— Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Это для меня слишком тяжелая пища.

— Что же подавать на обед?

— Хлеб.

— Булочник требует по счету и говорит, что раз

— Что же вы будете есть? — У нас есть яблоки. — Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег. — У меня их нет. Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Почти совсем стемнело. Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже. «Смотри-ка, — воскликнул про себя Гаврош, — да •тут настоящая спальня!» Забравшись поглубже, он свернулся в комочек. Спиной он почти касался скамьи дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика. Вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть. Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил. Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов. Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади. — А вон и еще двое, — пробормотал Гаврош. Первый силуэт напоминал старого, согбенного, задумчивого буржуа, одетого более чем просто, вышедшего побродить вечерком под звездным небом и ступавшего медленно, по-стариковски. Другой был тонкий, стройный, подтянутый. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство; вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль и розу во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас. 236

— Что же вы будете есть?

— У нас есть яблоки.

— Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

— У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка,— воскликнул про себя Гаврош,— да тут настоящая спальня!» Забравшись поглубже, он свернулся в комочек. Спиной он почти касался скамьи дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади.

— А вон и еще двое,— пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного, задумчивого буржуа, одетого более чем просто, вышедшего побродить вечерком под звездным небом и ступавшего медленно, по-стариковски.

Другой был тонкий, стройный, подтянутый. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство; вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль и розу во рту. Этот

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик. Гаврош уставился на них. Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то виды на другого. Гаврош мог наблюдать, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием. Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику. Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета. Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, стиснул руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из прохожих лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся: каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша. Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом такой страшной силы, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями. «Ай да старик!» — подумал Гаврош и, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом. Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?» Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу: — Вставай. 237

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош уставился на них.

Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то виды на другого. Гаврош мог наблюдать, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, стиснул руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из прохожих лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом такой страшной силы, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» — подумал Гаврош и, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он

Монпарнас поднялся, но старик все еще держал его. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой. Гаврош смотрел во все глаза и слушал во все уши. Он забавлялся от души. Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел разговор, приобретавший в ночной тьме трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал: — Сколько тебе лет? — Девятнадцать. — Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь? — Ну, это скучно. — Чем же ты занимаешься? — Бездельничаю. — Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть? — Вором. Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса. Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы. Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука. — Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь влачить самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Ты видел одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только ‘схватить человека за полу, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончил238

Монпарнас поднялся, но старик все еще держал его. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел во все глаза и слушал во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел разговор, приобретавший в ночной тьме трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

— Ну, это скучно.

— Чем же ты занимаешься?

— Бездельничаю.

— Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука.

— Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь влачить самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Ты видел одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец: не успеешь оглянуться, как

ся. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Раз ты не хочешь быть тружеником, то станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; раз ты не хочешь быть его другом, то будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости? Ты будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром,— ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. Что для других будет легким, как перышко, то для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, покажутся тебе непреодолимой крутизной. Жизнь станет чудовищной' для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая тяжелая работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь пройти или там — станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь веревку, потом вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, — и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымоходе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя утонуть. Я уж не го

ся. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Раз ты не хочешь быть тружеником, то станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; раз ты не хочешь быть его другом, то будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости? Ты будешь обливаться пóтом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром,— ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. Что для других будет легким, как перышко, то для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, покажутся тебе непреодолимой крутизной. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая тяжелая работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь пройти или там — станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь веревку, потом вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью,— и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется

ворю о дырах, которые нужно прикрывать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в тюфяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной, диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, — ведь за тобой будут следить, — это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку, спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпенья, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, праздность — да ведь это омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты это? Жить за счет общества? Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как зверь. И тебя поймают. И ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы собаки, будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями.

ворю о дырах, которые нужно прикрывать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в тюфяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной, диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей,— ведь за тобой будут следить,— это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку, спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпенья, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, праздность — да ведь это омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты это? Жить за счет общества? Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как зверь. И тебя поймают. И ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужас-

Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще так молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним Юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной советі Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери. Отпустив Монпарнаса, старик положил ему в руку кошелек. Монпарнас взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман сюртука. Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку. — Дуралей! — пробормотал Монпарнас. Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался. Озадаченный Монпарнас смотрел, ка« он исчезает в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми. В то время как старик удалялся, Гаврош приближался. Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что папаша Мабеф, по-видимому, задремавший, все еще сидит на скамье. Мальчишка вылез из кустов и тихонько пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман 241

Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще так молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

Отпустив Монпарнаса, старик положил ему в руку кошелек. Монпарнас взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

— Дуралей! — пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезает в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что папаша Мабеф, по-видимому, задремавший, все еще сидит на скамье. Мальчишка вылез из кустов и тихонько пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрал-

его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел папаша Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног. Кошелек упал на ногу папаши Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет. Господин Мабеф в полной растерянности отнес находку своей домоправительнице. — Это упало с неба,— сказала тетушка Плутарх.

его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел папаша Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу папаши Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет.

Господин Мабеф в полной растерянности отнес находку своей домоправительнице.

— Это упало с неба,— сказала тетушка Плутарх.

Книга пятая, КОНЕЦ КОТОРОЙ НЕ ПОХОЖ НА НАЧАЛО

Глава первая УЕДИНЕННОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С КАЗАРМОЙ

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, незаметно для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную, девственную душу нечто походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило. Однажды она вдруг вспомнила Мариуса: «Как странно! — сказала она себе. — Я больше о нем не ду* маю». На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девичьими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. У него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, красивое круглое лицо с пустыми глазами и нахальным выражением — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице. На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час. Была ли это простая случайность, но только теперь она видела его почти каждый день. Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо. 243

Книга пятая,
КОНЕЦ КОТОРОЙ НЕ ПОХОЖ НА НАЧАЛО

Глава первая
УЕДИНЕННОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С КАЗАРМОЙ

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, незаметно для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную, девственную душу нечто походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса: «Как странно! — сказала она себе.— Я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девичьими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. У него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, красивое круглое лицо с пустыми глазами и нахальным выражением — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Была ли это простая случайность, но только теперь она видела его почти каждый день.

почти всегда обретается довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман. — Послушай,— говорили они ему,— тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание! — Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан. Это было как раз в то время, когда Мариус был уже близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя. Кто был бы в этом виноват? Никто. Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают. Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что доступно только его жене, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям,— настоящей кабацкой стойкой. Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь, нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне?
Образ красивого офицера 244

почти всегда обретается довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.

— Послушай,— говорили они ему,— тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

— Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя.

Кто был бы в этом виноват? Никто.

Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что доступно только его жене, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям,— настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь, нечто про-

отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может, Козетта и не знала об этом. Вдруг произошел странный случай. Глава вторая СТРАХИ КОЗЕТТЫ В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в фиакре до глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег. Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня». Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе. «В лесу заблудились охотники!»— хор из Эврианты, быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась. Внезапно в саду послышались шаги. Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера. Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом. Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно. Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем. В саду никого не оказалось. Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть,— пустынно, как всегда.

отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может, Козетта и не знала об этом.

Вдруг произошел странный случай.

Глава вторая

СТРАХИ КОЗЕТТЫ

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хотя и редко. Уезжал он на день, на два. Куда? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз она провожала его в фиакре до глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не было денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе. «В лесу заблудились охотники!»— хор из *Эврианты,* быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно в саду послышались шаги.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. На небе сияла полная луна. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на

Козетта подумала, что ошиблась; очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, — хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать. Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость. На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, круживших ся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему; ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела. Она вышла из «зарослей»; ей оставалось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее тень на эту лужайку. Козетта остановилась в испуге. Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас,— тень в круглой шляпе. Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей, в двух-трех шагах от Козетты. Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову. Наконец собралась с духом и оглянулась. Никого не было. Она посмотрела на землю. Тень исчезла. Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила. Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли это быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация — это еще куда ни шло, но две? Oco246

Козетта подумала, что ошиблась; очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным, мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу,— хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать.

Козетта была не из робких. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.

На другой день вечером, но раньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. От неясных мыслей, кружившихся у нее в голове, ее отвлекал шум, подобный вчерашнему; ей начинало казаться, что она ясно слышит, как кто-то ходит в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих одна другую, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «зарослей»; ей оставалось лишь пересечь зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна отбросила ее тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей страх и ужас,— тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего у самых зарослей, в двух-трех шагах от Козетты.

Она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову.

Наконец собралась с духом и оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла.

Она вернулась в заросли, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюци-

бенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидёнием. Привидения не носят круглых шляп. На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей послышалось й привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты глупышка». Но Жан Вальжан задумался: — Тут что-нибудь есть, — сказал он. Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку. Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец. Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!» Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни. На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее: — Козетта! Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу, на лужайке. — Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, — сказал он,— Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе. Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей. Козетта рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб. К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная труба отбрасывать тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же 247

бенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидением. Привидения не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей послышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты глупышка».

Но Жан Вальжан задумался:

— Тут что-нибудь есть,— сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду был человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:

— Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно. Отец стоял внизу, на лужайке.

— Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась,— сказал он.— Смотри! Вот твой призрак в круглой шляпе.

Он показал ей лежавшую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие, а Козетта не задумалась над тем, могла ли печная

точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, — Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее. Но через несколько дней случилось новое происшествие. Глава третья ОБОГАЩЕННАЯ КОММЕНТАРИЯМИ ТУСЕН В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стонала каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба; тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви. Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею,— та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна. Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме? Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться». Она снова направилась к скамье. Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого. Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла мысль, испугавшая ее, — мысль, что камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, 248

точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась,— Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

Глава третья

ОБОГАЩЕННАЯ КОММЕНТАРИЯМИ ТУСЕН

В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба; тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею,— та непреодолимая печаль, которую приносит ветер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, конечно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень и спрашивала себя, что это может значить. Внезапно у нее возникла

что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотйас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь. — Отец вернулся? — спросила она Тусен. — Нет еще, барышня. (Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка.) Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно. — Тусен! — продолжала Козетта. — Хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки? — О, будьте спокойны, барышня! Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить: — Ведь здесь так пустынно вокруг! — Вот уж правда, барышня, — подхватила Тусен. — Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Подумать только! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи!» — и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти, все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи! — Полно! — сказала Козетта. — Заприте все хорошенько. Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела 249

что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

— Отец вернулся? — спросила она Тусен.

— Нет еще, барышня.

(Мы уже говорили, что Тусен заикается. Да будет нам позволено больше на это не указывать. Нам претит изображение природного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

— Тусен! — продолжала Козетта.— Хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

— О, будьте спокойны, барышня!

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо это знала, все же не могла не прибавить:

— Ведь здесь так пустынно вокруг!

— Вот уж правда, барышня,— подхватила Тусен.— Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Подумать только! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи!» — и начнут полосовать тебе горло. И не так боишься смерти, все умирают, тут уж ничего не поделаешь, все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди хватают тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

— Полно! — сказала Козетта.— Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении на прошлой неделе, даже не посмела сказать: «Ступайте, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до

под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору. Утром, когда взошло солнце,— а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех, — и Козетта проснулась, всё ее ужасы показались ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось? — сказала она себе. — Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень. «Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. — Мне приснился этот камень, как и все остальное». Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там. Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство. «Какой вздор! — сказала она себе. — Ну-ка посмотрим, что тут такое!» Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо. Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги. Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога. Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком. Козетта стала искать имя — его не было; подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти непреодолимых чар; она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взгля250

под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, похожий на огромную пещеристую гору.

Утром, когда взошло солнце,— а стоит солнцу взойти, как рассеиваются все ночные страхи и нам остается только посмеяться над ними, и чем сильнее страхи, тем радостней смех,— и Козетта проснулась, всё ее ужасы показались ей кошмарным сном. «Что это мне привиделось? — сказала она себе.— Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду,— решила она.— Мне приснился этот камень, как и все остальное».

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и вся покрылась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! — сказала она себе.— Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта вскрыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта тетрадку, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как показалось Козетте, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имя — его не было; подпись — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во

нула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано. Вот что она прочла: Глава четвертая СЕРДЦЕ ПОД КАМНЕМ Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — это и есть любовь. Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам. Как печальна душа, когда она опечалена любовью! Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое заполняет собою весь мир! Как это верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, — а ведь это очевидно, — вселенную для души, а душу для любви. Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты. Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы.' Любить живое существо, значит проникнуть в его душу. Иные мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, — на коленях. Разлученные возлюбленные обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого? Все творения божии созданы для того, чтобы служить 251

нула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, что здесь написано.

Вот что она прочла:

Глава четвертая

СЕРДЦЕ ПОД КАМНЕМ

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — это и есть любовь.

Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое заполняет собою весь мир! Как это верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал,— а ведь это очевидно,— вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо, значит проникнуть в его душу.

Иные мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела,— на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку множеством химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они изобретают таинственные средства общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Что же тут такого?

любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу. Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого. В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес. О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу. Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, — вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа. Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. "Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина! У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда — смерть. Умереть из-за отсутствия любви — ужасно. Это смерть от удушья. 252

любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания.

О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви,— вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда — смерть. Умереть из-за

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите! В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас. То, что начинает любовь, может быть завершено только богом. Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого. Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой; если вы человек — будьте любовью. Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье, — он хочет рая; он обрел рай, — он хочет неба. О любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. Любовь обладает тем же, что и небо, — созерцанием, и большим, чем небо, — • наслаждением. — Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь.— Она ходит в эту церковь, не правда ли? — Она больше туда не ходит. — Она по-прежнему живет в этом доме? — Она переехала. — Где же она теперь живет? — Она не сказала. Как безотрадно не знать адреса своей души! Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелочность. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка! 253

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой; если вы человек — будьте любовью.

Любовь ничем не удовлетворяется. Человек обрел счастье,— он хочет рая; он обрел рай,— он хочет неба.

О любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. Любовь обладает тем же, что и небо,— созерцанием, и большим, чем небо,— наслаждением.

— Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь.— Она ходит в эту церковь, не правда ли? — Она больше туда не ходит.— Она по-прежнему живет в этом доме? — Она переехала.— Где же она теперь живет? — Она не сказала.

Как безотрадно не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелочность. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ре-

Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо. О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться ес пальцев — этого мне было бы достаточно на целую вечность! Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви — значит жить ею. Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение. О радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда. Любовь — божественное вдыхание воздуха рая. Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приуготовление к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу. Как хорошо быть любимым! И еще лучше — любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не мо254

Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться ее пальцев — этого мне было бы достаточно на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви — значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь — божественное вдыхание воздуха рая.

Чуткие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приуготовление к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу.

Как хорошо быть любимым! И еще лучше — любить! Силою страсти сердце становится героическим. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается

жет прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки. Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы. Глава пятая КОЗЕТТА ПОСЛЕ ПИСЬМА Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер, — это было время его обычного появления, — победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла, что он отвратителен. Она снова углубилась в чтение. Почерк показался Козетте восхитительным; записи были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо-черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернил, — следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без отбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Рукопись в пятнадцать страниц внезапно и ласково открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей пригоршню лучей. Она почувствовала в этих строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг; Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, 255

жет прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце погасло бы.

Глава пятая

КОЗЕТТА ПОСЛЕ ПИСЬМА

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер,— это было время его обычного появления,— победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла, что он отвратителен.

Она снова углубилась в чтение. Почерк показался Козетте восхитительным; записи были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо-черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернил,— следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без отбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Рукопись в пятнадцать страниц внезапно и ласково открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей пригоршню лучей. Она почувствовала в этих строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой пред-

без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный. Казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души. Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать? Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек. Он! Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она. — Как мне знакомо все это! Я уже раньше все прочитала в его глазах». Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, устыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чемнибудь в голову. Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить 256

без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный. Казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она.— Как мне знакомо все это! Я уже раньше все прочитала в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, устыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей

ее наизусть и помечтать. Перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди. Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней. Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. От ее лица то и дело отливала краска, по телу пробегала дрожь. Временами ей казалось, что она бредит; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее сейчас, он содрогнулся бы, глядя на непостижимую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, — думала она,— это наверное он! Это он написал для меня». И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности. О превращения любви! О мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс. Глава шестая СТАРИКИ СУЩЕСТВУЮТ, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ УХОДИТЬ ИЗ ДОМУ Вечером, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько ниже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это было ничуть не неприлично и в то же время очень красиво. Она сама не знала, для чего так принарядилась. Собиралась ли она выйти из дому? Нет, 9. «Отверженные», т. 2. 257

ее наизусть и помечтать. Перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. От ее лица то и дело отливала краска, по телу пробегала дрожь. Временами ей казалось, что она бредит; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее сейчас, он содрогнулся бы, глядя на непостижимую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да,— думала она,— это наверное он! Это он написал для меня».

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О превращения любви! О мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

Глава шестая

СТАРИКИ СУЩЕСТВУЮТ, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ УХОДИТЬ ИЗ ДОМУ

Вечером, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько ниже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это было ничуть не неприлично и в то же время очень красиво. Она сама не знала, для чего так при-

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет. В сумерки она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами на дворик. Она бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев. Так она дошла до скамьи. Камень по-прежнему лежал на ней. Она села и положила нежную белую руку на камень, точно желая его приласкать и поблагодарить. Вдруг ею овладело то непреодолимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади. Она повернула голову и встала. Это был он. Он стоял с непокрытой головой. Он был бледен и худ. В темноте едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо. Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек. Его шляпа лежала неподалеку на траве. Козетта, близкая к обмороку, не вскрикнула. Она медленно отступала, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела. Отступая, Козетта почувствовала за собой дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала. И тут она услышала его голос, каким он никогда ни с- кем не говорил, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей: — Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Вы прочли то, что я положил на скамью? Вы узнаете меня? Не бойтесь. Помните тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени! Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. А день, когда вы прошли мимо? Это было шестнадцатого июня й второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрй258

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерки она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами на дворик.

Она бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень по-прежнему лежал на ней.

Она села и положила нежную белую руку на камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то непреодолимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с непокрытой головой. Он был бледен и худ. В темноте едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, близкая к обмороку, не вскрикнула. Она медленно отступала, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта почувствовала за собой дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

И тут она услышала его голос, каким он никогда ни с кем не говорил, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

— Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Вы прочли то, что я положил на скамью? Вы узнаете меня? Не бойтесь. Помните тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени! Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. А день, когда вы прошли мимо? Это

шивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видела вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу,— видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? А потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились? — Матушкѣ! — промолвила она и, словно умирая, начала медленно склоняться долу. Он ее подхватил, она не держалась на ногах, оп обнял ее, он сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, хотя сам шатался. Голова у него была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет церковный обряд и что он совершает святотатство. И все же он не испытывал вожделения к пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви. Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал: — Так вы меня любите? Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох: — Молчи! Ты сам знаешь! И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого, упоенного счастьем юноши. Он опустился на скамью, она села возле него. „Слов больше не было. В небе зажигались звезды. 2.59

шивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видела вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу,— видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? А потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

— Матушка! — промолвила она и, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, хотя сам шатался. Голова у него была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет церковный обряд и что он совершает святотатство. И все же он не испытывал вожделения к пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

— Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

— Молчи! Ты сам знаешь!

И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого, упоенного счастьем юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него

Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря? Один поцелуй — это было все. Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами. Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись. Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь! Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали. Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке. Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга. Когда они сказали все, она положила голову ему на плечо и спросила: — Как вас зовут? — Мариус. А вас? — Козетта.

Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй — это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову ему на плечо и спросила:

— Как вас зовут?

— Мариус. А вас?

— Козетта.

Книга шестая МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ Глава первая ЗЛАЯ ШАЛОСТЬ ВЕТРА С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много. Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием. Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», — говорила мамаша. Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу. Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможноё, чтобы доброй славой перебить исходивший от нее дурной 261

Книга шестая

МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ

Глава первая

ЗЛАЯ ШАЛОСТЬ ВЕТРА

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов»,— говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, что-

запах. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались, — того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Цедестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности самой себе исчезает. Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» — твердила ему Маньон. Тенардье, для которого перевоплощения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются формами мрака, едва различимыми 262

запах. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались,— того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности самой себе исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» — твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого перевоплощения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа,

на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым. Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству. «А что если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье: то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?» Маньон была модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с претензиями на роскошь, проживала опытная воровка — офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс». Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, они находились почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии. Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Хорошо, если б отец дал им образование». И вдруг эти дети, до сих пор опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно. Арест целой шайки злодеев, что имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение — настоящее бедствие для 263

на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству. «А что если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье: то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с претензиями на роскошь, проживала опытная воровка — офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, они находились почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Хорошо, если б отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, что имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обы-

этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнезДящихся под узаконенной общественной формацией) сббытие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Теіщрдье вызвала катастрофу с Маньон. Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший мастерскую напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, — сказал им башмачник. — Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке». Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указывать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченевшие пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время близилось к ночи, ребенок не мог ее найти. Они пустились блуждать по улицам наугад. Глава вторая, В КОТОРОЙ МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ ИЗ ВЕЛИКОГО НАПОЛЕОНА Весною в Париже девольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года — время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии страшная эпидемия, — ветры бы264

этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший мастерскую напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете,— сказал им башмачник.— Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указывать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченевшие пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время близилось к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

Глава вторая,

В КОТОРОЙ МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ ИЗВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ ИЗ ВЕЛИКОГО НАПОЛЕОНА

Весною в Париже девольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачающие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной

ли жестокими и пронизывающими как никогда.
Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры. С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией. Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флер-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев». Созерцая невесту и посматривая на кусок мыла, он бормотал: — Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник. К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным. Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор Прошло уже три дня, так как сегодня была пятница. Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где. Покамест Гаврош изучал невесту; витрину и виндворское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба 265

ли жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И той весной разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силой, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, замирая от восхищения, стоял перед парикмахерской близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную, неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флер-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом деле он наблюдал за парикмахерской, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и посматривая на кусок мыла, он бормотал:

— Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник.

К чему относился этот монолог, так и осталось невыясненным.

Если он имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сегодня была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной цирюльне, время от времени искоса поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.

Наконец Гаврош [illegible]

меньше его, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни, жалобны^ шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, h разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь. — Только холоду зря напустили! — проворчал он. Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь. Гаврош догнал их и спросил: — Что с вами стряслось, птенцы? — Мы не знаем, где нам спать, — ответил старший, — Только-тр? — удивился Гаврош. — Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Глупыши! Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он йринял снисходительно мягкий тон растроганного начальника: — Пошли за мной, малявки. — Хорошо, сударь, — сказал старший. Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плавать. Гаврош пошел по улице Сент- Антуан, по направлению к Бастилии. На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню. — Экий бесчувственный! Настоящая вобла! — бросил он.— Верно, англичанишка какой-нибудь. Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно. — Здравствуйте, мамзель Для-всех! — приветствовал ее Гаврош. Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил: — Я ошибся насчет той скотины: это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

меньше его, довольно чисто одетые, один лет семи, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и, войдя в цирюльню, попросили чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба одновременно, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь.

— Только холоду зря напустили! — проворчал он.

Дети, плача, пошли дальше. Тем временем надвинулась туча, заморосил дождь.

Гаврош догнал их и спросил:

— Что с вами стряслось, птенцы?

— Мы не знаем, где нам спать,— ответил старший.

— Только-то? — удивился Гаврош.— Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Глупыши!

Сохраняя вид слегка насмешливого превосходства, он принял снисходительно мягкий тон растроганного начальника:

— Пошли за мной, малявки.

— Хорошо, сударь,— сказал старший.

Двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош пошел по улице Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на цирюльню.

— Экий бесчувственный! Настоящая вобла! — бросил он.— Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом, из чего явствовало, что она относится к этой компании неуважительно.

— Здравствуйте, мамзель Для-всех!— приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

— Я ошибся насчет той скотины: это не вобла, а

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене: — Сударыня! Вы всегда выезжаете на собственной лошади? И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего. — Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий. Гаврош высунул нос из своей шали. — На кого изволите жаловаться? — На тебя, — ответил прохожий. — Контора закрыта, — выпалил Гаврош. — Я больше не принимаю жалоб. Идя дальше, он заметил под воротами закоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной. — Бедняжка! — сказал Гаврош.— У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На, держи! Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль. Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро. — Бр-р-р! — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща. При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния. — Ах так? — воскликнул Г аврош,— Это еще что такое? Опять полил? Господи боже! Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду! И он опять зашагал. — Ну ничего, — прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью,— у нее надежная шкурка. — И, взглянув на тучу, крикнул: — Вот тебя и провели! Дети старались поспевать за ним, 267

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

— Сударыня! Вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

— Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

— На кого изволите жаловаться?

— На тебя,— ответил прохожий.

— Контора закрыта,— выпалил Гаврош.— Я больше не принимаю жалоб.

Идя дальше, он заметил под воротами закоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она выросла из своих нарядов. Рост может сыграть злую шутку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

— Бедняжка! — сказал Гаврош.— У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На, держи!

Размотав на шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

— Бр-р-р! — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

— Ах так? — воскликнул Гаврош.— Это еще что такое? Опять полил? Господи боже! Если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он опять зашагал.

— Ну ничего,— прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью,— у нее надежная шкурка.— И, взглянув на тучу, крикнул:

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, — это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой,— Гаврош обернулся: — Да, вот что, малыши, вы обедали? — Мы с утра ничего не ели, сударь,— ответил старший. — Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — с величественным видом спросил Гаврош. — Извините, сударь, у нас есть и папа и мамд, только мы не знаем, где они. — Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош — он был мыслителем. — Вот уже два часа как мы идем, — продолжал старший, — мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли. — Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали, они gee пожирают. 1 И, помолчав, прибавил: — Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Заблудиться, когда ты уже в летах! Нужно, однако, пожрвать чего-нибудь. Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще? Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул: — Смешно! Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой... — Для порки, — закончил Гаврош. — Моя мама, — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель Мисс... -г- Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, — подхватил Гаврош. Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев. Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим. — Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим. Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул: • *- Продавец, на пять сантимов хлеба! 268

Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой,— это была булочная, ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой,— Гаврош обернулся:

— Да, вот что, малыши, вы обедали?

— Мы с утра ничего не ели, сударь,— ответил старший.

— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — с величественным видом спросил Гаврош.

— Извините, сударь, у нас есть и папа и мама, только мы не знаем, где они.

— Иной раз это лучше, чем знать,— заметил Гаврош — он был мыслителем.

— Вот уже два часа как мы идем,— продолжал старший,— мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

— Знаю,— сказал Гаврош.— Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

— Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Заблудиться, когда ты уже в летах! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще?

Старший мальчуган, к которому почти вернулась свойственная детству беззаботность, воскликнул:

— Смешно! Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

— Для порки,— закончил Гаврош.

— Моя мама,— начал снова старший,— настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

— Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты,— подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

— Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб. — Три куска, продавец! — крикнул Гаврош. И прибавил с достоинством: — Нас трое. Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо: — Этшкое? Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял и ответил: — Как что? Это хлеб, очень даже хороший, хлеб второго сорта. — Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе.— Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю. Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша. — Эй вы, хлебопек! — сказал он. — Что это вы вздумали снимать с нас мерку? Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень. Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям: — Лопайте. Мальчики с недоумением посмотрели на него. Гаврош рассмеялся: — А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли — И, прибавив: — Ешьте, — он протянул каждому из них по куску хлеба. Решив, что старший более достоин беседовать ç ним, а потому заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удов

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.

— Три куска, продавец! — крикнул Гаврош.

И прибавил с достоинством:

— Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:

— Этшкое?

Тех из наших читателей, которые вообразили бы, что это русское или польское слово, или же воинственный клич, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял и ответил:

— Как что? Это хлеб, очень даже хороший, хлеб второго сорта.

— Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе.— Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

— Эй вы, хлебопек! — сказал он.— Что это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех троих поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

— Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

— А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли.— И, прибавив: — Ешьте,— он протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший более достоин беседовать с ним, а потому заслуживает особого поощрения и дол-

летворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок: — .Залепи-ка это себе в дуло. Один кусок был меньше других; он взял его себе. Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно. — Выйдем на улицу,— сказал Гаврош. Они снова пошли по направлению к Бастилии. , Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке. — Ну не глупыши? — говорил Гаврош. Потом задумчиво бормотал: — Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел. Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая, зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал: — А, это ты, Гаврош? — А, это ты, Монпарнас? — ответил Гаврош. К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его. — Вот так штука! — продолжал Гаврош. — Твоя хламида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику! — Тише!/ — одернул его Монпарнас. — Не ори так громко! И оттащил Гавроша от освещенной витрины. Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними. Когда они оказались под черным сводом ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил: — Знаешь, куда я иду? — В монастырь Вознесение-Поневоле ’, — ответил Гаврош. 1 Эшафот. (Прим, авт.) 270

летворении своего аппетита, он сказал, сунув ему самый большой кусок:

— Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

— Выйдем на улицу,— сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

— Ну не глупыши? — говорил Гаврош.

Потом задумчиво бормотал:

— Будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.

Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая, зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

— А, это ты, Гаврош?

— А, это ты, Монпарнас? — ответил Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

— Вот так штука! — продолжал Гаврош.— Твоя хламида такого же цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

— Тише! — одернул его Монпарнас.— Не ори так громко!

И оттащил Гавроша от освещенной витрины.

Двое малышей, держась за руки, машинально пошли за ними.

Когда они оказались под черным сводом ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

— Знаешь, куда я иду?

— В монастырь Вознесение-Поневоле [1].— ответил

— Шутник! Я хочу разыскать Бабета; — продолжал Монпарнас. — Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош, Монпарнас понизил голос: — Не она, а он. — Ах, так это ты насчет Бабета? — Да, насчет Бабета. — Я думал, он попал в конверт. — Он его распечатал,— ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса». Гаврош подивился его ловкости. — Ну и мастак! — сказал он. Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключение сказал: — Ты не думай, это еще не все! Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала. — Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно.— Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское. Монпарнас подмигнул. — Черт возьми! — воскликнул Гаврош. — Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами? — Как знать, — с равнодушным видом ответил Монпарнас,— булавка никогда не помешает. — Что же ты думаешь делать сегодня ночью? Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы: — Так, кое-что. Затем, переменив разговор, воскликнул: — Да, кстати! — Ну? — На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там — ничего. — Кроме проповеди, — добавил Гаврош. — Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — куда идешь? Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил*

— Шутник! Я хочу разыскать Бабета;— продолжал Монпарнас.

— Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

— Не она, а он.

— Ах, так это ты насчет Бабета?

— Да, насчет Бабета.

— Я думал, он попал в конверт.

— Он его распечатал,— ответил Монпарнас и поспешил рассказать мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

— Ну и мастак! — сказал он.

Монпарнас сообщил подробности побега, а в заключение сказал:

— Ты не думай, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

— Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно.— Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

— Черт возьми! — воскликнул Гаврош.— Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

— Как знать,— с равнодушным видом ответил Монпарнас,— булавка никогда не помешает.

— Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и процедил сквозь зубы:

— Так, кое-что.

Затем, переменив разговор, воскликнул:

— Да, кстати!

— Ну?

— На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя шарю рукой в кармане, а там — ничего.

— Кроме проповеди,— добавил Гаврош.

— Ну, а ты,— продолжал Монпарнас,— куда

— Иду укладывать спать этих ребят, — Где же ты их уложишь? — У себя. — Где это у тебя? — У себя. — Значит, у тебя есть квартира? — Есть. — Где же это? — В слоне, — ответил Гаврош. Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул: — В слоне? — Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош. — Штотуткоо? Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» означает: «Что ж тут такого?» Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша. — А в самом деле! сказал он. — Слон так слон. А что, там удобно? — Очень удобно, — ответил Гаврош. — Там, правда, отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами. — Как же ты туда входишь? — Так и вхожу. — Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас. — Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили. — И ты взбираешься наверх? Так, понимаю. — Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уже нет. Помолчав, Гаврош добавил: — Для этих малышей у меня найдется лестница. Монпарнас расхохотался: — Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат? — Это мне один цирюльник подарил на память,— не задумываясь, ответил Гаврош. Вдруг Монпарнас задумался. — Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он. 272

— Иду укладывать спать этих ребят.

— Где же ты их уложишь?

— У себя.

— Где это у тебя?

— У себя.

— Значит, у тебя есть квартира?

— Есть.

— Где же это?

— В слоне,— ответил Гаврош.

Монпарнаса трудно было чем-нибудь удивить, но тут он невольно воскликнул:

— В слоне?

— Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош.— Штотуткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» означает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

— А в самом деле! — сказал он.— Слон так слон. А что, там удобно?

— Очень удобно,— ответил Гаврош.— Там, правда, отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

— Как же ты туда входишь?

— Так и вхожу.

— Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас.

— Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

— И ты взбираешься наверх? Так, понимаю.

— Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уже нет.

Помолчав, Гаврош добавил:

— Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

— Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

— Это мне один цирюльник подарил на память,— не задумываясь, ответил Гаврош.

Вдруг Монпарнас задумался.

Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту — две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился. — Это тебе к лицу, — сказал Гаврош, — сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда. Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник. — Без шуток, — сказал Монпарнас,— как ты меня -находишь? Голос тоже у него был теперь совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем. — Покажи-ка нам Пет-р-рушку! — воскликнул Гаврош. Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса. К сожалению, Монпарнас был озабочен. Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово: — Слушай, парень, следи глазом: ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, — так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица. Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: — Вон оно что! Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал: — Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае, если я тебе понадоблюсь ночью, можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша. — Ладно, — молвил Монпарнас. Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку». 273

Вынув из кармана две маленькие штучки, попросту — две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.

— Это тебе к лицу,— сказал Гаврош,— сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Ходи так всегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.

— Без шуток,— сказал Монпарнас,— как ты меня находишь?

Голос тоже у него был теперь совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

— Покажи-ка нам Пет-р-рушку! — воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

— Слушай, парень, следи глазом: ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть,— так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика должное впечатление. Он живо обернулся, внимательно оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось:

— Вон оно что!

Но он сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

— Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае, если я тебе понадоблюсь ночью, можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.

— Ладно,— молвил Монпарнас.

Они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звукосочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг — выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло. Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией». Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп ' наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам, ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии. Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатуркш 274

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звукосочетание *диг,* повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог *диг* не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: *мой дог, мой даг* и *мой диг* — выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, а небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам, ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение,

оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано. Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину. Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника. Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное. 275

оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно величественный и отмеченный печатью великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же, как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; люди начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, возвращаясь к площади Бастилии, мы можем сказать одно: творец слона и при

Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска, был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона. К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами». Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действитель^ ности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение памятника. Отметив этот факт, продолжаем. Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал: — Птенцы, не бойтесь! Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег. У забора лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру. — Взбирайтесь и входите, — сказал он. Мальчики испуганно переглянулись. — Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош и прибавил: — Сейчас увидите. Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком. 276

Печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска, был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и длинным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено прервать здесь наш рассказ и напомнить, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

— Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

У забора лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош с неожиданной силой поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру.

— Взбирайтесь и входите,— сказал он.

Мальчики испуганно переглянулись.

— Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош и прибавил: — Сейчас увидите.

Он обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры

— Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему,— Я подам тебе руку. Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел. Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — ученика или погонщик — мула: — Не трусь! — Так, правильно! — Лезь же, лезь! — Ставь ногу сюда! — Руку туда! — Смелей! Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе. — Попался! — сказал Гаврош. Малыш проскочил в трещину. — Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. Сударь! Потрудитесь присесть. Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему: — Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе! В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал: — Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет! После этого взрыва веселья он прибавил: — Ну, карапузы, вы у меня дома! Гаврош на самом деле был у себя дома. О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот нёобъятный памятник, заключавший мысль императора, 277

— Ну вот,— крикнул он,— лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему.— Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош внушал им не только страх, но и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелел. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его одного между лап огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — ученика или погонщик — мула:

— Не трусь!

— Так, правильно!

— Лезь же, лезь!

— Ставь ногу сюда!

— Руку туда!

— Смелей!

Когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

— Попался! — сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

— Теперь,— сказал Гаврош,— подожди меня. Сударь! Потрудитесь присесть.

Выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

— Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе!

В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

— Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

— Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот не-

стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим — над жалким пйгмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку. Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети. — Начнем вот с чего, — сказал Гаврош, — скажем привратнику, что нас нет дома. Нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру, 278

стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим — над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

— Начнем вот с чего,— сказал Гаврош,— скажем привратнику, что нас нет дома.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс. Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона. Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или еще точнее, что должен был испытать Иона в чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями. Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу. Младший прижался к старшему и сказал вполголоса: — Тут темно. Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски. — Что вы мне голову морочите? — воскликнул он.— Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки! Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу. 279

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или еще точнее, что должен был испытать Иона в чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям в углах можно было заметить большие, казавшиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:

— Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

— Что вы мне голову морочите? — воскликнул он.— Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успо-

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему; — Дуралей! — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном. — Это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь не дует; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми! Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием. — Живо! — крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать «глубиной комнаты». Там находилась его постель. Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом. Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом — довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков. Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди, одна сзади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решеткщ которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса. Эта сетка и служила пологом. Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись. — Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош. Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался велед за ними, подвинул на место камин и плотно закрыл отверстие.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему:

— Дуралей! — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном.— Это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь не дует; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!

Дети смелее начали осматривать помещение, но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

— Живо! — крикнул он и подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать «глубиной комнаты».

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом— довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.

Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди, одна сзади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул в сторону камни, придерживавшие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.

— Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем

Все трое растянулись на циновке. Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу». — Теперь, — сказал он, — дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр. — А это что такое, сударь? — спросил старший, показывая на сетку. — Это от крыс,— важно ответил Гаврош,— Дрыхните! Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам: — Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Фамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь. Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего. — Как хорошо! Как тепло! — пролепетал тот. Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло. — Это тоже из Ботанического сада,— сказал он. — У обезьян забрал. Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил: — А это было у жирафа. И, помолчав, продолжал: — Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона». Снова помолчав, он заметил: — Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом. Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом. — Сударь! — робко сказал старший. — А разве вы не боитесь полицейских? — Малыш! Говорят не «полицейские», а «фараоны»! — вот все, что ответил ему Гаврош. 281

Все трое растянулись на циновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

— Теперь,— сказал он,— дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

— А это что такое, сударь? — спросил старший, показывая на сетку.

— Это от крыс,— важно ответил Гаврош.— Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение младенцам:

— Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего.

— Как хорошо! Как тепло! — пролепетал тот.

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

— Это тоже из Ботанического сада,— сказал он.— У обезьян забрал.

Указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, он сообщил:

— А это было у жирафа.

И, помолчав, продолжал:

— Все это принадлежало зверям. Я у них отобрал. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова помолчав, он заметил:

— Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но вместе с тем изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

— Сударь! — робко сказал старший.— А разве вы не боитесь полицейских?

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему: — Ну как? Хорошо тут? — Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела. Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться. — Кстати, — снова заговорил Гаврош, — почему это вы давеча плакали? И, показав на младшего, продолжал: — Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь — это совсем глупо; точь-вточь теленок. — Ну да! — ответил тот. — Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться. — Птенцы! — заметил Гаврош. — Говорят не «квартира», а «домовуха». — А потом мы боялись остаться ночью одни. — Говорят не «ночь», а «потьмуха». — Благодарю вас, сударь, — ответил мальчуган. — Послушай, — снова заговорил Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. Затем мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не по

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

— Ну как? Хорошо тут?

— Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

— Кстати,— снова заговорил Гаврош,— почему это вы давеча плакали?

И, показав на младшего, продолжал:

— Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь — это совсем глупо; точь-в-точь теленок.

— Ну да! — ответил тот.— Ведь у нас не было квартиры, и некуда было деваться.

— Птенцы! — заметил Гаврош.— Говорят не «квартира», а «домовуха».

— А потом мы боялись остаться ночью одни.

— Говорят не «ночь», а «потьмуха».

— Благодарю вас, сударь,— ответил мальчуган.

— Послушай,— снова заговорил Гаврош,— никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду о вас заботиться. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл. Мы были тогда малышами как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. Затем мы отправимся в оперу. Вой-

шел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем смотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Маре. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово развлечься! В это время на палец Гавроша упала капля смолы; это вернуло его к действительности; — А, черт! — воскликнул он,— Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят. — А потом,— робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, — уголек может упасть на солому, надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом. — Говорят не «сжечь дом», а «подсушить мельницу»,— поправил Гаврош. Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил лйвень по спине колосса. — Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош. — Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и. брюзжит, старая водоноска. Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом: — Спокойно, ребята! Не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю. После этого он привел в порядок сетку, подтолкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы забавить хорошенько вытянуться, и вскричал: 283

шел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем смотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Маре. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово развлечься!

В это время на палец Гавроша упала капля смолы; это вернуло его к действительности.

— А, черт! — воскликнул он.— Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

— А потом,— робко вставил старший, осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему,— уголек может упасть на солому, надо быть осторожнее, чтобы не сжечь дом.

— Говорят не «сжечь дом», а «подсушить мельницу»,— поправил Гаврош.

Погода становилась все хуже. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

— Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош.— Забавно слушать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что едва не слетела сетка, но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

— Спокойно, ребята! Не толкайте наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, подтолк-

— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы? — Да, — прошептал старший, — мне хорошо. Под головой словно пух. — Говорят не «голова», а «Сорбонна»! — крикнул Гаврош. Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ: — Дрыхните! И погасил фитилек. Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком. Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание: — Сударь! — Что? — спросил уже засыпавший Гаврош. — А это что такое? — Это крысы, — ответил Гаврош. И сйова опустил голову на циновку. Действительно, крысы, сотнями обитавшие в остове сл'Она, — они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, — держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа. Между тем мальчуган не засыпал. 284

— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

— Да,— прошептал старший,— мне хорошо. Под головой словно пух.

— Говорят не «голова», а «сорбонна»! — крикнул Гаврош.

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

— Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

— Сударь!

— Что? — спросил уже засыпавший Гаврош.

— А это что такое?

— Это крысы,— ответил Гаврош.

И снова опустил голову на циновку.

Действительно, крысы, сотнями обитавшие в остове слона,— они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили,— держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались на самую верхушку и принялись грызть проволоку, словно пытаясь

— Сударь! — снова заговорил он. — Ну? — А что такое — крысы? — Это мыши. Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже Бидел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил: — Сударь! — Ну? — Почему у вас нет кошки? — У меня была кошка, — ответил Гаврош, — я ее сюда принес, но они ее съели. Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз. — Сударь! - Ну? — А кого же это съели? — Кошку. — А кто съел кошку? — Крысы. — Мыши? — Да, крысы. Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал: — Сударь! Значит, такие мыши и нас могут съесть? — Понятно! — ответил Гаврош. Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил: — Не бойся! Они до нас не доберутся. И, кроме того, я здесь! На, держи мою руку. Молчи и дрыхни! Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю,— трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали. Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем налетал 285

— Сударь! — снова заговорил он.

— Ну?

— А что такое — крысы?

— Это мыши.

Объяснение Гавроша успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

— Сударь!

— Ну?

— Почему у вас нет кошки?

— У меня была кошка,— ответил Гаврош,— я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

— Сударь!

— Ну?

— А кого же это съели?

— Кошку.

— А кто съел кошку?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Ребенок, удивившись, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

— Сударь! Значит, такие мыши и нас могут съесть?

— Понятно! — ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

— Не бойся! Они до нас не доберутся. И, кроме того, я здесь! На, держи мою руку. Молчи и дрыхни!

Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и успокоился. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю,— трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную

порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек. Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым. На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы xofb малейший луч света упал на этого человека, то по çro насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание: — Кирикикиу! На второй крик из брюха слона ответил звонкий, веселый детский голос: — Здесь! Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас. Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Спросишь господина Гавроша». Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз. Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас сказал кратко: — Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и в поисках ночных бродяг молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей бесприютных спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, перебежал площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное представление о котором может дать следующее начертание:

— Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий, веселый детский голос:

— Здесь!

Почти тут же доска, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Спросишь господина Гавроша».

Услышав крик, он вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас сказал кратко:

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений. — Ладно, — сказал он. Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок. Сидевшие в тележках между грудами овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих. Глава третья ПЕРИПЕТИИ ПОБЕГА Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс. Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи. Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать. Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Жнеоглот означал преступление, гвоздь означал свободу. 287

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

— Ладно,— сказал он.

Оба пошли по направлению к Сент-Антуанской улице, откуда появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную вереницу тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидевшие в тележках между грудами овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

Глава третья

ПЕРИПЕТИИ ПОБЕГА

Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс.

Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Живо-

Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный в«д и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кро. ме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь». Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе. Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных преступников», как принято выражаться. Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу. Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу. Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных преступников», как принято выражаться.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, — сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс. Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркеном. Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, — то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба, — то была труба, проходившая через общие камеры. «Вольный воздух», чердак Нового здания, представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если бойти туда с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, — из железных брусьев. Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила. Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всеми правдами и неправдами. Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, НайденТ. 2. 289 10. «Отверженные»,

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями,— сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркеном.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой,— то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба,— то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если войти туда с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши,— из железных брусьев.

Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всеми правдами и неправдами.

Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Ба-

ным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука. Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая. — Хороша потьмуха для вылета! — заметил Брюжон. Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице. Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях. Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости. Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если но считать того, что кожа у них на ладонях была шдрана, В эту ночь Тенардье был предупрежден,— каким образом, выяснить не удалось,— и не спал.

ным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука. Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая.

— Хороша потьмуха для вылета! — заметил Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать того, что кожа у них на ладонях была содрана.

В эту ночь Тенардье был предупрежден — каким

Около часа пополуночи, хотя ночь и была темнымтемна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось. Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, — в те времена так полагалось, — входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночью. Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш — чтобы, мол, «крысы его самого не сожрали». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал: «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку». В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, кроме того, что «пехтура»часовой — совсем еще молокосос и что у него «глуповатый вид». Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез. В ту минуту, когда было сделано это открытие, Те291

Около часа пополуночи, хотя ночь и была темным-темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось.

Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов,— в те времена так полагалось,— входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночью.

Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш — чтобы, мол, «крысы его самого не сожрали». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал: «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, кроме того, что «пехтура»-часовой — совсем еще молокосос и что у него «глуповатый вид». Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, ко-

нардье считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности. Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту. Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся до сего времени; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червяками перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс. Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду. На самом верху этой развалины и очутился Тенардье в три часа утра с минутами. Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены во292

нардье считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся до сего времени; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червяками перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье в три часа утра с минутами.

Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков

круг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого так и не узнали. Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем: человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»? Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой. Взятая им с собой веревка была слишком коротка. Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа,— время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, на страшной глубине, мокрую мо

круг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого так и не узнали.

Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем: человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа,— время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на

стовую, — желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой. Он спрашивал себя: удалось ли бежать трем его соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Верен едут к рынку по улице Сент-Антуан. Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя б тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты двороз. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел; из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец Тенардье увидел в стороне Бастилии белесый отсвет, зловеще высветливший край неба. Он лежал, вытянувшись на стене шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь». Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Не лишним будет заметить, 294

стовую,— желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя: удалось ли бежать трем его соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку по улице Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел; из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец Тенардье увидел в стороне Бастилии белесый отсвет, зловеще высветливший край неба.

Он лежал, вытянувшись на стене шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и

что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб. Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго. Первый сказал тихо, но отчетливо: — Шлепаем дальше, чего нам тутго маячить? Второй отвечал: — Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыплемся туткайль. Эти два слова тутго и туткайль, обозначавшие тут — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По тутго он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по туткайль — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль. Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос. Тем временем в разговор вмешался третий. — Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи? По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из этих наречий, хотя понимал все. Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот. Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо: — Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться, — тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень! Бабет, все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое .относится к наглому, новому, красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, сказал: 295

что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо:

— Шлепаем дальше, чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

— Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыплемся туткайль.

Эти два слова *тутго* и *туткайль,* обозначавшие *тут* — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По *тутго* он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по *туткайль* — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий.

— Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из этих наречий, хотя понимал все.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться,— тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет, все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому, красочному и смелому арго Брю-

— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас: ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца. — Друзей в беде не оставляют,— проворчал Монпарнас. — Я тебе звоню, что у него боль,— ответил Брюжон. — Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот. Монпарнас сопротивлялся слабо: действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, — был такой ливень, что все улицы опустели, — пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх, — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте. Он не осмеливался их позвать — если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды; он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду. Веревка упала к их ногам. — Удавка! — сказал Бабет. — /Лой шнурочек! — подтвердил Брюжон. — Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас. Они подняли глаза, Тенардье приподнял голову над стеной.

— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас: ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

— Друзей в беде не оставляют,— проворчал Монпарнас.

— Я тебе звоню, что у него боль,— ответил Брюжон.— Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо: действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной,— был такой ливень, что все улицы опустели,— пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх,— все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать — если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

— Удавка! — сказал Бабет.

— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.

— Трактирщик здесь,— заключил Монпарнас.

— Живо! — сказал Монпарнас.— Другой конец веревки у тебя, Брюжон? - Да. — Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься. Тенардье отважился подать голос: — Я промерз до костей. — Согреешься. — Я не могу шевельнуться. — Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим. — У меня окоченели руки. — Привяжи только веревку к стене. — Я не могу. — Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас. — На третий этаж! — заметил Брюжон. Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая. — Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас. По этой трубе? — вскричал Бабет.— Мужчине — никогда. Здесь нужен малек. — Нужен малыш, — подтвердил Брюжон. — Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот. — Подождите,— сказал Монпарнас.— Я придумал. Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии. Прошло минут семь, восемь — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна. Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос. — Малыш! Мужчина ты или нет? — обратился к нему Живоглот. 297

— Живо! — сказал Монпарнас.— Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

— Да.

— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардье отважился подать голос:

— Я промерз до костей.

— Согреешься.

— Я не могу шевельнуться.

— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

— У меня окоченели руки.

— Привяжи только веревку к стене.

— Я не могу.

— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему,— сказал Монпарнас.

— На третий этаж! — заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, впоследствии обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкая.

— Можно взобраться по ней,— сказал Монпарнас.

По этой трубе? — вскричал Бабет.— Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.

— Нужен малыш,— подтвердил Брюжон.

— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот.

— Подождите,— сказал Монпарнас.— Я придумал.

Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло минут семь, восемь — восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка наконец снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна.

Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

— Малыш! Мужчина ты или нет? — обратился к

Гаврош пожал плечами. — Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы,— мелюзга, — ответил он. — Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет. — Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон. — Ну? Что же вам нужно? — спросил Гаврош. — Вскарабкаться по этой трубе, — ответил Монпарнас. — С этой удавкой, — заметил Бабет. — И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон. — К верху стены, — вставил Бабет. — К перекладине в стекляшке,— прибавил Брюжон. — А дальше? — спросил Гаврош. — Все, — заключил Живоглот. Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?» — Там наверху человек, надо его спасти, — сказал Монпарнас. — Согласен? — спросил Брюжон. — Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки. Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал. — Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его! Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна. Мгновенье спустя Тенардье был на улице.

Гаврош пожал плечами.

— Такой малыш, как я,— мужчина, а такие мужчины, как вы,— мелюзга,— ответил он.

— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.

—Пантенский малыш — не мокрая мышь,— добавил Брюжон.

— Ну? Что же вам нужно? — спросил Гаврош.

— Вскарабкаться по этой трубе,—ответил Монпарнас.

— С этой удавкой,—заметил Бабет.

— И прикрутить шнурок,— продолжал Брюжон.

— К верху стены,— вставил Бабет.

— К перекладине в стекляшке,— прибавил Брюжон.

— А дальше? — спросил Гаврош.

— Все,— заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает: «Только-то?»

— Там наверху человек, надо его спасти,— сказал Монпарнас.

— Согласен? — спросил Брюжон.

— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.

— Смотри-ка,— сказал он,— да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности. Вот каковы были первые слова этого человека: — Кого мы теперь будем есть? Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать. — Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины. — Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье. — Твоя дочка Эпонина ходила туда, — ответил Бабет. — И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот,— Там делать нечего. — Дочка не дура, — заметил Тенардье. — А все-таки надо посмотреть. — Да, да,— сказал Брюжон, — надо посмотреть. Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал: — Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят. И он ушел. Пять человек вышли один за другим из ограды. Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону. — Ты разглядел этого малька? — Какого малька? — Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку? — Не очень. — Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын. — Ты так думаешь? — спросил Тенардье.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха как не бывало; все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный, дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

— Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать.

— Надо смываться,— сказал Брюжон.— Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме: улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье.

— Твоя дочка Эпонина ходила туда,— ответил Бабет.

— И принесла сухарь Маньон,— прибавил Живоглот.— Там делать нечего.

— Дочка не дура,— заметил Тенардье.— А все-таки надо посмотреть.

— Да, да,— сказал Брюжон,— надо посмотреть.

Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

— Ну, все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.

— Ты разглядел этого малька?

— Какого малька?

— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

— Не очень.

— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

Книга седьмая АРГО Глава первая ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Pigritia 1 — страшное слово. Оно породило целый мир — la pègre, читайте: воровство, и целый ад — la pègrenne, читайте: голод. Таким образом, лень — это мать. У нее сын — воровство, и дочь — голод. Где мы теперь? В сфере арго. Что же такое арго? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка. Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в оно из своих произведений 2, написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д. Л$ы никогда не понимали возражений такого рода. Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!» 1 Лень (лат.). 1 «Последний день приговоренного к смерти», (Прим. авт.). 300

Книга седьмая

АРГО

Глава первая

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Pigritia [1] — страшное слово.

Оно породило целый мир — *la pègre,* читайте: *воровство,* и целый ад — *la pègrenne,* читайте: *голод.*

Таким образом, лень — это мать.

У нее сын — воровство, и дочь — голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это и национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.

Когда тридцать четыре года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в оно из своих произведений [2], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни», снова раздались вопли. Повторяли: «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же это отрицает? Конечно, это так. Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останйвливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится. Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении. Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго,— да будет известно тем, 301

Кто же это отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна считается предосудительным? Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае, делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака,— все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую, взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший, залитый кровью глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не

кто этого не знает, — явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго — это язык нищеты. Здесь нас могут прервать; могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность; нам могут сказать, что все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое арго. Торговец, который говорит: Монпелье наличный, Марсель хорошего качества; биржевой маклер, говорящий: играю на повышение, страховая премия, текущий счет; игрок, который говорит: хожу по всем, пика бита ; пристав на Нормандских островах, говорящий: съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика ; водевилист, заявляющий: пьесу освистали; актер, сказавший: я провалился; философ, который сказал: тройственность явления; охотник, говорящий: красная дичь, столовая дичь; френолог, сказавший: дружелюбие, воинолюбие, тайнолюбие; пехотинец, именующий ружье кларнетом ; кавалерист, который называет своего коня индюшонком ; учитель фехтования, говорящий: терция, кварта, выпад; типограф, сказавший: набор на шпонах, — все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: мой мазилка, нотариус, который говорит: мой попрыгун, парикмахер, который говорит: мой подручный, сапожник, который говорит: мой подпомощник, говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса — штирборт и бакборт, у театрального декоратора — двор и сад, у причетника — апостольская и евангельская. Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое-где граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь — свидетельством этого является фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете 302

кто этого не знает,— явление литературное и вместе с тем следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго — это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность; нам могут сказать, что все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое арго. Торговец, который говорит: *Монпелье наличный, Марсель хорошего качества;* биржевой маклер, говорящий: *играю на повышение, страховая премия, текущий счет;* игрок, который говорит: *хожу по всем, пика бита;* пристав на Нормандских островах, говорящий: *съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика;* водевилист, заявляющий: *пьесу освистали;* актер, сказавший: *я провалился;* философ, который сказал: *тройственность явления;* охотник, говорящий: *красная дичь, столовая дичь;* френолог, сказавший: *дружелюбие, воинолюбие, тайнолюбие;* пехотинец, именующий ружье *кларнетом;* кавалерист, который называет своего коня *индюшонком;* учитель фехтования, говорящий: *терция, кварта, выпад;* типограф, сказавший: *набор на шпонах,*— все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: *мой мазилка,* нотариус, который говорит: *мой попрыгун,* парикмахер, который говорит: *мой подручный,* сапожник, который говорит: *мой подпомощник,* говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса — *штирборт* и *бакборт,* у театрального декоратора — *двор* и *сад,* у причетника — *апостольская и евангельская.* Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое-где граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь — сви-

тьможество оснований для того, чтобы мне вызволяться». Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру «26» вместо «Рим», grkztntgzyal вместо отправка и abfxustgrnogrkzutu XI вместо герцог Моденский, говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum, говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый, изъясняется на арго. Известное направление в критике, двадцать лет назад утверждавшее: Половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академикклассик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, море Нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь скакуном, белую или трехцветную кокарду розой Беллоны, треуголку треугольником Марса,— этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства, язык, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек,— это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом. Все это так. Но что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое царство, есть, повторяем, не что иное, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жесто303

тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру «26» вместо «Рим», *grkztntgzyal* вместо *отправка* и *abfxustgrnogrkzutu* XI вместо *герцог Моденский,* говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: *opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum,* говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: *сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый,* изъясняется на арго. Известное направление в критике, двадцать лет назад утверждавшее: *Половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров,* говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы *Флорой,* плоды *Помоной,* море *Нептуном,* любовь *огнем в крови,* красоту *прелестями,* лошадь *скакуном,* белую или трехцветную кокарду *розой Беллоны,* треуголку *треугольником Марса,*— этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства, язык, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек,— это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом.

Все это так. Но что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое

кий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучий и господствующих прав, — в борьбу страшную, где, применяя то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго. Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается '■или которыми осложняется цивилизация, — это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Умышленно или неумышленно Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский — в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая' необходимость в арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?» На все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучейия — это язык, на котором говорила нищета. Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета. И затем, — мы на этом настаиваем, — изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, — это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодатель304

кий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучий и господствующих прав,— в борьбу страшную, где, применяя то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация,— это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Умышленно или неумышленно Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский — в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая необходимость в арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения — это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем,—мы на этом настаиваем,—изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить,— это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он на-

ные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается при свете дня вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ, едва различимое содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему надлежит нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвою зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры? Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие; на наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни его недр; нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий историк должен вмешиваться во все. Человек — это не круг с одним центром; это эл305

ные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается при свете дня вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ, едва различимое содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему надлежит нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвою зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие; на наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни его недр; нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий ис-

липе с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое. Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маскислова и лохмотья-метафоры. Так он становится страшен. Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес, — костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Он может сыграть любую роль: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв. Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, что слышишь говорящих гидр. Это — непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба; он мечется взад и вперед, подскйкивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, — в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным. Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращаю306

липс с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое.

Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Так он становится страшен.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес,— костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Он может сыграть любую роль: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, что слышишь говорящих гидр.

Это — непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба; он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы,— в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

щийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом? Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара. Вы тот, кто зовется счастливцем? Нет, вы каждый день грустите. Каждому дню — своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастье друга; потом дурная погода, потом разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь. Незрелые умы пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного, нет счастливцев. Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке. Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает. Впрочем, сказать: «свет» не всегда значит сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать, не прекращая полета,— это и есть чудо гения. Когда вы позн0ете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке. 307

щийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

Вы тот, кто зовется счастливцем? Нет, вы каждый день грустите. Каждому дню — своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастье друга; потом дурная погода, потом разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь.

Незрелые умы пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного, нет счастливцев.

Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда значит сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать, не прекращая полета,— это и есть чудо гения.

Когда вы познáете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Оси-

Глава вторая КОРНИ Арго — язык пребывающих во мраке. Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом. Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго — можете с этим соглашаться или не соглашаться — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон. Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная: Mais où sont les neiges d’antan? 1 написана на apro. Antan — ante annum — слово из арго Двора чудес, обозначающее прошедший год и, в более широком смысле, когда-то. Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: Les dabs d’antan trimaient siempre pour la pierre du coësre. Иными словами: Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого «короля» каторга и была «коронацией». 1 Но где снега минувших лет? (франц.). 308

Глава вторая

КОРНИ

Арго — язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто еще дымятся. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго — можете с этим соглашаться или не соглашаться — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

Mais où sont les neiges d'antan? [1]

написана на арго. *Antan — ante annum* — слово из арго Двора чудес, обозначающее *прошедший год* и, в более широком смысле, *когда-то*. Тридцать лет назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: *Les dabs d'antan trimaient siempre pour la pierre du coësre.* Иными словами: *Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию.* Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово décarade, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его. Это слово, будто высекающее искры, передано мйстерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена: Six forts chevaux tiraient un coche С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в трех его разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, — латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова. Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот boffette — пощечина, происшедшее от bofetón: vantane — окно (позднее — vanterne), от ventana; gat — кошка, от gato-, acite — масло, от aceyte. Не угодно ли итальянского? Вот spade — шпага, происшедшее от spada; carvel — судно, от caravella. Не угодно ли английского? Вот bichot — епископ. Шесть крепких лошадей тащили экипаж (франц.), 30?

Слово *décarade*, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и оно достойно его. Это слово, будто высекающее искры, передано ма́стерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche [1].

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование может быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в трех его разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской,— латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая, причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных и возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот *boffette* — пощечина, происшедшее от *bofeton: vantane* — окно (позднее — *vanterne*), от *ventana; gat* — кошка, от *gato*; *acite* — масло, от *aceyte*. Не угодно ли итальянского? Вот *spade* — шпага, происшедшее от *spada; carvel* — судно, от *caravella*. Не угодно ли английского? Вот *bichot*—епископ,

происшедшее от bishop; raille — шпион, от rascal, rascalion — негодяй; pilche — футляр, от pitcher — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот caieиг — слуга, от Kellner; hers — хозяин, от Herzog — герцог. Не угодно ли латинского? Вот frangir — ломать, от frangere; affurer — воровать, от fur; cadène — цепь, от catena. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти: это слово magnus — великий; Шотландия сделала из него тас, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор — великий Фарлан, великий Каллюмор ', арго сделало из него meek, а позднее meg, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот gahisto — дьявол, от gaïztoa — злой; sorgabon — доброй ночи, от gabon — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот Ыavіп — носовой платок, от Ыavei — брызжущая вода: ménesse — женщина (в дурном смысле), от теіпес — полный камней; barant — ручей, от baranton — фонтан; goffeur — слесарь, от goff — кузнец; guédouze — смерть, от guenn-du, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю мальтийка, в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты. Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека. Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — кат; лес — оксим; страх, бегство — плёт; лакей — лакуза; генерал, префект, министр — ковруг ; дьявол — дедер. Нет ничего более странного, чем эти 1 Однако следует заметить, что mac — по-кельтски обозначает сын. (Прим. авт.).

происшедшее от *bishop; raille* — шпион, от *rascal, rascalion*—негодяй; *pilche* — футляр, от *pilcher* — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* — слуга, от *Kellner; hers* — хозяин, от *Herzog* — герцог. Не угодно ли латинского? Вот *frangir*— ломать, от *frangere; affurer* — воровать, от *fur*; *cadène* — цепь, от *catena.* Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти: это слово *magnus* — великий; Шотландия сделала из него *mac*, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор — великий Фарлан, великий Каллюмор [1], арго сделало из него *meck*, а позднее *meg*, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* — дьявол, от *gaïztoa* — злой; *sorgabon* — доброй ночи, от *gabon* — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* — носовой платок, от *blavet* — брызжущая вода: *ménesse* — женщина (в дурном смысле), от *meinec* — полный камней; *barant* — ручей, от *baranton* — фонтан; *goffeur* — слесарь, от *goff* — кузнец; *guédouze* — смерть, от *guenn-du*, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю *мальтийка,* в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом. Арго кишит словами такого рода, словами стихийными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных,— словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — *кат;* лес — *оксим;* страх, бегство — *плёт;* лакей—*лакуза;* генерал, префект, министр — *ковруг;* дьявол — *дедер.* Нет ничего более странного, чем эти

слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например дедер, гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа. Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома более метафорического, чем арго. Отвинтить орех — свернуть шею; хрястать — есть; венчаться — быть судимым; крыса — тот, кто ворует хлеб; алебардит — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем, — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое — не ведаешь. В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер — балбень, фраерша — клевая, а баруля фартовая — хозяин глуп, его 311

слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например *дедер,* гротескны и страшны и производят на вас впечатление гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора—загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома более метафорического, чем арго. *Отвинтить орех* — свернуть шею; *хрястать* — есть; *венчаться* — быть судимым; *крыса* — тот, кто ворует хлеб; *алебардит* — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя сомкнутому строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: *дождит алебардами.* Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком, первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть *дедером* и становится *пекарем,*— тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, Еврипиду после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. *Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем* (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видеть видишь, но что это такое — не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него на удачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: *Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму* — собака лает, должно быть, дилижанс из

жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание айлъ, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? — находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно. Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В Десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif-, gail, лошадь,— gaye; fertanche, солома, — fertille; mômignard, малыш,— momacqe; fiques, одежда,— frusques; chique, церковь,— érgugeoir; colabre, шея, — colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь, священник — скребок, потом кабан; кинжал — ■ двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские — кочерги, потом оюеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач — дядя, потом Шарло, потом кат, потом костыльщик. В XVII веке бить — угощать табаком, а в XIX — натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим. Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьёанш? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение не перестает оставаться его законом. 312

жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание *айль, орг, ерг* или *юш.* Так: *Находитайль ли зыерг это жаркоюш хорошорг?* — находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, удовлетворяет ли его сумма, предложенная за побег. Окончание *мар* стали прибавлять сравнительно недавно.

Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, стараясь скрыть свою сущность, оно, только-только почувствовав, что оно разгадано, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь; это безвестная, проворная, никогда не прекращающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом *larton*, хлеб, становится *lartif*; *gail*, лошадь,— *gaye; fertanche*, солома,— *fertille; momignard*, малыш,— *momacqe; fiques*, одежда,— *frusques; chique*, церковь,— *érgugeoir; colabre*, шея,— *colas.* Дьявол сначала *хаушень*, потом *дедер*, потом *пекарь*, священник — *скребок*, потом *кабан;* кинжал — *двадцать два*, потом *перо*, потом *булавка;* полицейские — *кочерги*, потом *жеребцы*, потом *рыжие*, потом *продавцы силков*, потом *легавые*, потом *фараоны;* палач — *дядя*, потом *Шарло*, потом *кат*, потом *костыльщик.* В XVII веке бить — *угощать табаком*, а в XIX — *натабачить.* Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша Ласнеру показался бы китайской грамотой. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако время от времени, именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго XVII века; Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на

Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей бить — значит прикидываться; они бьют болезнь — прикидываются больными: их сила — хитрость. Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — потьмуха; человек — темник. Человек — производное от ночи. Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — больной; человек осужденный — мертвый. Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя — это сердцевина; многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях он называет Сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда У человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux — нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому арго не говорит gueux, оно говорит réguisé — навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостьё. Наконец, каким же словом злодей называ313

Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Нет исследования более действенного, плодотворного и поучительного. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. У этих людей *бить* — значит *прикидываться;* они *бьют* болезнь — прикидываются больными: их сила — хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — *потьмуха;* человек — *тёмник.* Человек — производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу; о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — *больной;* человек осужденный — *мертвый.*

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу *чистая.* В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу *скрипка.* Имя — это *сердцевина;* многозначительное уподобление! У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных деяниях он называет *сорбонной,* другую, которой он платится, *отрубком.* Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом *gueux* — нищий, то он готов на преступление, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому арго не говорит *gueux*, оно говорит *réguisé* — навостренный. Что такое каторга? Костер для осуж-

ет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может родиться из одного слова. У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, — вы, я, любой прохожий: pantre. (Pan — все люди.) Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa ? ’. Так вот, послушайте. В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и, просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько 1 Lirlonfa — свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни. 314

ет тюрьму? *Академия.* Целая исправительная система может родиться из одного слова.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть,— вы, я, любой прохожий: *pantre.* (*Pan* — все люди.)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях *lirlonfa*? [1]. Так вот, послушайте.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плиты пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки на некотором расстоянии одна от другой свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, на дрожащих, подкашивающихся ногах, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и, просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них уже не просыпались. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько

времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка — нежная: Туткайль театр Малютки стрелка Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь. В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тайна — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке арго, обозначает съесть кусок. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом. Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: засветить тридцать шесть свечей. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча — это камуфля. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Пулайе сказал: Я зажигаю мою камуфлю, а Вольтер писал: Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов. 1 Купидона. (Прим. авт.). 315

времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уж потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: *Только рифмы меня и поддерживали.* Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: *Тималумизен, тимуламизон.* Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна песенка — нежная:

Туткайль театр
Малютки стрелка [1].

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь.

В этом мире темных дел один хранит тайну другого. Тайна — общая собственность. Тайна для этих отверженных — связь, являющаяся основой их союза. Открыть тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке арго, обозначает *съесть кусок.* Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: *засветить тридцать шесть свечей.* Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча — это *камуфля.* Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — *камуфлет.* Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Пулайе сказал: *Я зажигаю мою камуфлю,* а Вольтер писал: *Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов.*

Раскопки в арго — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием. Арго — это слово, ставшее каторжником. Трудно поверить, чтобы мыслящее начало. человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны. О бедная мысль отверженных! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел — вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, изрыгающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна оставаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке? Глава третья АРГО ПЛАЧУЩЕЕ И АРГО СМЕЮЩЕЕСЯ Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века нйзад, так и арго современное, проникнуто іем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль нищих Двора чудес, которые употребляли для игры особые колоды карт; некоторые из этих карт дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла со316

Раскопки в арго — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием.

Арго — это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О бедная мысль отверженных!

Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее удел—вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, пасть, изрыгающую пену, змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна оставаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое как будто уже учуяло ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

Глава третья

АРГО ПЛАЧУЩЕЕ И АРГО СМЕЮЩЕЕСЯ

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века назад, так и арго современное, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль нищих Двора чудес, которые употребляли для игры осо-

бой большое дерево с восемью огромными трилистниками— род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, отмечена печатью бессилия и подавленности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «/e n’entrave que le dail comment meek, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses mômignards et les locher criblant sans être atigé luimême» *. Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину. В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев малюре заменился ларифла. В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька: Мирлябаби, сюрлабабо, Мирлитон рибон рибет. Сюрлябаби, мирлябабо, Мирлитон рибон рибо. 1 Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (Прим. авт.).

бой большое дерево с восемью огромными трилистниками — род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, отмечена печатью бессилия и подавленности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется *бедным вором*, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «*Je n'entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé luimême*»[1]. Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, осознает, как он ничтожен перед лицом закона и незначителен перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

В середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевки воров приобрели, так сказать, дерзкие, разудалые ухватки. Жалобный припев *малюре* заменился *ларифла*. В XVIII веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская, загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный, подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

Мирлябаби, сюрлабабо,
Мирлитон рибон рибет.
Сюрлябаби, мирлябабо,
Мирлитон рибон рибо.

---

[1] Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить сво-

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши. Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной ■дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец это признак, — если только не возникнет какой-нибудь помехи,— близкого и пышного их расцвета. Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе, — это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету,— их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро — к прекрасному, Тюрго — к полезному, Вольтер — к истинному, Руссо — к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты — ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принцем, — забавная подробность! — числятся в Тайной библиотеке. Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхно318

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В XVIII веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, точно совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это признак того, что они теряют сознание своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей неведомую им самим поддержку. Это признак того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец это признак,— если только не возникнет какой-нибудь помехи,— близкого и пышного их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? XVIII век? Его философию? Конечно, нет. Дело XVIII века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты с Дидро во главе, физиократы с Тюрго во главе, философы с Вольтером во главе, утописты с Руссо во главе,— это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету,— их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро — к прекрасному, Тюрго — к полезному, Вольтер — к истинному, Руссо — к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты — ядовитая поросль, присосавшаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывавшую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, опекавшихся одним принцем — забавная подробность! —

сти. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею. Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии большие опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники» воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева. В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя,— в одном и в другом случае глаза у них закрыты,— ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно! Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится. Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа. Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция — этот огромный акт человеческой честности. Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост* 319

сти. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии большие опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники» воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, на поверхности благовидные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева. В то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя,— в одном и в другом случае глаза у них закрыты,— ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные *жакериями,* рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уже не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, быть может, неизбежной для Европы конца XVIII века, поставила предел французская революция — этот огромный акт человеческой честности.

одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра. Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ. Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право. XIX век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии. Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда Ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда земля разверзалась, когда свод пещер рушился — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики. Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть ворам!» Прогресс — честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? 320

одним внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право.

XIX век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда земля разверзалась, когда свод пещер рушился — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, тот царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть ворам!» Прогресс — честный ма-

Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотен сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону. Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются. Г лава четвертая ДВА ДОЛГА: БОДРСТВОВАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакерия не существует. Общество может быть спокойно, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой. Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии. Будем же повторять неустанно: прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, Дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им Во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познайие общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Брийрею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, шко11. «Отверженные», т. 2. 321

Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В одном из этих фургонов, ящиков, едва закрытых и даже полуоткрытых, среди сотен сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище больше не устрашает. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

Глава четвертая

ДВА ДОЛГА: БОДРСТВОВАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ

Но рассеялась ли при этом всякая социальная опасность? Конечно, нет. Жакерия не существует. Общество может быть спокойно, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как ему следует дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего нужно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать их, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но не праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатство, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бри-

лы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение,— одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть человеколюбивые души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца об этом знают. Однако — это только начало. Задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом. Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно. Если природа называется провидением, общество должно называться предвиденьем. Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же и желудки и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света. Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня. Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем. Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал. Мы верим — чего же нам опасаться? 322

лы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение,— одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть человеколюбивые души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца об этом знают.

Однако — это только начало. Задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвиденьем.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же и желудки и умы, лишенные пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у дверей. Не будем отчаиваться. Проиграли поле, где

Идеи не текут вспять, так же как и реки. Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть. Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа — никогда. Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, предопределенное небом. Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды. А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть. Мы видели не раз, когда рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один 323

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к тяжелой болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: умереть.

Мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа — никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она не очень пугается тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, когда рассеивалось общество в

прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут — значит дали течь, нам больше нечего сказать; и мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется «прошлым», за огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы применяем зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков, и чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много; дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации. Повторяем: такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишаи — серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает лаву; болезни народа не убивают человека. И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки. Настанет ли грядущее? Кажется почти естествен

прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган, и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут — значит дали течь, нам больше нечего сказать; и мы растерянно смотрим, как в глубине моря, которое именуется «прошлым», за огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы применяем зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарств. Наша цивилизация, работа двадцати веков, и чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение — это уже много; дать ей свет — это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации.

Повторяем: такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишаи — серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает лаву; болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются

ным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вожделение, зависть, ненависть при виде наслаждений, неукротимые порывы человеказверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное. Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

ным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вожделение, зависть, ненависть при виде наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

Книга восьмая ЧАРЫ И ПЕЧАЛИ Глава первая ЯРКИИ СВЕТ Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного — к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео; Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу — лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие. Обычно на улице почти никого не было; к тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят. Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во

Книга восьмая

ЧАРЫ И ПЕЧАЛИ

Глава первая

ЯРКИЙ СВЕТ

Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного — к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу — лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно зуб старика. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не было; к тому же Мариус появлялся в саду ночью, и ему не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека бессовестного и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Ча-

мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму. По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную. Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чащи, что ни день все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, чтобы уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду — чистоту Козетты. Козетта чувствовала опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива. Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау. В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону. 327

мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, каждую ночь в запущенном скромном саду, под сенью чащи, что ни день все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, упоенные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, чтобы уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду — чистоту Козетты. Козетта чувствовала опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива. Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном сиянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды лунной ночью Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга. Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная, могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья. Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным! Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, — тупица и дурной человек. Козетта говорила Мариусу: — Знаешь?.. (При всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».) — Знаешь? Меня зовут Эфрази. — Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта! — Нет. Козетта — довольно противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настояі щее имя Эфрази. Тебе разве не нравится это имя — Эфрази? — Нравится, но Козетта — вовсе не противное имя. — Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази? — Н... да. — В таком случае, мне тоже. Правда, это красиво — Козетта... Зови меня Козеттой. Ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ. 328

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.

Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная, могучая растительность, опьяненная, полная соков, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.

Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил,— тупица и дурной человек.

Козетта говорила Мариусу:

— Знаешь?..

(При всем том, несмотря на божественную их невинность, сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

— Знаешь? Меня зовут Эфрази.

— Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта!

— Нет. Козетта — довольно противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится это имя — Эфрази?

— Нравится, но Козетта — вовсе не противное имя.

— Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

— Н... да.

— В таком случае, мне тоже. Правда, это красиво — Козетта. Зови меня Козеттой.

В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула: — Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!» Мариусу, в его неземном упоении, казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой. Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала: — Не кашляйте. Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать? Все это было божественно. Как-то Мариус сказал Козетте: — Представь себе: одно время я думал, что тебя зовут Урсулой. Они смеялись над этим весь вечер. В другой раз он вдруг воскликнул: — А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида! Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, а это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь. Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу, на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцанье спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка, — и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше, человеческих мечтаний, чем тучек небесных. Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, — это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент — это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие.

В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:

— Вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

Мариусу, в его неземном упоении, казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

— Не кашляйте. Я не хочу, чтобы кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

— Представь себе: одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер.

В другой раз он вдруг воскликнул:

— А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал себя. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, а это было невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу, на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцанье спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди вдыхать запах цветка,— и так всегда, бесконечно. Высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь,— это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент — это

Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смесь сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу. — О, как ты прекрасна! — шептал Мариус. — Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается — какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп. — Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра, — говорила Козетта. Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки. Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины. Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим раз330

Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смесь сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

— О, как ты прекрасна! — шептал Мариус.— Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается — какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп.

— Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра,— говорила Козетта.

Ответы и вопросы чередовались в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончай-

говором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина; в этом все небо. Среди этого полного счастья у них каждый миг навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — умиленность, иногда почти мучительная. А наряду с этим, — подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви, — они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей. Они боготворили друг друга. Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность. Глава вторая УПОЕНИЕ ПОЛНЫМ СЧАСТЬЕМ Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в Этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что 331

говором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова нежные и вместе с тем глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина; в этом все небо.

Среди этого полного счастья у них каждый миг навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим,— подобные противоречия всего лишь игра света и теней в любви,— они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят друг другу «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

Глава вторая

УПОЕНИЕ ПОЛНЫМ СЧАСТЬЕМ

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сооб-

он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус — барон? Она не поняла. Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем. Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными. Кто не испытал всего этого? Увы! Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше? Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь — пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг йих рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они 332

он живет писанием статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Еще он сказал, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус — барон? Она не поняла. Она не знала, что это значит. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно забыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Кто не испытал всего этого? Увы! Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь — пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно осле-

сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» — ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все. Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи — вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность. Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом! Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу. Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда 8ТО их может привести. Они считали, что уже довтигли конца пути. У людей странное притязание: они Хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь. Глава третья ПЕРВЫЕ ТЕНИ Жан Вальжан ничего не подозревал. Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные Тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу.

сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» — ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не было. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи — вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза — это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

Глава третья

ПЕРВЫЕ ТЕНИ

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была ве-

нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она счастлива. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа, услышав, как Козетта открывает застекленную дверь. Разумеется, днем Мариуса здесь никогда не видели. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Только раз, утром, он сказал Козетте: «У тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус, в порыве восторга, обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене. Старуха Тусен, рано кончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне; она тоже ни о чем не догадывалась. Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветки деревьев. Если бы в эти мгновенья молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили — так глубоко грезы одного погружались в грезы другого. Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковы. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев. Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна. Обычно он удалялся около полуночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говорил Баррелю: — Можешь себе представить? Мариус является домой в час ночи. 334

нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она счастлива. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа, услышав, как Козетта открывает застекленную дверь. Разумеется, днем Мариуса здесь никогда не видели. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Только раз, утром, он сказал Козетте: «У тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус, в порыве восторга, обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Тусен, рано кончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне; она тоже ни о чем не догадывалась.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветки деревьев. Если бы в эти мгновенья молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили — так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковы. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся около полуночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говорил Баорелю:

— Что ж такого? — отвечал Баорель. — В тихом омуте черти водятся. Иногда Курфейрак, приняв серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу: — Молодой человек! Вы сбились с пути истинного. Курфейрак, человек деловой, наблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; неземные страсти были ему непонятны, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности. Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием: — Дорогой мой! Ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну будь же добрым малым, скажи, как ее зовут! Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя — Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость. В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство. Поссориться и говорить друг другу «вы», только для того, чтобы с большим наслаждением сказать потом «ты»; Долго рассказывать друг другу, со всеми подробностями, о людях, до которых им не было никакого дела, — лишнее доказательство того, что в восхитительной опоре, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит; Для Мариуса — слушать, как Козетта говорит о нарядах; Для Козетты — слушать, как Мариус говорит о политике; Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице; Смотреть на звезду в небесах или на светляка в траве; Вместе молчать — наслаждение еще большее, чем беседовать;

— Что ж такого? — отвечал Баорель.— В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, приняв серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:

— Молодой человек! Вы сбились с пути истинного.

Курфейрак, человек деловой, наблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; неземные страсти были ему непонятны, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием:

— Дорогой мой! Ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!

Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя — *Козетта.* Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство.

Поссориться и говорить друг другу «вы» только для того, чтобы с большим наслаждением сказать потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, со всеми подробностями, о людях, до которых им не было никакого дела,— лишнее доказательство того, что в восхитительной опоре, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса — слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты — слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на звезду в небесах или на светляка в траве;

И т. д., и т. д. Между тем надвигалась гроза. Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел, опустив голову; собираясь свернуть на улицу Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него: — Добрый вечер, господин Мариус! Он поднял голову и узнал Эпонину. Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча. Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она ведет его,— мы это уже установили, — к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эту девушку зовут Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, — то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой готовностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви. — Ах, это вы, Эпонина? — ответил он с некоторым замешательством. — Почему вы говорите мне «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное? — Нет, — ответил он. Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине. Он молча смотрел на нее. — Скажите же... — начала она и запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому без336

И т. д., и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел, опустив голову; собираясь свернуть на улицу Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

— Добрый вечер, господин Мариус!

Он поднял голову и узнал Эпонину.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она ведет его,— мы это уже установили,— к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эту девушку зовут Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца,— то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой готовностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

— Ах, это вы, Эпонина? — ответил он с некоторым замешательством.

— Почему вы говорите мне «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

— Нет,— ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее.

заботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла. — Ну!..— снова начала она. Потом опять замолчала, потупив глаза. — Покойной ночи, господин Мариус! — вдруг резко сказала она и ушла. Глава четвертая КЭБ ПО-АНГЛИИСКИ — ТО, ЧТО КАТИТСЯ, А НА АРГО — ТО, ЧТО ЛАЕТ На следующий день (это было 3 июня, а 3 июня 1832 года — дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозовыми тучами над горизонтом Парижа) Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца. Вот почему Эпонина шла за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить. Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад. «Смотри-ка! — сказала она себе. — Идет к ней в дом!» Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус. — Ну нет, черта с два! — сердито пробормотала она. И уселась на цоколе, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где разглядеть Эпонину было невозможно. Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями. Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, то337

заботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

— Ну!..— снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

— Покойной ночи, господин Мариус! — вдруг резко сказала она и ушла.

Глава четвертая

КЭБ ПО-АНГЛИЙСКИ — ТО, ЧТО КАТИТСЯ, А НА АРГО — ТО, ЧТО ЛАЕТ

На следующий день (это было 3 июня, а 3 июня 1832 года — дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в то время грозовыми тучами над горизонтом Парижа) Мариус с наступлением темноты шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже слишком. Он свернул с бульвара, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонина шла за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не пытаясь пойти к нему навстречу, и лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

«Смотри-ка! — сказала она себе.— Идет к ней в дом!»

Она подошла к решетке, пощупала прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

— Ну нет, черта с два! — сердито пробормотала она. И уселась на цоколе, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где разглядеть Эпонину было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

решившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой угрожающий голос: — Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер! Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг. Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор. Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; спустя минуту здесь сошлись все шестеро. Эти люди начали тихо переговариваться. — Туткайль! — сказал один из них. — Есть ли кэб в саду? — спросил другой. — Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать. — Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку? — Есть. — Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя. — Тем лучше, — сказал второй. — Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать. Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес: — Здесь есть кэб. И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку. Он испытал потрясение, которое вызывает неожиданность. Он словно весь ощетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

ропившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой угрожающий голос:

— Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаг.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; спустя минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

— Туткайль! — сказал один из них.

— Есть ли кэб в саду? — спросил другой.

— Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

— Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

— Есть.

— Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя.

— Тем лучше,—сказал второй.— Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час назад, пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Так он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Только он собрался схватить этот прут как чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

— Здесь есть кэб.

И тут он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал потрясение, которое вызывает неожиданность. Он словно весь ощетинился; нет ничего от-

— Это еще что за потаскуха? — Ваша дочь. Действительно, это была Эпонина, а говорила она с Тенардье. При появлении Эпонины Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи. В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой». — Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? Ç ума сошла, что ли? — приглушенным голосом воскликнул Тенардье. — Пришла мешать нам работать? Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею. — Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле? Тенардье попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал: — Отлично. Поцеловала — и довольно. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай. Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность: — Папочка! Как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться. Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите, что с маменькой? — Она здорова, — ответил Тенардье. — Впрочем, не знаю, говорят тебе, пусти меня и проваливай. — Ни за что не уйду, — жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка,— Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать. И тут она снова обняла отца за щею. — Ах, черт, как это глупо! — не выдержал Бабет. — Мы теряем время! — крикнул Живоглот. — Того и г^яди появятся легавые. Голос чревовещателя продекламировал двустишие: Для поцелуев — свой черед, У нас Теперь не Новый год.

— Это еще что за потаскуха?

— Ваша дочь.

Действительно, это была Эпонина, а говорила она с Тенардье.

При появлении Эпонины Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

— Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли?—приглушенным голосом воскликнул Тенардье. — Пришла мешать нам работать?

Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею.

— Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардье попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:

— Отлично. Поцеловала—и довольно. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность:

— Папочка! Как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться. Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите, что с маменькой?

— Она здорова, — ответил Тенардье.—Впрочем, не знаю, говорят тебе, пусти меня и проваливай.

— Ни за что не уйду,— жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка.—Вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И тут она снова обняла отца за шею.

— Ах, черт, как это глупо! — не выдержал Бабет.

— Мы теряем время! — крикнул Живоглот.—Того и гляди появятся легавые.

Голос чревовещателя продекламировал двустишие:

Эпонина повернулась к пяти бандитам. — А, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин БабетI Здравствуйте, господин Звенигрош! Вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас? — Не беспокойся, все тебя узнали! — проворчал Тенардье. — Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое. — В этот час курам спать, а лисицам гулять, — сказал Монпарнас. — Нам надо тутго поработать, понятно? — прибавил Бабет. Эпонина схватила за руку Монпарнаса. — Берегись! Обрежешься,— у меня перо в руке,— предупредил тот. — Монпарнас, миленький, — кротко молвила Эпонина, — люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот! Ведь это мне поручили выяснить дело. Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен. Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала: — Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме. — Там одни женщины, — сказал Живоглот. — Нет. Все выехали. — А свечи остались! — заметил Бабет. И показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки. Эпонина сделала последнюю попытку. — Ну и что ж!— сказала она.— Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су. — Пошла к черту! — вскричал Тенардье.— Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон. Он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед. — Господин Монпарнас, дружочек, — сказала Эпо340

Эпонина повернулась к пяти бандитам.

— А, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет! Здравствуйте, господин Звенигрош! Вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

— Не беспокойся, все тебя узнали!—проворчал Тенардье.—Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

— В этот час курам спать, а лисицам гулять,—сказал Монпарнас.

— Нам надо тутго поработать, понятно?—прибавил Бабет.

Эпонина схватила за руку Монпарнаса.

— Берегись! Обрежешься,—у меня перо в руке,—предупредил тот.

— Монпарнас, миленький,—кротко молвила Эпонина,—люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот! Ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой, костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

— Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

— Там одни женщины,—сказал Живоглот.

— Нет. Все выехали.

— А свечи остались! — заметил Бабет.

И показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпонина сделала последнюю попытку.

— Ну и что ж!—сказала она.—Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

— Пошла к черту! — вскричал Тенардье.—Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе ска-

нина, — вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда! — Берегись, напорешься на нож! — ответил Монпарнас. Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил: — Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело. Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась. — Значит, вы хотите войти в этот дом?— спросила она. — Только сунуть нос! — ухмыляясь, заметил чревовещатель. Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала: — Ну, а я не хочу. Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова: — Друзья! Слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых. — С нее станется, — тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю. Она тряхнула головой и прибавила: — Начиная с моего папеньки! Тенардье подошел к ней. — Подальше от меня, старикан! — предупредила она. Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил: — Сука! Она засмеялась злобным смехом. — Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорят вам: вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам уже объяснила: кэб — это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы 341

нина,—вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

— Берегись, напорешься на нож! — ответил Монпарнас.

Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:

— Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась.

— Значит, вы хотите войти в этот дом?—спросила она.

— Только сунуть нос!—ухмыляясь, заметил чревовещатель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

— Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

— Друзья! Слушайте меня внимательно. Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в сад, если дотронетесь до решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

— С нее станется,—тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.

Она тряхнула головой и прибавила:

— Начиная с моего папеньки!

Тенардье подошел к ней.

— Подальше от меня, старикан! — предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

— Сука!

Она засмеялась злобным смехом.

— Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорят вам: вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только по-

мне надоели! Проваливайте, куда хотите, а сюда не являйтесь, я запрещаю вам! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка попробуйте, подойдите! Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам; вид ее был ужасен. — Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем — мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться — чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так что ли? А я не таковская, ничего не боюсь! Эпонина уставилась на Тенардье. — Даже вас, папаша! — сказала она и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала: — Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак! Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыханье с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди. — Стоит мне только крикнуть, — продолжала она, — сюда прибегут, и — хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ. Тенардье двинулся к ней. — Не подходить! — крикнула она. Он остановился и кротко сказал ей: — Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка! Значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на про,питание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?, — Вы мне надоели, — ответила Эпонина. — Нужно ведь нам, как-никак, жить, есть... — Подыхайте. Она уселась на цоколь решетки и запела: И ручка так нежна, И ножка так стройна, А время пропадает... Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. 342

мне надоели! Проваливайте, куда хотите, а сюда не являйтесь, я запрещаю вам! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка попробуйте, подойдите!

Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам; вид ее был ужасен.

— Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем — мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться — чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Эпонина уставилась на Тенардье.

— Даже вас, папаша!—сказала она и, обведя бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

— Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыханье с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

— Стоит мне только крикнуть,—продолжала она,— сюда прибегут, и—хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.

Тенардье двинулся к ней.

— Не подходить! — крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

— Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка! Значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

— Вы мне надоели,—ответила Эпонина.

— Нужно ведь нам, как-никак, жить, есть...

— Подыхайте.

Она уселась на цоколь решетки и запела:

И ручка так нежна,
И ножка так стройна,
А время пропадает...

Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное. Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие. А она спокойно и сурово глядела на них. — Что-то ей засело в башку,— сказал Бабет.— Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное. — Ладно, вы все ступайте туда! — вскричал Монпарнас. — Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется... При свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава. Тенардье не говорил ни слова, и, видимо, был готов на все. Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается; всем было известно, что только из удальства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он Сочинял стихи и песни и поэтому пользовался большим авторитетом. — А ты что скажешь, Брюжон? — спросил Бабет. Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, решился подать голос: — Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда. Они ушли. По дороге Монпарнас пробормотал: — Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил. — А я нет,— сказал Бабет.— Дамочек я не трогаю. На углу они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами; 343

Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

— Что-то ей засело в башку,—сказал Бабет.—Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

— Ладно, вы все ступайте туда! — вскричал Монпарнас.—Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется...

При свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава.

Тенардье не говорил ни слова, и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается; всем было известно, что только из удальства он ограбил полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни и поэтому пользовался большим авторитетом.

— А ты что скажешь, Брюжон? — спросил Бабет.

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, решился подать голос:

— Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

— Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

— А я нет,— сказал Бабет.—Дамочек я не трогаю.

— Где будем ночевать сегодня? — Под Пантеном. — Тенардье! При тебе ключи от решетки? — А то у кого же! Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем. Глава пятая ЧТО ТАИТСЯ В НОЧИ После того как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; вещам неведомым нам, живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая, ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых — чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, — оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и — чудится им — живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем. 344

— Где будем ночевать сегодня?
— Под Пантеном.
— Тенардье! При тебе ключи от решетки?
— А то у кого же!

Эпонина, не спускавшая с них глаз, видела, как они пошли той же дорогой, по которой пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Она проводила их до бульвара. Там шесть человек разошлись в разные стороны и потонули во мраке, словно растворились в нем.

Глава пятая

ЧТО ТАИТСЯ В НОЧИ

После того как бандиты ушли, улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные деревья, кустарник, вересковые заросли, переплет ветвей, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; вещам неведомым нам, живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая, ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, источник и цель которых — чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван,— оно возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и — чудится им — живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, испытывают смутный страх перед необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги:

Глава шестая МАРИУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДАЕТ КОЗЕТТЕ СВОИ АДРЕС

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой. Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала. Ее глаза покраснели. То было первое облако над восхитительной мечтой. — Что с тобой? — это были первые слова Мариуса. — Сейчас... — начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: — Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать. Мариус задрожал. В конце жизни «умереть» — значит расстаться; в начале ее «расстаться» — значит умереть. В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», — прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм — всего-навсего кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились каждую ночь видеть

Глава шестая

МАРИУС ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ДАЕТ КОЗЕТТЕ СВОЙ АДРЕС

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел рядом с Козеттой.

Никогда еще небо не было таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

— Что с тобой?—это были первые слова Мариуса.

— Сейчас...— начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: — Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал.

В конце жизни «умереть» — значит расстаться; в начале ее «расстаться» — значит умереть.

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет»,— прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм — всего-навсего кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, которую он ощущал, когда ему случалось прикоснуть-

друг друга во сне — и держ§ди слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки — все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил себе,— то был глухой, неясный лепет пробивающейся чувственности, — что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. «Это моя».— «Нет, это моя». — «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». — «То, что ты принимаешь за себя, — я». Мариус был частью Козетты, Козетта — частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта — не твоя!» Мариус пробудился. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к жизни. Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной как лед. И теперь уже она спросила его: — Что с тобой? Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала: — Я не подимаю, что ты говоришь. Она повторила: — С§годня утро^i отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно 34G

друг друга во сне — и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки — все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил себе,— то был глухой, неясный лепет пробивающейся чувственности,— что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать свою. «Это моя».— «Нет, это моя».— «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я».— «То, что ты принимаешь за себя,— я». Мариус был частью Козетты, Козетта — частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это упоение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта — не твоя!»

Мариус пробудился. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала, что его рука стала холодной как лед. И теперь уже она спросила его:

— Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

— Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

— Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы

быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию. — Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок Бузириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там какие-то дела. — Когда же ты уезжаешь? — упавшим голосом спросил он. — Он не сказал когда. — А когда же ты вернешься? — Он не сказал когда. Мариус встал и холодно спросилз — Козетта, вы поедете? Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и растерянно проговорила: — Куда? — В Англию. Вы поедете? — Почему ты говоришь мне «вы»? — Я спрашиваю вас, поедете ли вы? — Но что же мне делать, скажи? — ответила она, умоляюще сложив руки. — Значит, вы едете? — А если отец поедет? — Значит, вы едете? Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее. — Хорошо,— сказал Мариус.— Тогда и я уеду куда-нибудь. Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. — Что ты хочешь сказать? — прошептала она. Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу. — Ничего, — ответил он. Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме. — Какие мы глупые! Мариус, я придумала! 347

быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус.

Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, ни один поступок Бузириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там какие-то дела.

— Когда же ты уезжаешь? — упавшим голосом спросил он.

— Он не сказал когда.

— А когда же ты вернешься?

— Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

— Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и растерянно проговорила:

— Куда?

— В Англию. Вы поедете?

— Почему ты говоришь мне «вы»?

— Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

— Но что же мне делать, скажи? — ответила она, умоляюще сложив руки.

— Значит, вы едете?

— А если отец поедет?

— Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

— Хорошо,— сказал Мариус.— Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте.

— Что ты хочешь сказать? — прошептала она.

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу.

— Ничего,— ответил он.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему.

— Что? — Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду. Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю. — Уехать с вами! — крикнул он Козетте.— Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают; уже полтора месяца как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт! Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо, не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния. Долго стоял он так. Такое горе — бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный. То рыдала Козетта. Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса. Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ступни, выступавшей из-под платья. Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня. — Не плачь, — сказал он. — Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне! — прошептала она. — Ты любишь меня? — спросил он. Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы: 848

— Что?

— Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

— Уехать с вами! — крикнул он Козетте.— Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги промокают; уже полтора месяца как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя, как жесткая кора царапает ему лицо, не чувствуя лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Такое горе — бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестное раздумье Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ступни, выступавшей из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

— Не плачь,— сказал он.

— Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне! — прошептала она.

— Ты любишь меня? — спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами

— Я обожаю тебя! Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал: — Не плачь. Ну ради меня, не плачь! — А ты? Ты любишь меня? — спросила она. Он взял ее за руку. — Козетта! Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру. В тоне,. каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать. — Теперь слушай, — сказал он. — Не жди меня завтра. — Почему? — Жди послезавтра. — Почему? — Потом поймешь. — Целый день не видеть тебя! Это невозможно. — Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. — Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером, — вполголоса, как бы про себя, прибавил Мариус. — О ком ты говоришь? — спросила Козетта. — Я? Я ничего не сказал. — На что же ты надеешься? — Подожди до послезавтра. — Ты этого хочешь? - Да. Она обхватила его голову руками и, приподнявщись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась просесть в его глазах то, что составляло его надежду. — Я вот о чем думаю,— снова заговорил Мариус. — Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать. Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены: Стекольная улица, № 16. Козетта опять посмотрела ему прямо в глаза.

— Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

— Не плачь. Ну ради меня, не плачь!

— А ты? Ты любишь меня? — спросила она.

Он взял ее за руку.

— Козетта! Я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь давать слово. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

— Теперь слушай,— сказал он.— Не жди меня завтра.

— Почему?

— Жди послезавтра.

— Почему?

— Потом поймешь.

— Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

— Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь.

— Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером,—вполголоса, как бы про себя, прибавил Мариус.

— О ком ты говоришь? — спросила Козетта.

— Я? Я ничего не сказал.

— На что же ты надеешься?

— Подожди до послезавтра.

— Ты этого хочешь?

— Да.

Она обхватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать выше, попыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.

— Я вот о чем думаю,— снова заговорил Мариус.— Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:

— Скажи мне, Мариус, что ты задумал? Ты о чемто думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь! — О чем я думаю? Вот о чем: чтобы бог хотел нас разлучить — этого не может быть. Жди меня послезавтра. — Что же я буду делать до тех пор? — спросила Козетта. — Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи. — Я попытаюсь кое-что предпринять. — А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из Эврианты, то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду. — Я тоже. Безотчетно, движимые одной мыслью, увлекаемые электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби упоенные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды. Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпонина шла следом за бандитами до самого бульвара. Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, — мысль, которую, увы! он срм считал вздорной и невозможной. Он принял отчаяйійое решение. Глава седьмая СТАРОЕ СЕРДЦЕ И ЮНОЕ СЕРДЦЕ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА Дедушке Жильнорману пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был человек старого

— Скажи мне, Мариус, что ты задумал? Ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

— О чем я думаю? Вот о чем: чтобы бог хотел нас разлучить — этого не может быть. Жди меня послезавтра.

— Что же я буду делать до тех пор? — спросила Козетта.— Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

— Я попытаюсь кое-что предпринять.

— А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из *Эврианты,* то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ждать тебя ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Ты слышишь? Ровно в девять часов я буду в саду.

— Я тоже.

Безотчетно, движимые одной мыслью, увлекаемые электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби упоенные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. Эпонина шла следом за бандитами до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль,— мысль, которую, увы! он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

Глава седьмая

СТАРОЕ СЕРДЦЕ И ЮНОЕ СЕРДЦЕ ДРУГ ПРОТИВ ДРУГА

Дедушке Жильнорману пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на

закала, которые ждут смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает и даже печаль не клонит долу. И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в Монитере следующее словосочетание: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался, — это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе,— он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, — другими словами этого не выразить, — ждал Мариуса, убежденный, что «скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего прочего Жильнорман чувствовал, или убедил себя, что ему, деду, нельзя делать первый шаг. «Лучше околеть», — говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немым отчаяньем старика, уходящего во тьму. У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затосковал. Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса. В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, видимо желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все время смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал: 351

закала, которые ждут смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение полугода он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно прочел он в *Монитере* следующее словосочетание: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался,— это было не свойственно ни его физической, ни нравственной природе,— он испытывал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг,—другими словами этого не выразить,—ждал Мариуса, убежденный, что «скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ждать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает, если чувства искренни и естественны, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному исчезнувшему внуку. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего прочего Жильнорман чувствовал, или убедил себя, что ему, деду, нельзя делать первый шаг. «Лучше околеть»,—говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе с глубоким умилением и немым отчаяньем старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и от этого он еще сильнее затосковал.

Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, видимо желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он все вре-

— По-моему, он похож на нее. — На сестру? — спросила девица Жильнорман.— Ну, конечно! — И на него тоже,— прибарил старик. Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени Й Почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить: — Отец! Неужели вы все еще сердитесь?.. Она запнулась. — На кого? — спросил он. — На бедного Мариуса. Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул: — Вы говорите: «бедный Мариус»1 Этот господин — шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка! И отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах. Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери: — Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить. Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса». «После той глупости» означало: с тех пор, как она вышла замуж за полковника. Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Жильнорман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности — нравиться. Старик наскучил улану, улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения, веселый, но це в меру болтливый; легкомысленный, но пошловатый; любивший хорошо пожить, но плохо воспитанный; у него были любовницы, это правда, и он много о них говорил, — это тоже правда, — но говорил дурно, бее его качества были с изъяном. Жильнорману надоело 352

— По-моему, он похож на нее.

— На сестру? — спросила девица Жильнорман.— Ну, конечно!

— И на него тоже,— прибавил старик.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

— Отец! Неужели вы все еще сердитесь?..

Она запнулась.

— На кого? — спросил он.

— На бедного Мариуса.

Он поднял свою старую голову, стукнул костлявым морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

— Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин — шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слез на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

— Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор, как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Жильнорман не согласился на подставное лицо. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя и понял, что тут пахнет наследством, не выдержал тяжелой повинности — нравиться. Старик наскучил улану, улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был малый, вне всякого сомнения, веселый, но не в меру болтливый; легкомысленный, но пошловатый; любивший хорошо пожить, но плохо воспитанный; у него были любовницы, это правда, и он много о них

слушать россказни о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это делало его уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: — Довольно с меня этого Теодюля. Принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на Поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, как баба, носить корсет под кирасой — это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе. Напрасно дочь твердила ему: «Но ведь это ваш внучатый племянник». Жильнорман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей. Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе. Однажды вечером, — это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, — он отпустил дочь, и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими Коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет Тара. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит»,— говорил он. Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. В нем закипал гнев, и в конце концов его озлобленная нежгаость 353 12. «Отверженные», т, 2.

слушать россказни о его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. К довершению всего, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это делало его уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери:

— Довольно с меня этого Теодюля. Принимай его сама, если хочешь. В мирное время я не чувствую особого пристрастия к военным. Я предпочитаю саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, как стукотня ножен по мостовой. Кроме того, пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, как баба, носить корсет под кирасой — это уж совсем смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе.

Напрасно дочь твердила ему: «Но ведь это ваш внучатый племянник».

Жильнорман, ощущавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

Так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль заставил его еще больше жалеть о Мариусе.

Однажды вечером, — это было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине,— он отпустил дочь, и она занялась шитьем в соседней комнате. Он сидел в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи во времена его молодости, и был похож на старинный портрет Гара. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит»,— говорил он.

Жильнорман думал о Мариусе с любовью и го-

переходила в негодование. Он дошел до такого со* стояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «этого господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться. «Неужели,— говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев, — неужели он не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил: — Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса? Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь: — Как? Господина Мариуса? — Не знаю, — ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, — сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел молодой человек, доложите, что это господин Мариус». Жильнорман пробормотал еле слышно: — Проси. Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус. Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо. Старик Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, это был он, это был Мариус! 854

переходила в негодование. Он дошел до такого состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. Он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже возвратился бы, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «этого господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели,— говорил он себе, и это был его горестный ежедневный припев,— неужели он не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

— Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный, похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

— Как? Господина Мариуса?

— Не знаю,—ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина,— сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Жильнорман пробормотал еле слышно:

— Проси.

Он сидел в той же позе, голова его тряслась, взор был устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти.

Его почти нищенская одежда была не видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старик Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в с^бя одним взглядом. Он нашел, что Мариус красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. 0н резко спросил: — Что вам нужно? — Сударь... — смущенно заговорил Мариус. Жильнорману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом и самим собой. Жильнорман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. — Зачем же вы все-таки пришли? — с угрюмым видом перебил он Мариуса. Это «все-таки» обозначало: «Если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деДа, которому бледность придала сходство с мрамором. — СударьСтарик опять сурово прервал erç: — Вы пришли просить у меня прощения? Вы при* знали свою вину? Он полагал, что направляет Мариуса на путь ис* тинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрог* нул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил: — Нет, сударь! — В таком случае,— с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, — чего же вы от меня хотите? Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом: — Сударь! Сжальтесь надо мной. Эти слова вывели Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Он встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но 355

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел, что Мариус красивый, благородный, изящный, взрослый, сложившийся мужчина, умеющий себя держать, обаятельный. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил:

— Что вам нужно?

— Сударь...— смущенно заговорил Мариус.

Жильнорману хотелось, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом и самим собой. Жильнорман чувствовал, что он резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им.

— Зачем же вы все-таки пришли? — с угрюмым видом перебил он Мариуса.

Это «все-таки» обозначало: «Если вы пришли не за тем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором.

— Сударь...

Старик опять сурово прервал его:

— Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

— Нет, сударь!

— В таком случае,— с мучительной и гневной скорбью вскричал старик,—чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

— Сударь! Сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было

его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом. — Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина, вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я — всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди — настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны. Старик снова спросил серьезно и сердито: — Так чего же вы от меня хотите? — Сударь, — ответил Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кой о чем, после этого я сейчас же уйду. — Вы глупец! — воскликнул старик. — Кто вам велит уходить? Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею! Жильнорман чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал: — Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы огорчили вашу тетушку, вы сделали это,— догадаться не356

его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

— Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина, вы богаты единственным настоящим богатством, какое только существует, а я — всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди — настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

Старик снова спросил серьезно и сердито:

— Так чего же вы от меня хотите?

— Сударь,— ответил Мариус,— я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кой о чем, после этого я сейчас же уйду.

— Вы глупец! — воскликнул старик.— Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: *Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею!* Жильнорман чувствовал, что Мариус может сейчас уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его росла, но так как она тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

трудно,— потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов, даже не попросив меня заплатить их, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне? Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста. Жильнорман Окрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу: — Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите. — Сударь! — заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть. — Я пришел попросить у вас позволения жениться. Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь. — Попросите сюда мою дочь. Минуту спустя дверь снова приоткрылась, мадмуазель Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника; Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал: — Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте. Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, — она словно не узнавала его, — и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана. Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился целой речью: — Жениться? В двадцать один год! И все у вас улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика — 357

трудно,— потому что гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, изображать из себя щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали о себе вестей, наделали долгов, даже не попросив меня заплатить их, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности заградил Мариусу уста. Жильнорман скрестил руки свойственным ему властным жестом и с горечью обратился к Мариусу:

— Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

— Сударь! — заговорил наконец Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть.— Я пришел попросить у вас позволения жениться.

Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

— Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, мадмуазель Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника; Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

— Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика свидетельствовал об особой силе его гнева. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса,— она словно не узнавала его,— и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился целой речью:

— Жениться? В двадцать один год! И все у вас улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы

недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «Двадцать восьмого июля тысяча восемьсот тридцатого года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком? Он остановился, но, прежде чем Мариус успел от* ветить, с яростью прибавил: — Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом? — Ничего, — ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью. — Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю? Мариус ничего не ответил. Жильнорман продол* жал: — А, понимаю. Значит, девушка богата? — Не богаче меня. — Что? Бесприданница? - Да. — Есть надежды на будущее? — Не думаю. — Совсем нищая. А кто такой ее отец? — Не знаю. — Как ее зовут? — Мадмуазель Фошлеван. — Фош... как? — Фошлеван. — Пффф! — фыркнул старик. — Сударь! — вскричал Мариус. Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой: — Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров ѣ год. Баронессе Понмерси придется самой ходить к зеленщице и покупать на два су петрушки.

недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, напротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «Двадцать восьмого июля тысяча восемьсот тридцатого года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Могу ли я позволить себе нескромность и спросить, на ком?

Он остановился, но, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

— Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

— Ничего,— ответил Мариус с твердой и почти свирепой решимостью.

— Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Жильнорман продолжал:

— А, понимаю. Значит, девушка богата?

— Не богаче меня.

— Что? Бесприданница?

— Да.

— Есть надежды на будущее?

— Не думаю.

— Совсем нищая. А кто такой ее отец?

— Не знаю.

— Как ее зовут?

— Мадмуазель Фошлеван.

— Фош... как?

— Фошлеван.

— Пффф! — фыркнул старик.

— Сударь! — вскричал Мариус.

Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:

— Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Баронессе Понмерси при-

— Сударь! — заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда. — Умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться! Старик рассмеялся злобным, скрипучим смехом, прерываемым кашлем. — Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы тогда и без него! Ну да все равно, я ему скажу: «Старый осел! Счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадмуазель — все равно какой, дочерью — все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Кашлеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда! — Отец! — Никогда! По тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло. — Ну, рассказывай! Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса. Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жильнормана выражало грубое, не находившее себе выражения в слове добродушие. Предок уступил место деду. — Ну полно, посмотрим, говори, рассказывай о 359

— Сударь! — заговорил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда.— Умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся злобным, скрипучим смехом, прерываемым кашлем.

— Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого набитого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы тогда и без него! Ну да все равно, я ему скажу: «Старый осел! Счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадмуазель — все равно какой, дочерью — все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне наплевать на мою карьеру, на мое будущее, на мою молодость, на мою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Кашлеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда!

— Отец!

— Никогда!

По тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда утрачена. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, какая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, втащил обратно и втолкнул в кресло.

— Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо Жильнормана выражало грубое, не находившее себе выражения в слове добродушие. Предок уступил

своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы! — Отец...— снова начал Мариус. Все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием. — Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад! В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола; жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жильнорман взирал на него с изумлением. — Итак, отец... — начал Мариус. — Так вот оно что! — прервал его Жильнорман.— У. тебя правда нет ни гроша? Ты одет, как воришка. Он порылся в ящике, вынул кошелек и положил на стол. — Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу. — Отец! — продолжал Мариус. — Дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду — она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, — не знаю сам, как это случилось, — влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только: они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, ну я и подумал: «Пойду к дедушке и скажу ему все». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда: кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов. Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением, медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени. — Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая. 360

своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!

— Отец...— снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то необыкновенным сиянием.

— Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола; жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что Жильнорман взирал на него с изумлением.

— Итак, отец...— начал Мариус.

— Так вот оно что! — прервал его Жильнорман.— У тебя правда нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порылся в ящике, вынул кошелек и положил на стол.

— Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

— Отец! — продолжал Мариус.— Дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду — она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом,— не знаю сам, как это случилось,— влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только: они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, ну я и подумал: «Пойду к дедушке и скажу ему все». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, утоплюсь. Я непременно должен жениться на ней, а то я сойду с ума. Вот вам вся правда: кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением, медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табака на колени.

Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне Что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. fia toft самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюм§. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельган-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус! Я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Я должен отдать себе справедливость: из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь? Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой. Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами: — Дурачок! Сделай ее своей любовницей. Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы

Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельган-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, беды в этом нет. Да и не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус! Я считаю, что если молодой человек влюблен, то это похвально. Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Я должен отдать себе справедливость: из всех санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик захохотал, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, лукаво пожимая плечами:

— Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Бломе, Памелы, хазармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги. Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым, уверенным шагом направился к дверям. Затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил: — Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте. Жильнорман, окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась и Мариус исчез. Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил: — Помогите! Помогите! Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом: — Бегите за ним] Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже не вернется! Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, — Баск и Николетта удерживали его сзади, — и стал кричать: — Мариус! Мариус! Мариус! Мариус! Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи. Девяностолетний старик, с выражением тягчайшей муки, несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред кончился словами, которые Мариус понял и которые представляли собой смертельное оскорбление для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым, уверенным шагом направился к дверям. Затем обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

— Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Жильнорман, окаменев от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как пораженный громом не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала ему горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

— Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

— Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже не вернется!

Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса,— Баск и Николетта удерживали его сзади,— и стал кричать:

— Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже сворачивал на улицу Сен-Луи.

Девяностолетний старик, с выражением тягчайшей муки, несколько раз поднял руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая голо-

Книга девятая КУДА ОНИ ИДУТ? Г лава первая ЖАН ВАЛЬЖАН В тот же день, в четыре часа Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь — значит все опасности налицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя неспокойно всякий, кто имел основания что-либо скрывать: политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Море, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумал363

Книга девятая

КУДА ОНИ ИДУТ?

Глава первая

ЖАН ВАЛЬЖАН

В тот же день, в четыре часа Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. Сейчас, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродит здесь неспроста. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь — значит все опасности налицо. Кроме того, в Париже чувствовал себя неспокойно всякий, кто имел основания что-либо скрывать: политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Море, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неде-

ся: его обуревали мысди о Тецдрдье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта. Он был очень озабочен всем этим. Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-вкдимому, гвоздем: Стекольная улица, № 16. Это быдо сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапцвы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что ?то значит? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен и туда пробрались какието неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал Козетте о строчке, нацарапанной на стене, — он боялся ее испугать. Внезапно его тревожные размышления были прерваны: он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом, большими буквами, слово: Переезжайте Жан Вальжан вскочил — на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и-табачного цвета плисовых штанах, — перешагнув парапет, он соскользнул в ров Марсова поля. Жаль Вальжан в глубоком раздумье отправился домой. 364

ся: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был очень озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился сейчас, усиливал его тревогу. Утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты были еще закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:

Стекольная улица, № 16.

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это значит? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз полошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он ничего не сказал Козетте о строчке, нацарапанной на стене,— он боялся ее испугать.

Внезапно его тревожные размышления были прерваны: он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился за его спиной на откосе. Он хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул и прочел написанное карандашом, большими буквами, слово:

Переезжайте

Жан Вальжан вскочил — на откосе уже никого не было. Осмотревшись, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах,— перешагнув парапет, он соскользнул в ров Марсова поля.

Глава вторая МАРИУС Мариус ушел от Жильнормана с разбитым сердцем. Отпрайляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии. Впрочем, — те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, — улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его Сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрений — те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло, то не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам — обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворè уже было утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить. Курфейрак спросил его: — Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка? Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски. Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову. Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда в голове у него словно пылает адская

Глава вторая

МАРИУС

Мариус ушел от Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в полном отчаянии.

Впрочем,— те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это,— улан, пустельга-офицер, двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения — те же морщины. В ранней юности их не бывает. Что потрясает Отелло, то не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам — обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. На дворе уже было утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

— Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался

печь. Нартупила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше — тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя: «Не дерутся ли там?» С наступлением темноты, ровно в девять часов. Дариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое ¿уток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал щшіь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над цим и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце. Мариус раздвинул рещетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. Козетты и там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад, — в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал, еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду; никого в доме. Мариус вперил отчаянный взор в мрачный дом, черный и безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько дивных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и решиморти. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему ос

печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все еще вчера. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше — тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из задумчивости и спрашивал себя: «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, ровно в девять часов. Мариус, как обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую, невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, столь властны над ним и столь восхитительны, что, посетив его, они заполняют все его сердце.

Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросли и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь»,— подумал он. Козетты и там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад,— в саду никого. Он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал, еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это были пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду; никого в доме.

Мариус вперил отчаянный взор в мрачный дом, черный и безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько дивных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку

тается только умереть. Вдруг он услышал голос, ка* Залось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями: — Господин Мариус! Он встал. — Что? — спросил он. — Господин Мариус! Вы здесь? - Да. — Господин Мариус! — снова раздался голос — . Ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери. Голос показался ему знакомым. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел человека, с виду — юношу, исчезавшего в сумерках. Глава третья МАБЕФ Кошелек Жана Вальжана не принес пользы Мабефу. По своей благородной, но наивной строгости, Мабеф не принял подарка звезд; он не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, а Мабефа он не выручил. Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору. Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его Флоры. Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением клише он не мог пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры Флоры и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не ос367

тается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:

— Господин Мариус!

Он встал.

— Что? — спросил он.

— Господин Мариус! Вы здесь?

— Да.

— Господин Мариус! — снова раздался голос.— Ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.

Голос показался ему знакомым. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел человека, с виду — юношу, исчезавшего в сумерках.

Глава третья

МАБЕФ

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости, Мабеф не принял подарка звезд; он не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, а Мабефа он не выручил.

Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его *Флоры*. Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением клише он не мог пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры *Флоры* и уступил

талось от труда всей его жизни. Он проедал деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил сад и оставил его невозделанным. Уже давно он отказался от яиц и куска мяса. Он заменил их хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чефо мог обойтись, из постельного белья, лишнюю одежду, одеяла, затем гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, Исторические и библейские четверостишия, издание 1560 года, Свод библий Пьера де Бесса, Жемчужины Маргариты Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, об обязанностях и достоинстве посла сьёра де ВильеХотмана, Раввинский стихослов 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, XIII века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи XII столетия из Неаполитанской библиотеки. Мабеф не разжигал камина в спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий это наиболее леденящее. Однако папаша Мабеф не утратил своей детской ясности. Его глазд даже становились живее, когда он устремлял их нН книги; он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, уцелел только его книжный шкаф со стеклянными дверцами. Однажды тетушка Плутарх сказала ему: — Мне не на что приготовить обед. То, что она называла обедом, состояло из хлебца и нескольких картофелин. — А в долг? — спросил Мабеф. — Вы отлично знаете, что в долг мне не дают. Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассмат368

талось от труда всей его жизни. Он проедал деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил сад и оставил его невозделанным. Уже давно он отказался от яиц и куска мяса. Он заменил их хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего мог обойтись, из постельного белья, лишнюю одежду, одеяла, затем гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, *Исторические и библейские четверостишия,* издание 1560 года, *Свод библий* Пьера де Бесса, *Жемчужины Маргариты* Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, *об обязанностях и достоинстве посла* сьёра де Вильер-Хотмана, *Раввинский стихослов* 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, XIII века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи XII столетия из Неаполитанской библиотеки. Мабеф не разжигал камина в спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий это наиболее леденящее. Однако папаша Мабеф не утратил своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги; он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, уцелел только его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

— Мне не на что приготовить обед.

То, что она называла обедом, состояло из хлебца и нескольких картофелин.

— А в долг? — спросил Мабеф.

ривал свои книги, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул под мышку и ушел. Он вернулся два часа епустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал: — Вот вам на обед. Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось тенью, и тень эта уже не исчезала. Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать книги, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека перешла к ним. Иногда он говорил: «Мне ведь восемьдесят лет», словно у него была тайная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малаке, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Гре. «Я должен пять су», — сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он не обедал. Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель Общества навестил его, обещал поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! — воскликнул министр, — Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день Мабеф получил прйгдашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», — сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «Кто этот старик?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под про

ривал свои книги, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

— Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось тенью, и тень эта уже не исчезала.

Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать книги, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека перешла к ним. Иногда он говорил: «Мне ведь восемьдесят лет», словно у него была тайная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малаке, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Гре. «Я должен пять су»,— сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель Общества навестил его, обещал поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! — воскликнул министр.— Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены»,— сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не ос-

ливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра. Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он доста* точно хорошо знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Так прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, больная чувствовала себя хуже, нужна была сиделка. Мабеф открыл шкаф — там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций. Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; это было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату. На следующий день с рассветом он сел в саду на опрокинутую тумбу; через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел все утро, опустив голову и тупо глядя на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы. Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил: — Что это такое? Садовник совершенно спокойно ответил; — Бунт. — Какой бунт? — Такой. Дерутся. — Почему дерутся? — А бог их знаетi — сказал садовник. — Где же это?-— спросил Мабеф. — Где-то возле Арсенала. Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунут*, ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и забыл!», вышел из дому с растерянным видом.

ливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно хорошо знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Так прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, больная чувствовала себя хуже, нужна была сиделка. Мабеф открыл шкаф — там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций.

Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; это было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассветом он сел в саду на опрокинутую тумбу; через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел все утро, опустив голову и тупо глядя на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

— Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

— Бунт.

— Какой бунт?

— Такой. Дерутся.

— Почему дерутся?

— А бог их знает!— сказал садовник.

— Где же это?— спросил Мабеф.

— Где-то возле Арсенала.

Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и,

Книга десятая 5 ИЮНЯ 1832 ГОДА Глава первая ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВОПРОСА Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой. Куда? На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других. Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, тщеславие, обвиняющее судьбу в крушении своих надежд; наконец, в самом низу, чернь, воспламеняющаяся грязь — таковы составные элементы мятежа. Самое великое и самое ничтожное; существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги пред371

Книга десятая
5 ИЮНЯ 1832 ГОДА

Глава первая
ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются на пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушие в сочетании с ослеплением, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, тщеславие, обвиняющее судьбу в крушении своих надежд; наконец, в самом низу, чернь, воспламеняющаяся грязь — таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное: существа, кото-

местий, все, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безымянные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, — все они принадлежат мятежу. Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь. Мятеж — это своего рода смерч, при известной температуре внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку. Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга. Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика — в генерала. Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то, с точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе не вреден. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания. Мятеж тридцать лет назад рассматривался еще и с других точек зрения. Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом». Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерное доброжелательство; являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь всего лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы — между горячей и холодной. 372

местий, все, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безымянные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые,— все они принадлежат мятежу.

Всякий, кто носит в душе тайный бунт против государства, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж — это своего рода смерч, при известной температуре внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, ствол дерева и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика — в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то, с точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе не вреден. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом». Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерное доброжелательство; являясь смешением порицания и прощения, она воображает себя мудростью, на самом деле часто оказываясь

ЦIкола эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения. Если послушать эту школу, то окажется, что: «Мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю революцию, вначале отмеченную единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны; мятеж обнаружил их. Появились осч нования для того, чтобы утверждать: «Ага! Наступил перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу. Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх, во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй — сорок, третий — шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, — иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей. Конечно, с точки зрения исторической, мятеж посвоему прекрасен; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом — сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее яркие особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и 373

Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется, что: «Мятежи, усложнившие переворот 1830 года, лишили в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю революцию, вначале отмеченную единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые изъяны; мятеж обнаружил их. Появились основания для того, чтобы утверждать: «Ага! Наступил перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх, во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй— сорок, третий — шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов,— иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж по-своему прекрасен; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом — сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее яркие особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть

крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие в возрасте,— это одна и та же раса, это те же стоики, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет — за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии. Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих! «Что же, мы все это предвидели! Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, и Францию, несомненно ослабевшую. Прибавьте — потому что следует сказать обо всем — кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге — мятежи были губительны». Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно. А мы — мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Йрежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за ту же цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений — мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины. Мы уточняем. 374

крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие в возрасте,— это одна и та же раса, это те же стоики, умирающие в возрасте двадцати лет за идею и в сорок лет — за семью. Армия, которую всегда огорчает гражданская война, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели! Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, и Францию, несомненно ослабевшую. Прибавьте — потому что следует сказать обо всем — кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге — мятежи были губительны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется весьма охотно.

А мы — мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за ту же цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые только кажутся доводами, а на самом деле представляют собой только слова. Предмет наших размышлений—мятеж, исследуем же его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии,

Глава вторая СУТЬ ВОПРОСА Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух Ридов гнева: один — неправый, другой — правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удаётся захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одно и то же оружие, наведенное на толпу, виновно 10 августа и право 14 вандемьера. С виду схоже, по суще£тву различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт — истинное. То, что всеобщее голосование создало, сознавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации; инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием. Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, — это мятеж- Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж; Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероятным, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный

Глава вторая

СУТЬ ВОПРОСА

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева: один — неправый, другой — правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить его взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одно и то же оружие, наведенное на толпу, виновно 10 августа и право 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт — истинное. То, что всеобщее голосование создало, сознавая свою свободу и верховенство, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации; инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельсов, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием. Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней,— это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж; Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое расширение владений света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Что, например, может представиться более невероят-

протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»? Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы г-жи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки — вот мятеж. Вандея — это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества — нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание— это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание; Гебер против Дантона — это мятеж. Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением. Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома. Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник; Камилл Демулен • — правитель. Порою восстание — это возрождение. Решение всех вопросов, посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, и четыре предшествовавшие ему века характеризовались пр376

протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»? Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы г-жи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки — вот мятеж. Вандея — это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества—нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание—это движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять—это насилие над человеческим родом. Восстание—это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание; Гебер против Дантона — это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома.

Бунт, как мы уже отмечали, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник; Камилл Демулен — правитель.

Порою восстание — это возрождение.

пранием прав и страданиями народа, и все же каждая историческая эпоха несла с собой свою, возможную Для нее, форму протеста. При цезарях не было вос-« станий, зато был Ювенал. Facit indignatio 1 заступает место Гракхов. При цезарях был сиенский изгнанник; кроме него, был еще человек, написавший Анналы. Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса; он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса. Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший Анналы, — латинянин; скажем точнее: римлянин. Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу. Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, — слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном. Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Берреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы — больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью. Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии. .‘Стих, порожденный возмущением (лат.). Ювенал, Сатира, I. 377

пранием прав и страданиями народа, и все же каждая историческая эпоха несла с собой свою, возможную для нее, форму протеста. При цезарях не было восстаний, зато был Ювенал.

Facit indignatio [1] заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; кроме него, был еще человек, написавший *Анналы.*

Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса; он тоже обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший Анналы,— латинянин; скажем точнее: римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.

Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи,—слово страшное. Когда молчание навязано народу властелином, писатель удваивает, утраивает силу своего пера. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.

Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы — больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Заметим мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедлгівым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии,— вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства. Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры — Тацит и Ювенал — с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить. Рим смердит отвратительнее при Вителлин, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов — дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду. Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь. Но и Ювенал и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в средние века, — это человек; мятеж и восстание — народ, иногда неправый, иногда правый. 378

Заметим мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии,— вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается особая чуткость божественного правосудия, которое не решилось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры—Тацит и Ювенал — с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов — дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в средние века — это

Чаще всего мятеж является следствием причин материального порядка; восстание — всегда явление нравственного порядка. Мятеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж — с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает, у мятежа,— в Бюзансе, например, — реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ — цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ. Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания — мятеж, точно так же, как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — Революцию. Впрочем, иногда, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном, триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте. Все это в прошлом, будущее — иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, — как уличных войн, так и войн на границах государства,— вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра — < это мир. Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он плохо разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка уку379

Чаще всего мятеж является следствием причин материального порядка; восстание — всегда явление нравственного порядка. Мятеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж — с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. Когда народ голодает, у мятежа,— в Бюзансе, например,— реальный, волнующий, справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ--цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается со смуты. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания — мятеж, точно так же, как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — Революцию. Впрочем, иногда, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном, триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее — иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн,— как уличных войн, так и войн на границах государства,— вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра — это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он плохо разбирается в этих оттенках. Для него

сить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик. Тогда буржуа кричит; «Да здравствует народ!» Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание? Восстание. Может статься, в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его прояв, ления, не забывая о различии между его формой — мятежом и его сущностью — восстанием. Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев. Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как эпоха мятежей, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века. Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу. События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, — мы на этом настаиваем, — именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили,— это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому, — факты, которые повлекли за собой забвение одних и смерть других. Большинство дейст380

сить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Так чем же является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?

Восстание.

Может статься, в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, не забывая о различии между его формой — мятежом и его сущностью — восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит в состояние спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который остался в памяти парижан как *эпоха мятежей,* без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой, драматической действительности, которой историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут,— мы на этом настаиваем,— именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Мелкие подробности, как мы, кажется, уже говорили,— это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует такого рода подробностями. Судебные следствия, хотя и по иным причинам, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что неведомо никому — факты, которые повлекли за собой

эующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать клятву: мы сами Вйдели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В ракіках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный,— дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы приподнимем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения. Глава третья ПОГРЕБЕНИЕ — ПОВОД К ВОЗРОЖДЕНИЮ Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка. Ламарк был человек действия и доброй славы. И при Империи и при Реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой — за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя in petto 1 одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у

вующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать клятву: мы сами видели то, о чем собираемся рассказать. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный,— дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы приподнимем, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

Глава третья

ПОГРЕБЕНИЕ — ПОВОД К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.

Ламарк был человек действия и доброй славы. И при Империи и при Реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой — за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя *in petto* [1] одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у

народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечйя происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со сЛовоіи армия на устах. Ламарк со словом отечество. Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство — как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло. Накануне и в самый день б ирэня — день, назначенный дЛя погребения генерала Ламарка, — Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом холлы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» — «Да видишь ли, у меня нет оружия».— «Ну так что же?» — «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». — «А на что он тебе?» — «Не знаю», — ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Нука, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» — *Нет»,— «Поди к Фиспьеру — это между Монрейльской и Шаройской заставами, — там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «мчались как на почтовых», то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле tpoHHOñ заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» — «Под блузой». — «А ты?» — «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал 382

народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом *армия* на устах. Ламарк со словом *отечество*.

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство — как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

Накануне и в самый день 5 июня — день, назначенный для погребения генерала Ламарка,— Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» — «Да видишь ли, у меня нет оружия».— «Ну так что же?» — «Вот я и иду на стройку за своим циркулем».— «А на что он тебе?» — «Не знаю»,— ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Нука, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» — «Нет».— «Поди к Фиспьеру — это между Монрейльской и Шаронской заставами,— там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «мчались как на почтовых», то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» — «Под блузой».— «А ты?» — «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Не-

больше недели, — хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время с ним спорить». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» — отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто. Итак, 5 июня, в день, то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона, с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку, и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, — члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, длинные трехцветные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивавшие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, где шумной толпой, где стройной колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; у всех глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела. Правительство тоже наблюдало. Наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкето* нами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с тру

больше недели,— хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время с ним спорить». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» — отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.

Итак, 5 июня, в день, то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона, с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку, и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное,— члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, длинные трехцветные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивавшие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, где шумной толпой, где стройной колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; у всех глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство тоже наблюдало. Наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными

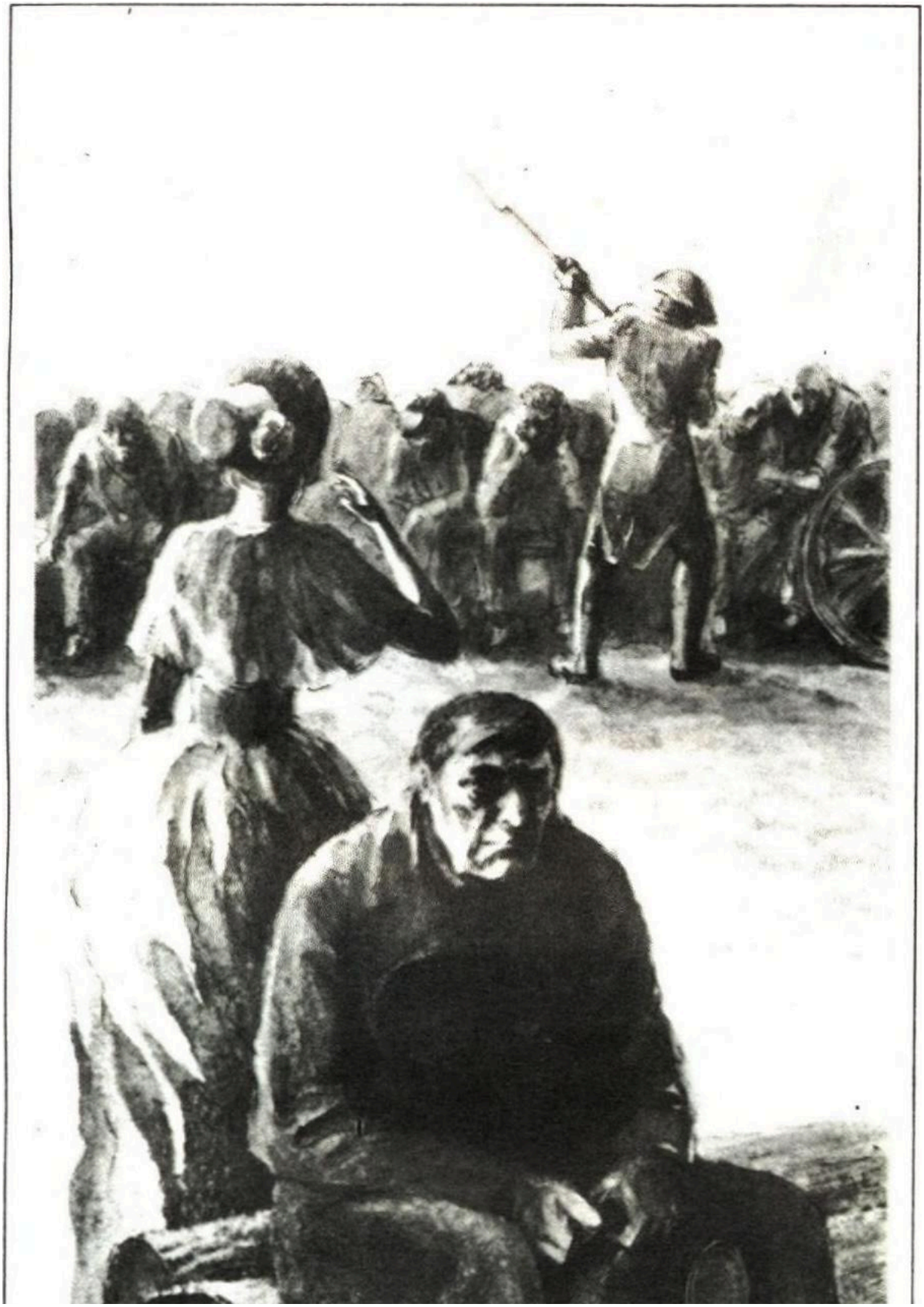
бачами впереди; в Латинском квартале и в Ботаническом саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке — эскадрон драгун; на Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии; 6-й драгунский — у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные властц держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и трй« дцать тысяч в пригороде. В процессии передавались слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. Выражение лица у большинства людей, шедших с непокрытыми головами, было восторженное и вместе с тем подавленное. Среди народа, находившегося во власти необузданных, но благородных страстей, виднелись физиономии настоящих злодеев, виднелись мерзкие рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда вся муть поднимается со дна на поверхность. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции. Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий — обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка гром^ ко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» — отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды 384

бачами впереди; в Латинском квартале и в Ботаническом саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке — эскадрон драгун; на Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии; 6-й драгунский — у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. Выражение лица у большинства людей, шедших с непокрытыми головами, было восторженное и вместе с тем подавленное. Среди народа, находившегося во власти необузданных, но благородных страстей, виднелись физиономии настоящих злодеев, виднелись мерзкие рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда вся муть поднимается со дна на поверхность. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий — обнесли гроб вокруг Вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, сорвали галльского петуха с народного знамени и втоптали в грязь, у ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей, офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил: «Я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь, крики: «Да здравствует Поли-

...то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра...



Он встал во весь рост и , подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами ... запел.



любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу. Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе. Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет,— он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили — с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию. Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета — по Морландской набережной. В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета. Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом 13. «Отверженные», т. 2. 385

любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет,— он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили — с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики: *Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу!* Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета — по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед ин-

драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом. В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать. Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие — что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» — и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все. Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча, с мрачно выжидающим видом, двигались шагом.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, другие — что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно одно: внезапно раздались три выстрела; первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..»—и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая перед собой все.

Этим все сказано: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада, молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат: «К оружию!»,

Глава четвертая ВОЛНЕНИЯ БЫЛЫХ ВРЕМЕН Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров; потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!» Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее: На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествуемые тремя вооруженными людьми, — один из них держал саблю, другой ружье, третий пику. На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны. На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской. На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, — одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей, — почти все двуствольные, — шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Один брал ружье, 387

Глава четвертая

ВОЛНЕНИЯ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, мигом исчезают выставки товаров; потом слышатся одиночные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, началась потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати местах Парижа почти одновременно произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда, неся горизонтально трехцветное, обернутое крепом знамя, предшествуемые тремя вооруженными людьми,— один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, зычным голосом предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя; на нем белыми буквами начертаны были слова: *Республика или смерть!* На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились люди со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слово *секция* и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и с чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников,— одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-Конт, третью на улице Тампль. В течение нескольких минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ру-

другой — штык; таким образом можно было вооружить больше народа. Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое — патроны, мой муж потом сказал мне». Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие. Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице. И всюду — на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков — запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады. Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый. В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице СенИасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбіх у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разобралй лесной склад. Толь* ко в одном месте — на углу улиц Сент-Авуа и Симон

другой — штык; таким образом можно было вооружить больше народа.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое — патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду — на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков — запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций читали прокламации и кричали «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствовавших мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: *Оружие сдано.* Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья или сабли и говорили: *Завтра пошлите за ними в мэрию.* На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты роями вылетали из меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Траснонен, чтобы

де-Фран — жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках. То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома. Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной, стороны баррикадой СенМерри, с другой — баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна — с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной — на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой — возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры. У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, — сказал он, — на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. Мятеж действовал по всем законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны

де-Фран — жители оказали сопротивление и разрушили баррикаду. И только в одном месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, которую начали возводить на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы рассказываем здесь медленно и в определенной последовательности, происходило сразу во всем городе, в невероятной суматохе; это было как бы множество молний и один раскат грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, с другой — баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом: одна — с улицы Монторгейль на Большую Бродяжную, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Маре, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной — на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой — возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикад на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто был начальником над баррикадой, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот,— сказал он,— на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты.

Мятеж действовал по всем законам искуснейшей

превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа. В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу — казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев. Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов. К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска — другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебяжьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они прорвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишельле-Конт были убиты, один за другим, три офицера. 390

превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. У человека, убитого на улице Понсо, как установили, обыскав его, был план Парижа.

В действительности мятежом правила какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Маре, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу — казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, обыски, быстрый захват оружейных лавок свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска — другой, противоположный. Перестрелка шла от решетки к решетке. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса провел он в этом затруднительном положении. Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа барабанщику нанесли удар кинжалом. Другой барабанщик, на Лебяжьей улице, был окружен тридцатью молодыми людьми; они порвали барабан и отобрали у него саблю. Третий был

Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили. Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: Республиканская революция, № 127. Была ли это революция на самом деле? Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель. Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались — это и доказывало, что вопрос решался именно здесь. В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, — Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно. Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики — этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя. Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки. В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полнейшее спокойствие. 391

Многие муниципальные гвардейцы, раненные на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с надписью: *Республиканская революция, № 127.* Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в недоступную, в извилинах его улиц, огромную цитадель.

Здесь находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались — это и доказывало, что вопрос решался именно здесь.

В некоторых полках солдаты колебались, и от этого неизвестность исхода представлялась еще ужаснее. Солдаты вспоминали народное ликование, с которым был встречен в июне 1830 года нейтралитет 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками,— Бюжо под началом Лобо. Многочисленные отряды, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали. Правительство, располагавшее целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, послышался набат в монастыре Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, помнивший Аустерлиц, смотрел на вещи мрачно.

Старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и сведений о руководстве только знанием тактики — этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Второпях прибежали национальные гвардейцы предместья. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

Глава пятая СВОЕОБРАЗИЕ ПАРИЖА Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, — ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит: — Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен. Или: — В предместье Сент-Антуан. Часто он беззаботно прибавляет: — Где-то в той стороне. Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит: — Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка! Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает, опасности самого себя. Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях. Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиаКры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.

Глава пятая

СВОЕОБРАЗИЕ ПАРИЖА

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем,— ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник говорит:

— Кажется, заварилась каша на улице Сен-Мартен.

Или:

— В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

— Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную, душераздирающую трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

— Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки проворно закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии. Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия — величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона. Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок ; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-леБуше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая — от Бастилии, вторая — ■ от ворот Сен-Мартен, третья — от Гревской площади, neTBepfan — от рынков; что, возможно, впрочем, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит серьезно. Всех тревожила нереши393

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; в других столицах ее не обнаружишь. Для этого необходимы два условия — величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что *они* овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: *Сначала раздобудьте полк;* что Лафайет болен, но тем не менее заявил: *Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок;* что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят по направлению к центру восстания: первая — от Бастилии, вторая — от ворот Сен-Мартен, третья — от Гревской площади, четвертая — от рынков; что, возможно, впрочем, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю;

тельность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище. Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет. В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего — к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

тельность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было ясно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В Консьержери, в длинном подземелье, именовавшемся «Парижской улицей», на охапках соломы валялись арестованные; лионец Лагранж мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под копошившимися на ней людьми напоминало шум ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Всюду чувствовались тревога и какой-то несвойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство; только и слышалось: «Боже мой, его еще нет!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому, неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего — к исступленному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» По мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга одиннадцатая АТОМ БРАТАЕТСЯ С УРАГАНОМ

Глава первая О КОРНЯХ ПОЭЗИИ ГАВРОША. ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ПОЭЗИЮ ОДНОГО АКАДЕМИКА

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться, — одни, призывая к со* противлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какойто оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом. Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней,- увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая: Днем видно все, зато ночами Мы ни черта не видим с вами! Любой забористый стишок Для буржуа — что вилы в бок. Эй, колпаки! Господь — свидетель, Вы позабыли добродетель. 395

Книга одиннадцатая

АТОМ БРАТАЕТСЯ С УРАГАНОМ

Глава первая

О КОРНЯХ ПОЭЗИИ ГАВРОША. ВЛИЯНИЕ НА ЕГО ПОЭЗИЮ ОДНОГО АКАДЕМИКА

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться,— одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая:

Днем видно все, зато ночами
Мы ни черта не видим с вами!
Любой забористый стишок
Для буржуа — что вилы в бок

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну. На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки. Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе. Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для братьев. Братья вечером, отец утром — вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при двОре, удираю. Ребята! Если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе — этой китайской головоломке, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не видел ребят. С той ночи прошло месяца три. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, черт возьми, девались мои ребята?» Итак, он пришел, с пистолетом в руке, на Капустный мост. Он заметил, что на этой улице оставалась 396

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.

На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.

Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для братьев. Братья вечером, отец утром — вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята! Если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе — этой китайской головоломке, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не видел ребят. С той ночи прошло месяца три. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, черт возьми, девались мои ребята?»

открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало особого внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал: «Караул!» Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка! Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь. Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши. Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи: — До чего они жирные, эти самые рантье! Откормленные. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут — сколько влезет в брюхо. Глава вторая ГАВРОШ В ПОХОДЕ Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал: — Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете! Друзья мои! Я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, 397

открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало особого внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:

— До чего они жирные, эти самые рантье! Откормленные. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут — сколько влезет в брюхо.

Глава вторая

ГАВРОШ В ПОХОДЕ

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

— Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете! Друзья мои! Я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед!

ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма! В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше. На улицеТориньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Маре, представляло резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже — квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету — в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье. Но кумушки с улицыТориньи — три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком — занимались только своими обычными делами. Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости — одряхления, немощи, нужды и печали. Тряпичница была женщина смиренная. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной,— по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна. Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие: — А ваша кошка все такая же злюка? — Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки — вот кто может на них пожало* ваться. — Да и люди тоже. — Однако кошачьи блохи не переходят на людей. — Это пустяки, вот собаки — те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля? 398

ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Маре, представляло резкий контраст с сильнейшим возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже—квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету — в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Ториньи — три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком — занимались только своими обычными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости — одряхления, немощи, нужды и печали.

Тряпичница была женщина смиренная. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной,—по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.

Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

— А ваша кошка все такая же злюка?

— Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки — вот кто может на них пожаловаться.

— Да и люди тоже.

— Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

— Это пустяки, вот собаки — те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили колясочку Рим-

— А мне больше нравился герцег Бордоский. — А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого. — Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон! — И не говорите, мясники — это просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь. Тут вмешалась тряпичница. — Да, сударыни, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают. — Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем. — Что правда, то правда,— угодливо согласилась тряпичница, — у меня все-таки есть профессия. После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила: — Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам в комнате. Тряпки убираю в корзину, огрызки — в лохань, простые лоскутья — в шкаф, шерстяные — в комод, бумагу — в угол под окном, съедобное — в миску, осколки стаканов — в камин, стоптанные башмаки — за двери, кости — под кровать. Гаврош, остановившись сзади, слушал. — Старушки! По какому это случаю вы завели разговор о политике? — спросил он. Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него. — Еще один злодей тут как тут! — Что это он держит в своей культяпке? Пистолет? — Скажите на милость, этакий негодник! — Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство! Гаврош, исполненный презрения, вместо возмездия ограничился тем, что всей пятерней сделал им нос. — Ах ты, бездельник босопятый! — крикнула тряпичница. Мамаша Патагон яростно всплеснула руками: — Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался

— А мне больше нравился герцег Бордоский.

— А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

— Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

— И не говорите, мясники—это просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница.

— Да, сударыни, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

— Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

— Что правда, то правда,—угодливо согласилась тряпичница,—у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

— Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам в комнате. Тряпки убираю в корзину, огрызки — в лохань, простые лоскутья—в шкаф, шерстяные—в комод, бумагу—в угол под окном, съедобное — в миску, осколки стаканов — в камин, стоптанные башмаки — за двери, кости — под кровать.

Гаврош, остановившись сзади, слушал.

— Старушки! По какому это случаю вы завели разговор о политике?— спросил он.

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

— Еще один злодей тут как тут!

— Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?

— Скажите на милость, этакий негодник!

— Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, вместо возмездия ограничился тем, что всей пятерней сделал им нос.

— Ах ты, бездельник босопятый!—крикнула тряпичница.

Мамаша Патагон яростно всплеснула руками:

каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, — уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... — ну там, где этот теленок! — в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж, наверное, увижу на гильотине! — Ты сопишь, старушенция, — заметил Гаврош. — Высморкай получше свой хобот. И пошел дальше. Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог: — Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки. Внезапно он услышал сзади крик; погнавшаяся за ним привратница Патагон издали погрозила ему кулаком и крикнула: — Ублюдок несчастный! — Плевать мне на это с высокого дерева, — ответил Гаврош. Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он кликнул клич: — Вперед, на бой! Но его вдруг охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать. — Я иду биться, — сказал он, — а ты вот не бьешь! Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек, Гаврош разжалобился. — Бедненький мой тяв-тяв! — сказал он ему. — Ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу. Затем он направился к Орм-Сен-Жерве. 400

каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю,— уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в...— ну там, где этот теленок! — в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж, наверное, увижу на гильотине!

— Ты сопишь, старушенция,— заметил Гаврош.— Высморкай получше свой хобот.

И пошел дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и произнес следующий монолог:

— Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал сзади крик; погнавшаяся за ним привратница Патагон издали погрозила ему кулаком и крикнула:

— Ублюдок несчастный!

— Плевать мне на это с высокого дерева,— ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он кликнул клич:

— Вперед, на бой!

Но его вдруг охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.

— Я иду биться,— сказал он,— а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек, Гаврош разжалобился.

— Бедненький мой тяв-тяв! — сказал он ему.— Ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи на-

Глава третья СПРАВЕДЛИВОЕ НЕГОДОВАНИЕ ПАРИКМАХЕРА

Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал: «Диалог бритвы и сабли». — А как император держался на лошади? — спросил парикмахер. — Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал. — А хорошие у него были кони? Должно быть, прекрасные? — В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом. — Славная лошадка, — заметил парикмахер. — Да, это была верховая лошадь его величества. Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать; потом заговорил снова: — Император был ранен только раз, ведь правда, сударь? Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал: — В пятку. Под Ратисбоном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка. — А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз? — Я? — спросил солдат. — Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем — пулю в правую руку, другую — в левую ляжку под Иеной, под Фридландом — удар штыком, вот

Глава третья

СПРАВЕДЛИВОЕ НЕГОДОВАНИЕ ПАРИКМАХЕРА

Почтенный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во времена Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он приукрасил бы его и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

— А как император держался на лошади?—спросил парикмахер.

— Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

— А хорошие у него были кони? Должно быть, прекрасные?

— В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. Это была белая рысистая кобыла. У нее были широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

— Славная лошадка,— заметил парикмахер.

— Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких торжественных слов надо помолчать; потом заговорил снова:

— Император был ранен только раз, ведь правда, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который при этом присутствовал:

— В пятку. Под Ратисбоном. Я никогда не видел, чтобы он был так хорошо одет, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

— А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

— Я? — спросил солдат.— Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустер-

сюда, под Москвой — не то семь, не то восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве под Ватерлоо меня ударило картечью в бедро. Вот и все. — Как прекрасно умереть на поле боя! — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. — Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, постепенно, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро! — У вас губа не дура,— заметил солдат. Только успел он это сказать, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной... Парикмахер побледнел как полотно. — О боже! — воскликнул он. — Это то самое! — Что? — Ядро. — Вот оно, — сказал солдат и поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник. Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку СенЖан. Проходя мимо парикмахерской, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать брадобрея по-своему и швырнул камнем в окно. — Понимаете, — прохрипел цирюльник, у которого» бледность перешла в синеву, — они делают пакости лишь бы напакостить! Кто его обидел, этого мальчишку? Глава четвертая РЕБЕНКА УДИВЛЯЕТ СТАРИК Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и вступили в их отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера — ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом — два пистолета, высовывавшихся

сюда, под Москвой — не то семь, не то восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве под Ватерлоо меня ударило картечью в бедро. Вот и все.

— Как прекрасно умереть на поле боя! — с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник.— Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, постепенно, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот ядро!

— У вас губа не дура,— заметил солдат.

Только успел он это сказать, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной...

Парикмахер побледнел как полотно.

— О боже! — воскликнул он.— Это то самое!

— Что?

— Ядро.

— Вот оно,— сказал солдат и поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо парикмахерской, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать брадобрея по-своему и швырнул камнем в окно.

— Понимаете,— прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву,— они делают пакости лишь бы напакостить! Кто его обидел, этого мальчишку?

Глава четвертая

РЕБЕНКА УДИВЛЯЕТ СТАРИК

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и вступили в их отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбе-

из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера — старый кавалерийский мушкетон, у Баореля — карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой он вытащил клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди и кричал: «Да здравствует Польша!» Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним. — Куда мы идем? — Иди с нами, — ответил Курфейрак. Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежников, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел запас слов, способных сокрушить все что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего. Потеряв голову от страха, прохожий крикнул: — Красные пришли! — Красные, красные! — подхватил Баорель. — Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, красная шапочка не внушает мне ужаса. Поверьте мне, буржуа: предоставим бояться красного только рогатому скоту. Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве». — Паства! — воскликнул Баорель. — Это вежливая форма слова «стадо». И сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю. — Ты неправ, Баорель, — заметил Анжольрас.— Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный. — У каждого своя манера,— возразил Баорель.— Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты вот весь пылаешь, хоть с виду и холоден, ну, а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег. А послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус! 403

из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера — старый кавалерийский мушкетон, у Баореля — карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой он вытащил клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди и кричал: «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

— Куда мы идем?

— Иди с нами,— ответил Курфейрак.

Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежников, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел запас слов, способных сокрушить все что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего. Потеряв голову от страха, прохожий крикнул:

— Красные пришли!

— Красные, красные! — подхватил Баорель.— Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, красная шапочка не внушает мне ужаса. Поверьте мне, буржуа: предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

— Паства! — воскликнул Баорель.— Это вежливая форма слова «стадо».

И сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

— Ты неправ, Баорель,— заметил Анжольрас.— Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

— У каждого своя манера,— возразил Баорель.— Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. Ты вот весь пылаешь, хоть с виду и холоден, ну, а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру раз-

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение. И он спросил его: — Что это значит — «Геркулес»? — По-латыни это значит: черт меня побери, — ответил Баорель. Тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому, одного из Друзей азбуки, и крикнул ему: — Живо патронов! Para bellum ! 1 — Красивый мужчина! Это верно, — сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь. Их сопровождала шумная толпа — студенты, художники, молодые люди, члены Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В толпе шел старик, с виду очень дряхлый. Оружия у него не было, но он старался не отставать, хотя, видимо, был погружен в свои мысли. Гаврош заметил его. — Этшкое? — спросил он. — Так, старичок. То был Мабеф. Глава пятая СТАРИК Расскажем о том, что произошло. Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика. Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шля1 Para b e 1 1 u m — готовься к войне (лат.). Произношение bellum (лат.) — война — сходно с bel homme (франц.) — красивый мужчина. 404

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он почувствовал уважение. И он спросил его:

— Что это значит — «Геркулес»?

— По-латыни это значит: черт меня побери,— ответил Баорель.

Тут он увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому, одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

— Живо патронов! *Para bellum*! [1]

— Красивый мужчина! Это верно,— сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа — студенты, художники, молодые люди, члены Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В толпе шел старик, с виду очень дряхлый. Оружия у него не было, но он старался не отставать, хотя, видимо, был погружен в свои мысли. Гаврош заметил его.

— Этшкое? — спросил он.

— Так, старичок.

То был Мабеф.

Глава пятая
СТАРИК

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шля-

пу он держал в руке. Курфейрак узнал папашу Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог: — Господин Мабеф! Идите домой. — Почему? — Начинается суматоха. — Отлично. — Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф. — Отлично. — Палить из пушек. — Отлично. А куда вы все идете? — Мы идем свергать правительство. — Отлично. И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки — он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо — как у спящего. — Что за странный старикан! — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца. Все это скопище вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел: Вот луна поднялась в небеса. — Не пора ли? Ложится роса,— Молвил Жан несговорчивой Жанне. Ту, ту, ту На Шату. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чтобы клюкнуть, — не смейтесь, друзья! — Встали до свету два воробья И росы налакались в тимьяне. 405

пу он держал в руке. Курфейрак узнал папашу Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

— Господин Мабеф! Идите домой.

— Почему?

— Начинается суматоха.

— Отлично.

— Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.

— Отлично.

— Палить из пушек.

— Отлично. А куда вы все идете?

— Мы идем свергать правительство.

— Отлично.

И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки — он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо — как у спящего.

— Что за странный старикан! — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.

Все это скопище вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

Вот луна поднялась в небеса.
— Не пора ли? Ложится роса,—
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Ту, ту, ту
На Шату.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.
Чтобы клюкнуть.— не смейтесь, друзья! —

Зи, за, зи На Пасси. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Точно пьяницы, в дым напились, Точно два петуха подрались,— Тигр от смеха упал на поляне. Дон, дон, дон На Медон. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чертыхались на все голоса. — Не пора ли? Ложится роса,— Молвил Жан несговорчивой Жанне. Тен, тен, тен На Пантен. Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. .Они направлялись к Сен-Мерри. Глава шестая НОВОБРАНЦЫ Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер ‘заметили его вызывающую, грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека. Свернув на Стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрака. — Это очень кстати, — сказал Курфейрак, — я забыл дома кошелек и потерял шляпу. Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу и кошелек и захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у gero в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница: — Господин де Курфейрак! — Привратница! Как вас зовут? — вместо ответа спросил Курфейрак. Привратница опешила. 406

Зи, за, зи
На Пасси.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.

Точно пьяницы, в дым напились,
Точно два петуха подрались,—
Тигр от смеха упал на поляне.
Дон, дон, дон
На Медон.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.

Чертыхались на все голоса.
—Не пора ли? Ложится роса,—
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Тен, тен, тен
На Пантен.
Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство.

Они направлялись к Сен-Мерри.

Глава шестая

НОВОБРАНЦЫ

Толпа увеличивалась с каждым мгновением. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую, грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и не обратил никакого внимания на этого человека.

Свернув на Стекольную улицу, толпа прошла мимо подъезда Курфейрака.

— Это очень кстати,— сказал Курфейрак,— я забыл дома кошелек и потерял шляпу.

Он оставил толпу и, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Он взял старую шляпу и кошелек и захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

— Господин де Курфейрак!

— Привратница! Как вас зовут? — вместо ответа

— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен. — Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело? Что такое? — Здесь кто-то вас спрашивает. — Кто такой? — Не знаю. — Где он? — • У меня, в привратницкой. — К черту! — крикнул Курфейрак. — Но он уже больше часа вас ждет, — заметила привратница. В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский. — Можно видеть господина Мариуса? — Его нет. — Вечером он вернется? — Не знаю, — ответил Курфейрак и прибавил: — А я не вернусь. Молодой человек пристально взглянул на него и спросил: — Почему? — Потому. — Куда же вы идете? — А тебе какое дело? — Можно мне понести ваш ящик? — Я иду на баррикаду. — Можно мне пойти с вами? — Как хочешь! — ответил Курфейрак. — Улица свободна, мостовые — для всех. И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними. Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная, каким образом, на улице Сен-Дени. 407

— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

— Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело? Что такое?

— Здесь кто-то вас спрашивает.

— Кто такой?

— Не знаю.

— Где он?

— У меня, в привратницкой.

— К черту! — крикнул Курфейрак.

— Но он уже больше часа вас ждет,— заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский.

— Можно видеть господина Мариуса?

— Его нет.

— Вечером он вернется?

— Не знаю,— ответил Курфейрак и прибавил: — А я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

— Почему?

— Потому.

— Куда же вы идете?

— А тебе какое дело?

— Можно мне понести ваш ящик?

— Я иду на баррикаду.

— Можно мне пойти с вами?

— Как хочешь! — ответил Курфейрак.—Улица свободна, мостовые — для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет туда, куда хочет. Мы уже говорили, что ее как бы несет ветер. Она миновала

Книга двенадцатая «КОРИНФ» Глава первая ИСТОРИЯ «КОРИНФА» СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона I с надписью: НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН Однако они не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал какихнибудь тридцать лет назад. Здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок «Коринф». Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света. Да будет нам позволено прибегнуть для ясности к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сен-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, приняв за вершину улицу Сен-Дени, а за основание — рынок; вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина — улицу Малую Бродяжную. Старая улица

Книга двенадцатая
«КОРИНФ»

Глава первая
ИСТОРИЯ «КОРИНФА» СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона I с надписью:

НАПОЛЕОН
ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН

Однако они не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет назад.

Здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок «Коринф».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, ныне покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам позволено прибегнуть для ясности к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сен-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, приняв за вершину улицу Сен-Дени, а за ос-

Мондетур перерезала все три линии буквы N под еа' мыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туаз, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени — с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников — с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, разной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке. Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной между фасадами домов тянулись подпиравшие их балки. Улица была узкая, а сточная канава — широкая; прохожие брели по мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто все это стерла. Название Мондетур 1 точно соответствует своенравию улицы. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, находящейся поблизости от улицы Мондетур. Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог предположить, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, через которые он мог выбраться наружу. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим — с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого подобия тупика, на углу правого прохода, стоял дом ниже остальных, мысом выдававшийся на улицу. В этом-то трехэтажном доме обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шум1 Мондетур — в буквальном переводе с французского значит — гора-извилина.

Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туаз, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени — с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников — с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, разной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной между фасадами домов тянулись подпиравшие их балки. Улица была узкая, а сточная канава — широкая; прохожие брели по мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто все это стерла.

Название Мондетур [1] точно соответствует своенравию улицы. Еще выразительнее говорит об этом название улицы *Пируэт,* находящейся поблизости от улицы Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог предположить, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, через которые он мог выбраться наружу. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим — с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого подобия тупика, на углу правого прохода, стоял дом ниже остальных, мысом выдававшийся на улицу.

В этом-то трехэтажном доме обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шум-

ным весельем то самое место, которому старик Теофиль посвятил двустишие: . Там качается страшный скелет — То повесился бедный влюбленный. Место для заведения было подходящее; заведение переходило от отца к сыну. Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет1. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил вывеску и велел под кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже не знал предания и приказал выкрасить столб в синий цвет. Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собой кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, вернее по лесенке, скрытой за незаметной дверью в большой зале второго этажа. Под крышей находились две каморки — приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой. Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, но вышел из него повар; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно — фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras2. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоз1 Pot aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Poteau rose (розовый столб). 2 Скоромными карпами (франц.). 410

ным весельем то самое место, которому старик Теофиль посвятил двустишие:

Там качается страшный скелет —
То повесился бедный влюбленный.

Место для заведения было подходящее; заведение переходило от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет [1]. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил вывеску и велел под кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже не знал предания и приказал выкрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собой кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, вернее по лесенке, скрытой за незаметной дверью в большой зале второго этажа. Под крышей находились две каморки — приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, но вышел из него повар; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно — фаршированных карпов, которых он называл *carpes au gras* [2]. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоз-

дями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись: Carpes ho gras. Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось: Carpe ho ras. При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубокомысленным советом. Оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая лишь затмить Карема, он сравнялся с Горацием ’. Поразительно также, что изречение означало еще: «Зайдите в мой кабачок». Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, уже не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто. Как мы уже упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантер. Он зашел туда, привлеченный надписью Carpe horas, и возвратился ради carpes au gras. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили, — здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк. Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка — забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И, тем не менее, мы настаиваем на том, что здесь всякого ожидал радушный прием. Чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой 'Carpe horas (лат.). — лови часы — напоминает известную строчку Горация: Carpe diem — лови день. 411

дями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву *s*, которой кончалось первое слово, и *g*, которой начиналось третье, после чего осталось:

Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубокомысленным советом.

Оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая лишь затмить Карема, он сравнялся с Горацием [1]. Поразительно также, что изречение означало еще: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, уже не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы уже упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантер. Он зашел туда, привлеченный надписью *Carpe horas*, и возвратился ради *carpes au gras*. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили,— здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка — забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И, тем не менее, мы настаиваем на том, что здесь всякого ожидал радушный прием. Чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой

для молодых людей, приглашавших туда друг друга так: «Нука пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать!» Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает чихание. Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание. В 1830 году Гюшлу умер. Вместе с ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшалась, она стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф»,— «из жалости», как говорил Боссюэ. Тетушка Гюшлу была грузновата, страдала одышкой и любила предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Эти воспоминания благодаря ее произношению были свободны от слащавости. Она умела приправить остреньким свои размышления о весенней поре ее жизни, когда она жила в деревне. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярышника, и ничего мне на свете не нужно», — рассказывала тетушка Гюшлу. Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; здесь же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа. Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было четверостишие в честь хозяйки Гюшлу: В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она. В ее ноздре волосатой бородавка большая видна. Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет, И нос ее крючковатый провалится в черный рот 412

для молодых людей, приглашавших туда друг друга так: «Ну-ка пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать!» Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. Вместе с ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшалась, она стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф»,— «из жалости», как говорил Боссюэ.

Тетушка Гюшлу была грузновата, страдала одышкой и любила предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Эти воспоминания благодаря ее произношению были свободны от слащавости. Она умела приправить остреньким свои размышления о весенней поре ее жизни, когда она жила в деревне. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярышника, и ничего мне на свете не нужно»,— рассказывала тетушка Гюшлу.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; здесь же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.

Это было написано углем на стене. Госпожа Гюшлу, очень похожая на свой портрет, написанный поэтом, с утра до вечера невозмутимо ходила мимо этих стихов. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами *, помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, бьда безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатическим бледным лицом, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, если можно так выразиться — пораженная хронической усталостью, вставала первая, ложилась последняя, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной, усталой, сон-* ной улыбкой. У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака: Коли можешь — угости, Коли смеешь — сам поешь. Глава вторая ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ВЕСЕЛАЯ ПОПОЙКА Легль из Мо, как известно, обретался главным об-, разом у Жоли. Он находил жилье, так же, как птица — на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти Мюдикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного Дасморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поноiiiенный, Жоли был одет хорошо. Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа». 1 Matelote (матлот) — рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) — фрикасе из кролика. 413

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, очень похожая на свой портрет, написанный поэтом, с утра до вечера невозмутимо ходила мимо этих стихов. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами [1], помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатическим бледным лицом, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, если можно так выразиться — пораженная хронической усталостью, вставала первая, ложилась последняя, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной, усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

Коли можешь — угости,
Коли смеешь — сам поешь.

Глава вторая
ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ВЕСЕЛАЯ ПОПОЙКА

Легль из Мо, как известно, обретался главным образом у Жоли. Он находил жилье, так же, как птица — на любой ветке. Друзья жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общее, даже отчасти Мюдикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был одет хорошо.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж. Их встретили Матлота и Жиблота. — Устриц, сыру и ветчины, — приказал Легль. Они сели за стол. В кабачке, кроме них, никого больше не было. Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол. Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк и чей-то голос произнес: — Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел. То был Грантер. Он взял табурет и сел за стол. Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина. Итого — три. — Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Грантера Легль. — Тут все люди с умом, один ты недоумок, — ответил Грантер. — Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину? Друзья начали с еды, Грантер — с вина. Полбутылки было живо опорожнено. — Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль. — Дыра у тебя на локте,— отрезал Грантер и, допив стакан, прибавил: — Да, да, Легль, орел надгробных речей, сюртукто у тебя старехонек. — Надеюсь, — сказал Легль. — Мы живем дружно — мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я егб чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — это старый друг. — Вод эдо правда! — вступив в разговор, воскликнул Жоли. — Сдарый сюрдук — все равдо, что сдарый друг. — Особенно в устах человека с насморком, — согласился Грантер. — Ты с бульвара, Грантер? — спросил Легль. — Нет. — А мы с Жоли видели начало шествия. — Чудесдое зрелище! — заметил Жоли. 414

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

— Устриц, сыру и ветчины,— приказал Легль.

Они сели за стол.

В кабачке, кроме них, никого больше не было.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова просунулась в люк и чей-то голос произнес:

— Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантер.

Он взял табурет и сел за стол.

Жиблота, увидев Грантера, поставила на стол две бутылки вина.

Итого — три.

— Ты разве собираешься выпить обе бутылки?— спросил Грантера Легль.

— Тут все люди с умом, один ты недоумок,— ответил Грантер.— Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантер — с вина. Полбутылки было живо опорожнено.

— Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль.

— Дыра у тебя на локте,— отрезал Грантер и, допив стакан, прибавил:

— Да, да, Легль, орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старехонек.

— Надеюсь,— сказал Легль.— Мы живем дружно — мой сюртук и я. Он принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — это старый друг.

— Вод эдо правда! — вступив в разговор, воскликнул Жоли.— Сдарый сюрдук — все равдо, что сдарый друг.

— Особенно в устах человека с насморком,— согласился Грантер.

— Ты с бульвара, Грантер? — спросил Легль.

— Нет.

— А как спокойно на этой улице! — воскликнул Легль. — Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список и аббат Лебеф тоже. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами... Их расплодилось видимо-невидимо. — Не будем говорить о монахах, — прервал Грантер,— от этого хочется чесаться. Тут его вдруг как прорвало: — Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек — двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она, презренное существо, была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика и молодого щеголя; кошки, охотятся и за мышами и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт — символ любви, 415

— А как спокойно на этой улице! — воскликнул Легль.— Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список и аббат Лебеф тоже. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поля, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами... Их расплодилось видимо-невидимо.

— Не будем говорить о монахах,— прервал Грантер,— от этого хочется чесаться.

Тут его вдруг как прорвало:

— Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек — двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она, презренное существо, была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами и за птицами. Не прошло и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде. Она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Утром я встретил жертву развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусени-

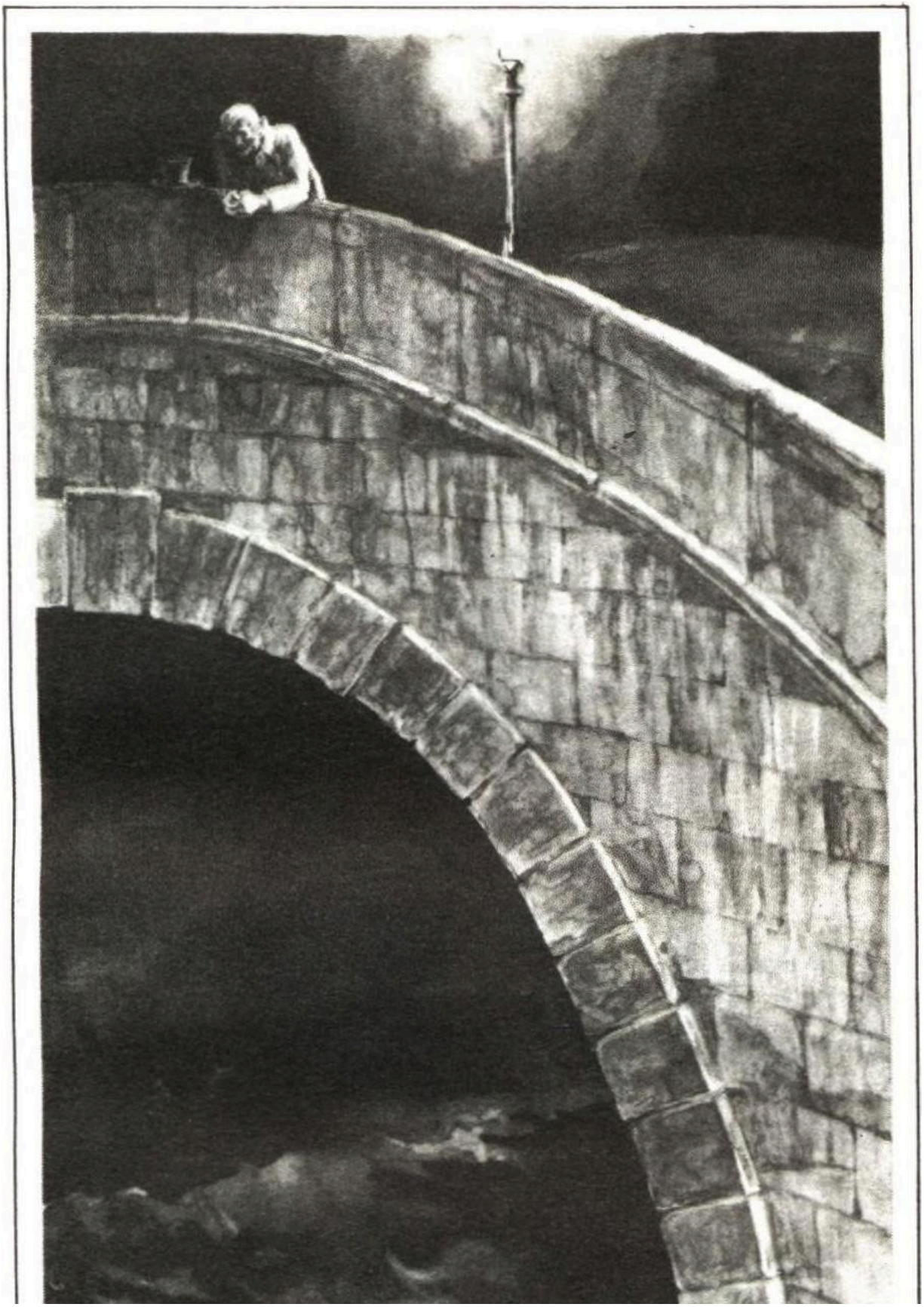
лавр — символ войны, оливу, эту глупышку, — символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу — эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите — право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся »а Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума — наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Бренн взял Рим. После этого он воскликнул: V ae victis!1 Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже подирает! Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантер выпил — ни он, ни его друзья как будто и не заметили этого, — и продолжал разглагольствовать: — Бренн, завладевающий Римом, — орел; банкир, завладевающий гризеткой, — орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, — не важно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революция, живо! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, приводится в движение двумя двигателями: людьми и событиями. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей долж1 Горе побежденным! (лат:). 416

лавр — символ войны, оливу, эту глупышку,— символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу — эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите — право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума — наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Бренн взял Рим. После этого он воскликнул: *V ae victis!*[1] Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже подирает!

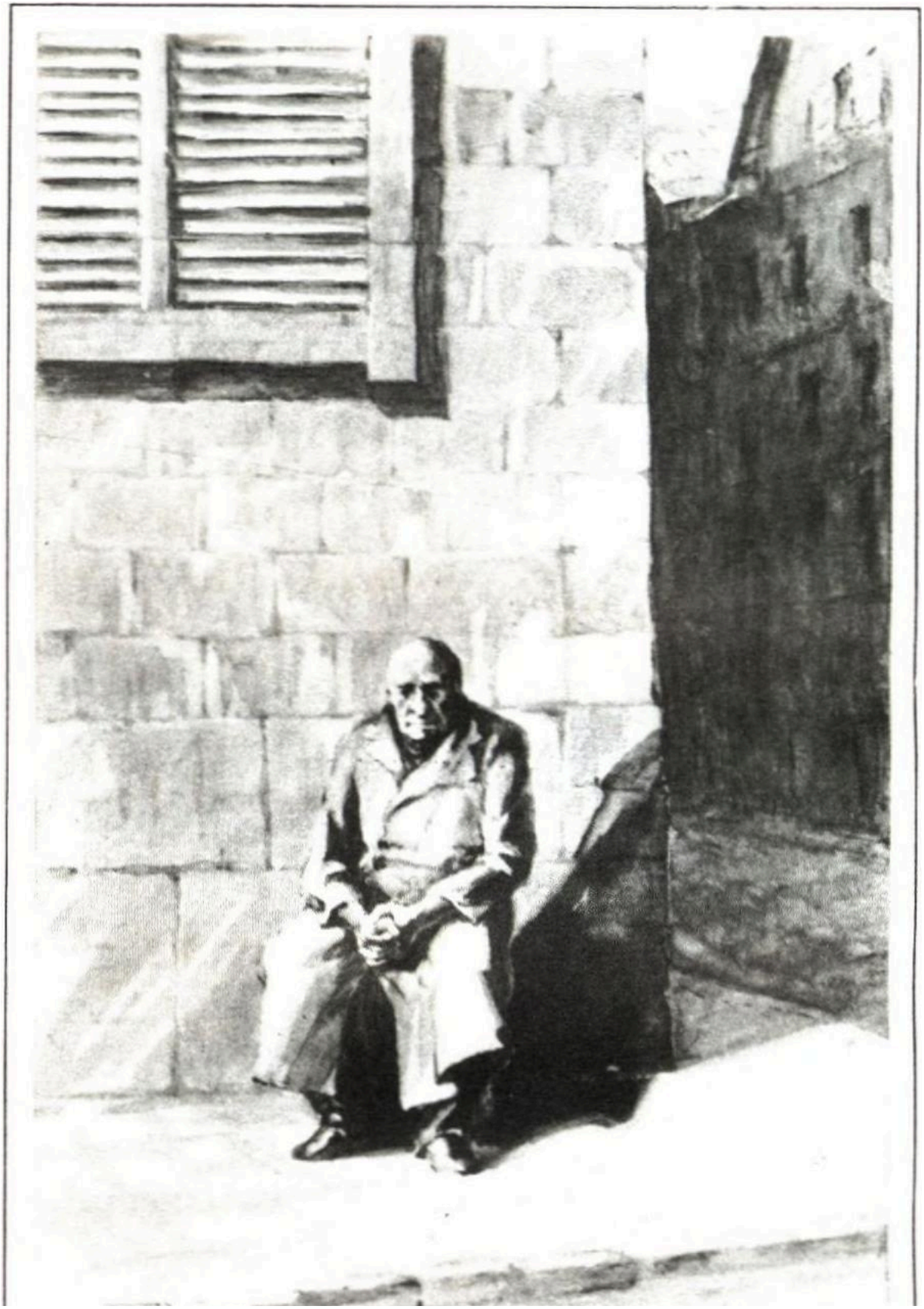
Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантер выпил — ни он, ни его друзья как будто и не заметили этого,— и продолжал разглагольствовать:

— Бренн, завладевающий Римом,— орел; банкир, завладевающий гризеткой,— орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис,— не важно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Революция, живо! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, не прибегая к запасным средствам и экстраординарным мизансценам. То, что иные прочие называют прогрессом, приводится в движение двумя двигателями: людьми и событиями. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для

Жавер наклонил голову и заглянул вниз. Все было черно.



Лицо его выражало одну-единственную мысль: *К чему?»



ны быть гении, а меж событии — революции. Чрезвычайные события — это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог — кометой. Трах! — и вот северное сияние, вот — революция, вот — великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки — Наполеон, наверху афиши — комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными, сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Тут все в беспорядке — и светила и пьеса. Бог мой! Это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья! Провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция — что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская протерта до самой веревочной основы, чему свидетель — повесившийся принц Конде; видя, что зима — не что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы — этот поддельный жемчуг; видя иней — этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я начинаю думать, что бог не богат. Правда, у него есть 14. «Отверженные», т. 2. 417

ны быть гении, а меж событий — революции. Чрезвычайные события — это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает на стене небесного свода блуждающее светило. Появляется какая-то чудная звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог — кометой. Трах! — и вот северное сияние, вот — революция, вот — великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки — Наполеон, наверху афиши — комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными, сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Тут все в беспорядке — и светила и пьеса. Бог мой! Это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, как будто бы свидетельствуют о великолепии, но означают скудость. Друзья! Провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция — что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это укрепляет в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя, что наша человеческая доля, даже доля королевская протерта до самой веревочной основы, чему свидетель — повесившийся принц Конде; видя, что зима — не что иное, как прореха в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы — этот поддельный жемчуг; видя иней — этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я на-

видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, - когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите: сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось. Вселенная только дразнит. Все равно, как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут бить друг другу морды, резать друг друга,

видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите: сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось. Вселенная только дразнит. Все равно, как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему так плохо относятся к туркам; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар — неимоверная глупость.

и когда же? — в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают! После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля. — Кстати, о революции, — сказал Жоли, — виддо Бариус влюблед по-датстоящему. — А в кого, не знаешь? — спросил Легль. — Дет. — Нет? — Я же тебе говорю — дет! — Любовные истории Мариуса! — воскликнул Грантер. — Мне все известно заранее. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. Timbroeus Apollo'. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, — должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд. Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный. Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо. 1 Тимбрейский Аполлон (лат.).

и когда же? — в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!

После этого прилива красноречия Грантер стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

— Кстати, о революции,— сказал Жоли,— виддо Бариус влюблед по-датстоящему.

— А в кого, не знаешь? — спросил Легль.

— Дет.

— Нет?

— Я же тебе говорю — дет!

— Любовные истории Мариуса! — воскликнул Грантер.— Мне все известно заранее. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. *Timbroeus Apollo*[1]. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион,— должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю себе их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

Грантер уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

— Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он. — Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль,— Что тебе надо? — Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» — «Да, — говорю я, — на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и сюжетъ ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су. — Жоли! Дай мне взаймы десять су, — сказал Легль: потом повернулся к Грантеру: — Грантер! Дай мне взаймы десять су. Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику. — Благодарю вас, сударь,— сказал тот. — Как тебя зовут? — спросил Легль. — Наве. Я приятель Гавроша. — Оставайся с нами, — сказал Легль. — Позавтракай с нами, — сказал Грантер. — Не могу, — ответил мальчик, — я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!» Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился. Когда мальчик ушел, взял слово Грантер: — Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гаменморяк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем. Легль между тем размышлял; потом сказал вполголоса: — «Азбука», иначе говоря — «Похороны Ламарка». — А высокий блондин — это Анжольрас, уведомивший тебя, — установил Грантер. — Пойдем? — спросил Боссюэ. — Да улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся идти в огонь, до де в воду. Я де хочу простудиться. 420

— Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он.

— Это мое уменьшительное имя,— ответил Легль.— Что тебе надо?

— Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» — «Да,— говорю я,— на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

— Жоли! Дай мне взаймы десять су,— сказал Легль: потом повернулся к Грантеру: — Грантер! Дай мне взаймы десять су.

Так составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

— Благодарю вас, сударь,— сказал тот.

— Как тебя зовут? — спросил Легль.

— Наве. Я приятель Гавроша.

— Оставайся с нами,— сказал Легль.

— Позавтракай с нами,— сказал Грантер.

— Не могу,— ответил мальчик,— я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

Отставив ногу как можно дальше назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантер:

— Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гамен-моряк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем.

Легль между тем размышлял; потом сказал вполголоса:

— «Азбука», иначе говоря — «Похороны Ламарка».

— А высокий блондин — это Анжольрас, уведомивший тебя,— установил Грантер.

— Я остаюсь здесь, — сказал Грантер.— Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам. — Короче, мы остаемся,— заключил Легль.— Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа. — А, бятеж! Я за дего! — воскликнул Жоли. Легль потер себе руки и сказал: — Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками. — Для меня она почти безразлична, ваша революция, — сказал Грантер. — Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укрощенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт — против дождя. В зале стало темно, тяжелые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события». — Полдень сейчас или полночь? — вскричал Боссюэ,— Ничего не видно. Жиблота, огня! Грантер мрачно продолжал пить. — Анжольрас презирает меня,— бормотал он,— Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантер пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я бы с ним пошел. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны. Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи: одна — в медном позеленевшем подсвечнике, другая — в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у*Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа. После полудня Грантер бросил пить вино — этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Опьянению сопутствует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантер был великий охотник до зелья 421

— Я остаюсь здесь,— сказал Грантер.— Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.

— Короче, мы остаемся,— заключил Легль.— Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

— А, бятеж! Я за дего! — воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

— Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.

— Для меня она почти безразлична, ваша революция,— сказал Грантер.— Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укрощенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт — против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».

— Полдень сейчас или полночь? — вскричал Боссюэ.— Ничего не видно. Жиблота, огня!

Грантер мрачно продолжал пить.

— Анжольрас презирает меня,— бормотал он.— Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантер пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я бы с ним пошел. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантер остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи: одна — в медном позеленевшем подсвечнике, другая — в горлышке треснувшего графина. Грантер пробудил у Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантеру вновь обрести веселое расположение духа.

После полудня Грантер бросил пить вино — этот жалкий источник грез. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Опьянению сопутствует черная и белая магия: вино всего лишь бе-

грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа — этот небесный мотылек — тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей. Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Боссюэ и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. С важным видом опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и, обращаясь к толстухе Матлоте, произносил торжественную тираду: — Да откроются ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем! Повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил: — О женщина античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя! А Жоли кричал: — Батлота и Жиблбта, де давайте больше пить Градтеру. Од истратил субасшедшие дедьги. Од с утра уже прожрал с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов! А Грантер все вопил: — Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей? Упившийся Боссюэ сохранял обычное спокойствие. Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей. Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обер422

грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа — этот небесный мотылек — тонет в нем, и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает неясные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантер еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, а Боссюэ и Жоли тоже весело чокались с ним. Грантер подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. С важным видом опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и, обращаясь к толстухе Матлоте, произносил торжественную тираду:

— Да откроются ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

Повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

— О женщина античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!

А Жоли кричал:

— Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтеру. Од истратил субасшедшие дедьги. Од с утра уже прожрал с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!

А Грантер все вопил:

— Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?

Упившийся Боссюэ сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих

нулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними. Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул: — Курфейрак, Курфейрак! Ого-го! Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ. — Строить баррикаду, — ответил Курфейрак. — Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь! — Правильно, Орел, — ответил Курфейрак. И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери. Глава третья НА ГРАНТЕРА НАЧИНАЕТ ОПУСКАТЬСЯ НОЧЬ Место действительно было указано превосходное: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала. При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, с первого этажа до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. — Боже мой! Боже мой! — вздыхала тетушка Г'юшлу. 423

нулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

— Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

— Строить баррикаду,— ответил Курфейрак.

— Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

— Правильно, Орел,— ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.

Глава третья

НА ГРАНТЕРА НАЧИНАЕТ ОПУСКАТЬСЯ НОЧЬ

Место действительно было указано превосходное: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого скопища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, с первого этажа до самой крыши. Перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку. Жоли, высунувшись в окно, кричал: — Курфейрак! Почебу ты без зодтика? Ты простудишься! В течение нескольких минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски торговца известью Ансо; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая. Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота таскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино,— словно во сне. В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми. Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде. — Омнибусы, — сказал он,— не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum *. Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы. Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже. 1 Не всем дано достигнуть Коринфа (лат.). — античная поговорка. 424

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

— Курфейрак! Почебу ты без зодтика? Ты простудишься!

В течение нескольких минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски торговца известью Ансо; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. Балки, подпиравшие соседний дом, были положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота таскала для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино,— словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

— Омнибусы,— сказал он,— не проходят перед «Коринфом». *Non licet omnibus adire Corinthum* [1].

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки. — Светопреставление, — бормотала она. Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной, морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантеру: — Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым. Но Грантер продолжал покорять высоты дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся на второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна. — Матлота безобразна! — кричал он. — Матлота — идеал безобразия. Матлота — химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу — старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи! Мы свалим правительство, — это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа! Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я, Грантер, — добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовника! — Замолчи, пивная бочка! — сказал Курфейрак. 425

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо выла. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

— Светопреставление,— бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной, морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантеру:

— Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым.

Но Грантер продолжал покорять высоты дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся на второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

— Матлота безобразна! — кричал он.— Матлота — идеал безобразия. Матлота — химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу — старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи! Мы свалим правительство,— это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа! Отец презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я, Грантер,— добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки —

— Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! — с важностью ответил Грантер. Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, пбднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрйс, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем. — Грантер! — крикнул он — - Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду. Эти гневные слова произвели на Грантера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал: — Позволь мне поспать здесь. — Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжольрас. Но Грантер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил: — Позволь мне тут поспать, пока я не умру. Анжольрас презрительно взглянул на него. — Грантер! Ты неспособен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать. — Вот ты увидишь, — серьезно сказал Грантер. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжольрас. Глава четвертая ПОПЫТКА УТЕШИТЬ ТЕТУШКУ ГЮШЛУ Баорель, в восторге от баррикады, кричал: — Вот улица и декольтирована! Любо смотреть! Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика: — Тетушка Гюшлу! Вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно? 426

— Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! — с важностью ответил Грантер.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

— Грантер! — крикнул он.— Пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду.

Эти гневные слова произвели на Грантера необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал:

— Позволь мне поспать здесь.

— Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжольрас.

Но Грантер, не сводя с него нежного и мутного взгляда, проговорил:

— Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

— Грантер! Ты неспособен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

— Вот ты увидишь,— серьезно сказал Грантер.

Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которому его резко и безжалостно подтолкнул Анжольрас.

Глава четвертая

ПОПЫТКА УТЕШИТЬ ТЕТУШКУ ГЮШЛУ

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

— Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

— Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность! — Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас. Но тетушка Гюшлу, кажется, не очень ясно понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец! — сказала она. — Ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» — «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене». Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, дватри карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их лавочник из СентАнтуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоявший против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах — Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной. Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая — улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника. Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке С кавалерийской саблей и двумя седельными 427

— Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!

— Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не очень ясно понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец! — сказала она.— Ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» — «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два-три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоявший против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах — Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; бóльшая замыкала улицу Шанврери, а другая — улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудли-

пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе, с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Один кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. И при этом какая разница в возрасте, какие разные лица у бледных подростков, у загорелых портовых рабочих! Все торопились и, помогая друг другу, говорили о надежде на успех, о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что поднимется весь Париж. То были страшные слова, к которым примешивалось сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали, как кого зовут. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых. На кукне развели огонь, в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсули и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившись от страха: одна — отупев, другая — избегавшись, третья — проснувшись, рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев, — трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина. Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус. Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу наладить дело. Он сновал взад и вперед, поднимался, спускался, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для то

пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе, с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Один кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. И при этом какая разница в возрасте, какие разные лица у бледных подростков, у загорелых портовых рабочих! Все торопились и, помогая друг другу, говорили о надежде на успех, о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что поднимется весь Париж. То были страшные слова, к которым примешивалось сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали, как кого зовут. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.

На кухне развели огонь, в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсули и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившись от страха: одна — отупев, другая — избегавшись, третья — проснувшись, рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев,— трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу наладить дело. Он сновал взад и вперед

го, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, — его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, — его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он никому не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку, — настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции. Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики: — Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада — это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь! Один из работавших воскликнул: — Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь? — Подумаешь, сам богатырь! — отпарировал Гаврош. — Застекленная дверь на баррикаде — превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду! Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели! Гавроша бесил его пистолет без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: • — Ружье, дайте ружье! Почему мне не даю г ружья? 429

го, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно,— его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно,— его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он никому не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку,— настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:

— Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада — это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

— Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

— Подумаешь, сам богатырь! — отпарировал Гаврош.— Застекленная дверь на баррикаде — превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду! Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Гавроша бесил его пистолет без собачки. Он хо-

— Ружье, тебе? — удивился Комбефер. — Вот те на! — возмутился Гаврош. — А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым, і Анжольрас пожал плечами. — Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям. Гаврош гордо повернулся к нему и объявил: — Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое. — Мальчишка! — крикнул Анжольрас. — Молокосос! — не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улиты, отвлек его внимание. Гаврош крикнул: — Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки-родины? Неужели нет желания ей помочь? Щеголь поспешил скрыться. Глава пятая ПОДГОТОВКА Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показыйаться над заграждением и даже взбираться на верхушку при помощи четырех рядов камней, положенных один на другой и образовывавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной. Между стеной дома и самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек, — таким образом, выход был возможен. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

— Ружье, тебе? — удивился Комбефер.

— Вот те на! — возмутился Гаврош.— А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

— Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

— Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

— Мальчишка! — крикнул Анжольрас.

— Молокосос! — не остался в долгу Гаврош.

Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание.

Гаврош крикнул:

— Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки-родины? Неужели нет желания ей помочь?

Щеголь поспешил скрыться.

Глава пятая

ПОДГОТОВКА

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку при помощи четырех рядов камней, положенных один на другой и образовывавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек,— таким образом, выход был возможен. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над барри-

Малая баррикада Мондетур, скрытая за кабачком, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения, желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников. Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами. Вся работа была произведена без помехи, меньше чем за час; перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду. Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина. Курфейрак раздавал их улыбаясь. Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в сторонке на столе у дверей, и его не тронули, оставив про запас. Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце кон431

Малая баррикада Мондетур, скрытая за кабачком, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения, желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи, меньше чем за час; перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в сторонке на столе у дверей, и его не тронули, оставив про запас.

цов в однообразный шум, уже не привлекали внимания. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами. Все не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых: одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной. А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда, одни на этих страшных безлюдных улицах, одни, среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать. Глава шестая В ОЖИДАНИИ Что делали они в часы ожидания? Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории. Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные, с оружием в руках, наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи. Какие стихи? Вот они: Ты помнишь ту пленительную пору, Когда клокочет молодостью кровь И жизнь идет не под гору, а в гору,— Костюм поношен, но свежа любовь. 432

цов в однообразный шум, уже не привлекали внимания. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых: одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда, одни на этих страшных безлюдных улицах, одни, среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

Глава шестая

В ОЖИДАНИИ

Что делали они в часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные, с оружием в руках, наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

Ты помнишь ту пленительную пору,
Когда клокочет молодостью кровь

Мы не могли начислить даже сорок, К твоим годам прибавив возраст мой. А как нам был приют укромный дорог, Где и зима казалась нам весной! Наш Манюэль тогда был на вершине, Париж свято справил торжество, Фуа гремел, й я храню доныне Булавку из корсажа твоего. Ты всех пленяла. Адвокат без дела, Тебя водил я в Прадо на обед. И даже роза в цветниках бледнела, Завистливо косясь тебе вослед. Цветы шептались: «Боже, как прелестна! Какой румянец! А волос волна! Иль это ангел низошел небесный. Иль воплотилась в девушку весна?» И мы, бывало, под руку гуляем, И нам в лицо глядят с улыбкой все. Как бы дивясь, что рядом с юным маем Апрель явился в праздничной красе. Все было нам так сладостно, так ново! Любовь! любовь! Запретный плод и цвет! Бывало, молвить не успею слово, Уже мне сердцем ты даешь ответ. В Сорбонне был приют мой безмятежный, Где о тебе всечасно я мечтал. Где пленным сердцем карту Страсти нежной Я перенес в студенческий квартал. И каждый день заря нас пробуждала В душистом нашем, свежем уголке. Надев чулки, ты ножками болтала. Звезда любви — на нищем чердаке! В те дни я был поклонником Платона, Мальбранш и Ламенне владели мной. Ты, приходя с букетом, как Мадонна, Сияла мне небесной красотой. О наш чердак! Мы, как жрецы, умели Друг другу в жертву приносить сердца! Как, по утрам, в сорсчке встав а постели, Ты в зеркальце гляделась без конца! Забуду ли те клятвы, те объятья. Восходом озаренный небосклон, Цветы и ленты, газовое платье, Речей любви пленительный жаргон! 433

Мы не могли начислить даже сорок,
К твоим годам прибавив возраст мой.
А как нам был приют укромный дорог,
Где и зима казалась нам весной!

Наш Манюэль тогда был на вершине,
Париж свято справил торжество,
Фуа гремел, и я храню доныне
Булавку из корсажа твоего.

Ты всех пленяла. Адвокат без дела,
Тебя водил я в Прадо на обед.
И даже роза в цветниках бледнела,
Завистливо косясь тебе вослед.

Цветы шептались: «Боже, как прелестна!
Какой румянец! А волос волна!
Иль это ангел низошел небесный,
Иль воплотилась в девушку весна?»

И мы, бывало, под руку гуляем,
И нам в лицо глядят с улыбкой все,
Как бы дивясь, что рядом с юным маем
Апрель явился в праздничной красе.

Все было нам так сладостно, так ново!
Любовь! любовь! Запретный плод и цвет!
Бывало, молвить не успею слово,
Уже мне сердцем ты даешь ответ.

В Сорбонне был приют мой безмятежный,
Где о тебе всечасно я мечтал,
Где пленным сердцем карту Страсти нежной
Я перенес в студенческий квартал.

И каждый день заря нас пробуждала
В душистом нашем, свежем уголке.
Надев чулки, ты ножками болтала,
Звезда любви — на нищем чердаке!

В те дни я был поклонником Платона,
Мальбранш и Ламенне владели мной.
Ты, приходя с букетом, как Мадонна,
Сияла мне небесной красотой.

О наш чердак! Мы, как жрецы, умели
Друг другу в жертву приносить сердца!
Как, по утрам, в сорочке встав с постели,
Ты в зеркальце гляделась без конца!

Забуду ли те клятвы, те объятья,
Восходом озаренный небосклон,
Цветы и ленты, газовое платье,

Считали садом мы горшок с тюльпаном. Окну служила юбка вместо штор. Но я, простым довольствуясь стаканом. Тебе японский подносил фарфор. И смехом все трагедии кончались: Рукав сожженный иль пропавший плед! Однажды мы с Шекспиром распрощались. Продав портрет, чтоб раздобыть обед. И каждый день мы новым счастьем пьяны, И поцелуям новый счет я вел. Смеясь, уничтожали мы каштаны, Огромный Данте заменял нам стол. Когда впервые, уловив мгновенье, Твой поцелуй ответный я сорвал, И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье,— Как побледнев, я небо призывал! Ты помнишь эти радости, печали, Разорванных косынок лоскуты, Ты помнишь все, чем жили, чем дышали. Весь этот мир, все счастье — помнишь ты? Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, — мы о нем упоминали, — был чувствительным поэтом. Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья. Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем. Этот свет придавал багрецу знамени зловещий кровавый отблеск. 434

Считали садом мы горшок с тюльпаном,
Окну служила юбка вместо штор,
Но я, простым довольствуясь стаканом,
Тебе японский подносил фарфор.

И смехом все трагедии кончались:
Рукав сожженный иль пропавший плед!
Однажды мы с Шекспиром распрощались,
Продав портрет, чтоб раздобыть обед.

И каждый день мы новым счастьем пьяны,
И поцелуям новый счет я вел.
Смеясь, уничтожали мы каштаны,
Огромный Данте заменял нам стол.

Когда впервые, уловив мгновенье,
Твой поцелуй ответный я сорвал,
И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье,—
Как побледнев, я небо призывал!

Ты помнишь эти радости, печали,
Разорванных косынок лоскуты,
Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,
Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий — все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который,— мы о нем упоминали,— был чувствительным поэтом.

Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой—один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Глава седьмая ЧЕЛОВЕК, ЗАВЕРБОВАННЫЙ НА ЩЕПНОЙ УЛИЦЕ Наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч. Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, — тот занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах. В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и сел за наименее освещенный стол. При распределении оружия ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, не замечал этого человека. Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально взглянул на него, потом, когда человек сел, мальчишка опять вскочил. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали издавна известные гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал 435

Глава седьмая

ЧЕЛОВЕК, ЗАВЕРБОВАННЫЙ НА ЩЕПНОЙ УЛИЦЕ

Наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем,—тот занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами.

Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и сел за наименее освещенный стол. При распределении оружия ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально взглянул на него, потом, когда человек сел, мальчишка опять вскочил. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали издавна известные гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он!

шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу— свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, поражен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош сделал важное открытие. В самый разгар его усиленных размышлений к нему подошел Анжольрас. — Ты маленький,— сказал Анжольрас, — тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит. Гаврош выпрямился. — Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим... Подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы: — Вы хорошо видите этого верзилу? — Ну и что же? — Это сыщик. — Ты уверен? — Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом. Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали за столом, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него. Анжольрас подошел к нему и спросил: — Кто вы такой? При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно себе представить, и с высокомерным видом ответил:

шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу—свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, поражен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош сделал важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему подошел Анжольрас.

— Ты маленький,—сказал Анжольрас,—тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

— Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим...

Подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы:

— Вы хорошо видите этого верзилу?

— Ну и что же?

— Это сыщик.

— Ты уверен?

— Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали за столом, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Анжольрас подошел к нему и спросил:

— Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнул-

— Я вижу, что... Ну да! — Вы сыщик? — Я представитель власти. — Ваше имя? — Жавер. Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан. У него нашли круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции, с оттиснутой вокруг надписью «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой — «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и с подписью тогдашнего префекта полиции Жиске. Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумагѣ. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции: «Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться путем особого розыска, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста». Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоявшему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку. Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал: — Вот мышь и поймала кота. Рабочие действовали так проворно, что когда о поимке сыщика узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу. Жавер, стоявший у столба и так опутанный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с 437

— Я вижу, что... Ну да!
— Вы сыщик?
— Я представитель власти.
— Ваше имя?
— Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции, с оттиснутой вокруг надписью «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой — «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и с подписью тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться путем особого розыска, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоявшему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал:

— Вот мышь и поймала кота.

Рабочие действовали так проворно, что когда о поимке сыщика узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так опутанный веро-

неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека. — Это сыщик, — сказал Анжольрас. И, обернувшись к Жаверу, добавил: — Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята. Жавер с высокомерным видом спросил: — Почему же не сейчас? — Мы бережем порох. — В таком случае прикончите меня ударом ножа. — Шпион! — сказал красавец Анжольрас. — Мы судьи, а не убийцы. Затем он позвал Гавроша: — Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал. — Иду! — крикнул Гаврош. Уже на пороге он сказал: — Кстати, вы мне отдадите его ружье! И прибавил: — Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет. Мальчик с сияющим лицом отдал честь по-военному и юркнул в проход большой баррикады. Глава восьмая НЕСКОЛЬКО ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ПО ПОВОДУ НЕКОЕГО КАБЮКА, КОТОРЫЙ, БЫТЬ МОЖЕТ, И НЕ ЗВАЛСЯ КАБЮКОМ Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения, сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического, чудовищного ужаса случай, происшедший тотчас после ухода Гавроша. Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине

неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

— Это сыщик,— сказал Анжольрас.

И, обернувшись к Жаверу, добавил:

— Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

Жавер с высокомерным видом спросил:

— Почему же не сейчас?

— Мы бережем порох.

— В таком случае прикончите меня ударом ножа.

— Шпион!—сказал красавец Анжольрас.— Мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

— Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.

— Иду!— крикнул Гаврош.

Уже на пороге он сказал:

— Кстати, вы мне отдадите его ружье!

И прибавил:

— Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик с сияющим лицом отдал честь по-военному и юркнул в проход большой баррикады.

Глава восьмая

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ПО ПОВОДУ НЕКОЕГО КАБЮКА, КОТОРЫЙ, БЫТЬ МОЖЕТ, И НЕ ЗВАЛСЯ КАБЮКОМ

Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения, сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического, чудовищного ужаса случай, происшедший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где не спрашивают, кто откуда при-

куртку грузчика; он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кабюком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом; этот стол они вытащили из кабачка. Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал: — Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда — черта с два!— никто не пройдет по улице! — Да, но дом заперт,— возразил один из его собутыльников. — А мы постучимся. — Не откроют. — Высадим дверь! Кабюк бежит к двери, возле которой висит увесистый молоток, и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ ни звука. — Есть тут кто-нибудь? — кричит Кабюк. Никаких признаков жизни. Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, — настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась. Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника. Кабюк перестал стучать. — Что вам угодно, господа?— спросил привратник. — Отворяй!— потребовал Кабюк. — Это невозможно, господа. — Отворяй сейчас же! — Нельзя, господа! 439

куртку грузчика; он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кабюком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом; этот стол они вытащили из кабачка. Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

— Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда — черта с два!—никто не пройдет по улице!

— Да, но дом заперт,—возразил один из его собутыльников.

— А мы постучимся.

— Не откроют.

— Высадим дверь!

Кабюк бежит к двери, возле которой висит увесистый молоток, и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ ни звука.

— Есть тут кто-нибудь?— кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой,—настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

— Что вам угодно, господа?—спросил привратник.

— Отворяй!— потребовал Кабюк.

— Это невозможно, господа.

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, tô привратник этого не видел. — Ты отворишь? Да или нет? — Нет, господа! — Ты говоришь — нет? — Я говорю, — нет, милостивые... Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше. —Так!— сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую. Едва он произнес это слово, как почувствовал чьюто руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос: — На колени! Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет. Он пришел на звук выстрела. Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка. — На колени! — повторил он. Властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой. Бледный, с голой шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении древнего мира, должно было быть у правосудия. Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль; то, что им предстояло увидеть, было так страшно, что никто из них- не мог вымолвить ни слова. Поверженный Кабюк не пытался отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы. - 440

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

— Ты отворишь? Да или нет?

— Нет, господа!

— Ты говоришь — нет?

— Я говорю,— нет, милостивые...

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.

—Так!— сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

— На колени!

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

— На колени!— повторил он.

Властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой.

Бледный, с голой шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении древнего мира, должно было быть у правосудия.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль; то, что им предстояло увидеть, было так страшно, что ни-

— Соберись с духом, — сказал он. — Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута. — Пощадите!— пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов. Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив Й волосы Кабюка, который, корчась и воя, жался к Йо коленям, приблизил к его уху дуло пистолета. Мнбгие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись. Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом. Потом толкнул ногою труп и сказал: — Выбросьте это вон. Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мондетур. Анжольрас стоял задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли. — Граждане! — сказал Анжольрас. — То, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, — ужасно. Он убил — вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил. Слушавшие содрогнулись. — Мы разделим твою участь, — крикнул Комбефер. — Пусть так, — ответил Анжольрас. — Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость — чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. 441

— Соберись с духом,— сказал он.— Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

— Пощадите!— пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, корчась и воя, жался к его коленям, приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом толкнул ногою труп и сказал:

— Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

— Граждане!— сказал Анжольрас.— То, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я,—ужасно. Он убил — вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

— Мы разделим твою участь,— крикнул Комбефер.

— Пусть так,— ответил Анжольрас.— Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость — чудовище старого мира: там необходимость называлась Роком. Закон же

Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь! За тобой — будущее! Смерть! Я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане! В будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни Сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать, земля будет сиять, род человеческий — любить. Граждане! Он придет, этот день, когда все будет являть собой согласие, гармонию, свет, радость и жизнь, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть. Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса. Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, п твердого, как скала. Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году. Добавим также, что если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою. Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса. Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь! За тобой — будущее! Смерть! Я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане! В будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни Сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать, земля будет сиять, род человеческий — любить. Граждане! Он придет, этот день, когда все будет являть собой согласие, гармонию, свет, радость и жизнь, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.

Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою.

Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.

Книга тринадцатая МАРИУС СКРЫВАЕТСЯ ВО МРАКЕ

Глава первая ОТ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ ДО КВАРТАЛА СЕН-ДЕНИ

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянью, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал себе: «Пойдем!». Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после двух месяцев упоения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел одного — скорее покончить с ■ жизнью. Он пошел быстрым шагом. У него были пистолеты Жавера,— он был вооружен. Молодой человек, которого он увидел мельком, скрылся "из виду где-то на повороте. Мариус, перейдя с улицы Плюме на бульвар, прошел эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины что-то покупали в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, в английской кондитерской — пирожки. Несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис». Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы пе443

Книга тринадцатая

МАРИУС СКРЫВАЕТСЯ ВО МРАКЕ

Глава первая

ОТ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ ДО КВАРТАЛА СЕН-ДЕНИ

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянью, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал себе: «Пойдем!».

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после двух месяцев упоения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел одного — скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были пистолеты Жавера,— он был вооружен.

Молодой человек, которого он увидел мельком, скрылся из виду где-то на повороте.

Мариус, перейдя с улицы Плюме на бульвар, прошел эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины что-то покупали в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, в английской кондитерской — пирожки. Несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

реговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия. Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того, как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое гудение. По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» — неподвижные, мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды. У въезда на улицу Прувер толпа не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из сгрудившихся людей, которые тихонько переговаривались. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп, — всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто словно бы не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. За этой толщей на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегавшие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия. Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и

реговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того, как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» — неподвижные, мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из сгрудившихся людей, которые тихонько переговаривались. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп,— всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто словно бы не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. За этой толщей на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегавшие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь

направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей не было. Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдие, молчание, ночь; непонятный, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб. Он продвигался вперед. Вот он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог бы на это ответить. Тень мелькнула и исчезла. Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начата и покинута баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по ту сторону заграждения. Он шел у самых тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Ол приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади, — те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад по улицам и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которым в такой же мере понятны действия человека, в какой человеку — пути провидения. Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья. Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. А потом уже ничего больше не происходило. Весь его путь походил на спуск по черным ступеням. И все же Мариус шел вперед. 445

направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдие, молчание, ночь; непонятный, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб.

Он продвигался вперед.

Вот он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог бы на это ответить. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начата и покинута баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по ту сторону заграждения. Он шел у самых тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади,— те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад по улицам и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которым в такой же мере понятны действия человека, в какой человеку — пути провидения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.

Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. А потом уже ничего больше не происходило.

Весь его путь походил на спуск по черным сту-

Глава вторая ПАРИЖ — ГЛАЗАМИ СОВЫ Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину. Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна — это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал всюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех средств, какими она располагает, — вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни обитатель. Вот почему все замерло там. В домах царили страх, печаль и оцепенение; на улицах — священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные, причудливые линии, очертания странных сооружений: то были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и еще несколько громадных зданий, которые человек создает в виде гигантов, а ночь превращает в призраки. Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горели редкие фонари, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот 446

Глава вторая

ПАРИЖ — ГЛАЗАМИ СОВЫ

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна — это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал всюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех средств, какими она располагает,— вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни обитатель. Вот почему все замерло там. В домах царили страх, печаль и оцепенение; на улицах — священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные, причудливые линии, очертания странных сооружений: то были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и еще несколько громадных зданий, которые человек создает в виде гигантов, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горели редкие фонари,

артиллерии и движение молчаливых батальонов, усиливавшееся с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших. Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком. Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым углом — невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Этого никто не мог бы сказать. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. И для тех и для других это было одинаково необходимо. Отныне оставался один исход — выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые — ужасом. Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться значило умереть, но никто не думал бежать. Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание переросло в революцию или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда нарастающая тревога вокруг этого 447

артиллерии и движение молчаливых батальонов, усиливавшееся с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.

Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым углом — невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Этого никто не мог бы сказать. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. И для тех и для других это было одинаково необходимо. Отныне оставался один исход — выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые — ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание переросло в революцию или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда мучительное беспокойство, усугубляемое беспросвет-

молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздиравший сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалобно сетующего во мгле. Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой. Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы — во имя принципов, а средний класс — во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока все торопили и призывали последний и решительный час, — вдали и вне рокового квартала, в бездонных глубинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего избилием, слышалось глухое рокотанье сурового голоса народа. Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предостерегает мудрых, который одновременно звучит снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый. Глава третья ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ Мариус дошел до Центрального рынка. Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом. Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент448

молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздиравший сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалобно сетующего во мгле.

Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы — во имя принципов, а средний класс — во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока все торопили и призывали последний и решительный час,— вдали и вне рокового квартала, в бездонных глубинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотанье сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предостерегает мудрых, который одновременно звучит снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

Глава третья

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовыва-

Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондётур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок Мондетур. Немного дальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывавшего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, с трудом различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренная часть баррикады. Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя. Мариусу оставалось сделать всего один шаг. Несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце. Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы, — ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, — и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисавшей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давившей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся со шрамами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, сделав для Франции все, а против нее, — ничего. 15. «Отверженные», т. 2. 449

Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, караулив-ший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок Мондетур.

Немного дальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывавшего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, с трудом различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренная часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать всего один шаг.

Несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы,— ту же кровь, что текла в жилах Мариуса,— и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисавшей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давившей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся со шрамами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он тоже должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы — улица, а эта война — война гражданская. Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться. И тут он содрогнулся. Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и которую ему было так жаль. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и, после подвигов, свершенных вместе с отцом, свершать вместе с сыном иной подвиг не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, взяв ее с изголовья умершего отца, он осмелился бы принести ее с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла! Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть отданной в лом, чем обагрять кровью грудь отечества. Мариус горько заплакал. Все это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И 450

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он тоже должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы — улица, а эта война — война гражданская.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

И тут он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и которую ему было так жаль. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и, после подвигов, свершенных вместе с отцом, свершать вместе с сыном иной подвиг не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, взяв ее с изголовья умершего отца, он осмелился бы принести ее с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла! Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть отданной в лом, чем обагрять кровью грудь отечества.

Мариус горько заплакал.

Все это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не

потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая прасебя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоящую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!» Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову. Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина: Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то непонятной внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них у него был теперь готов ответ. Поразмыслим: отчего отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание дышит таким же благородством, как исполняемый долг? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, не Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне? Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми— не война между братьями? Война определяется ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн граждан451

потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоящую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то непонятной внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них у него был теперь готов ответ.

Поразмыслим: отчего отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание дышит таким же благородством, как исполняемый долг? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, не Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людь-

ских; есть только война несправедливая и война-справедливая. До того дня, когда будет заключено великое всечеловеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, — будь она гражданской или против иноземцев, — равно несправедлива, и имя ей — преступление. При священном условии справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, — который из них более велик? Один — защитник, другой — освободитель. Можно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? А что же тут такого? Ведь такова война Амбиорикса, Артивелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров; все — против внешнего врага. Так вот, монархия — это и есть внешний враг; угнетение — внешний враг; «священное право» — внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. Скованный Прометей начинает, Аристогитон заканчивает. Энциклопедия просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила — Фра* зибул; после Дидро — Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, бросать в них грозный свет полными пригор452

ских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое всечеловеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война,— будь она гражданской или против иноземцев,— равно несправедлива, и имя ей — преступление. При священном условии справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана,— который из них более велик? Один — защитник, другой — освободитель. Можно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? А что же тут такого? Ведь такова война Амбиорикса, Артивелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров; все—против внешнего врага. Так вот, монархия—это и есть внешний враг; угнетение — внешний враг; «священное право» — внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. *Скованный Прометей* начинает, Аристогитон заканчивает. *Энциклопедия* просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила — Фразибул; после Дидро — Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради са-

шнями. Нужно, чтобы они сами были ослеплены идеей собственного спасения; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее темное торжество ночи во всем его великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы считаете, что Луи-Филипп — тиран? Такой же, как Людовик XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины — не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено; Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, потому что он Бурбон ; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную справедливость, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество вровень с правом, — какое дело может быть более правым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить под Аустерлицем — великий подвиг; взять Бастилию — величайший. Нет человека, который не знал бы по опыту, что душа — ив этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, — обладает странной способностью рас453

шнями. Нужно, чтобы они сами были ослеплены идеей собственного спасения; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее темное торжество ночи во всем его великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы считаете, что Луи-Филипп — тиран? Такой же, как Людовик XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины — не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено; Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, *потому что он Бурбон;* оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную справедливость, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество вровень с правом,—какое дело может быть более правым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить под Аустерлицем — великий подвиг; взять Бастилию — величайший.

Нет человека, который не знал бы по опыту, что ду-

суждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное горе любви, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика; нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. В таком состоянии находился Мариус. Одолеваемый этими мыслями, изнеможенный, то полный решимости, то колеблющийся, трепещущий перед тем, на что он решался, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не уходившие с постов люди, и в их голосах чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал не то зрителя, не то наблюдателя, как-то особенно внимательного. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Нельзя себе представить более необычное зрелище, чем это озаряемое колышущимся зловещим пламенем, словно из любопытства наклонившееся над улицей иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо, вставшие дыбом волосы, открытые, остекленевшие глаза и разинутый рот. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась длинная кровяная дорожка и обрывалась на втором этаже.

суждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное горе любви, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика; нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. В таком состоянии находился Мариус.

Одолеваемый этими мыслями, изнеможенный, то полный решимости, то колеблющийся, трепещущий перед тем, на что он решался, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не уходившие с постов люди, и в их голосах чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал не то зрителя, не то наблюдателя, как-то особенно внимательного. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Нельзя себе представить более необычное зрелище, чем это озаряемое колышущимся зловещим пламенем, словно из любопытства наклонившееся над улицей иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо, вставшие дыбом волосы, открытые, остекленевшие глаза и разинутый рот. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась длинная кровяная дорожка и обрывалась на втором этаже.

Книга четырнадцатая ВЕЛИЧИЕ ОТЧАЯНИЯ Глава первая ЗНАМЯ. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Пока никто еще не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять. Анжольрас и Комбефер сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой, отдаленный шум шагов. Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий, молодой, веселый голос, казалось, доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха; Друг Бюго, не спишь ли? Я от слез опух. Ты жандармов вышли Поддержать мой дух. В голубой шинели, Кивер на боку. Пули засвистели! Ку-кукурику! Они сжали друг другу руки. — Это Гаврош, — сказал Анжольрас. — Он нас предупреждает, — добавил Комбефер. Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув: — Где мое ружье? Они идут! Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох — это руки нащупывали ружья. 455

Книга четырнадцатая
ВЕЛИЧИЕ ОТЧАЯНИЯ

Глава первая
ЗНАМЯ. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Пока никто еще не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять. Анжольрас и Комбефер сели с карабинами в руках у прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы глухой, отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой жуткой тишине раздался звонкий, молодой, веселый голос, казалось, доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

Друг Бюго, не спишь ли?
Я от слез опух.
Ты жандармов вышли
Поддержать мой дух.

В голубой шинели,
Кивер на боку.
Пули засвистели!
Ку-кукурику!

Они сжали друг другу руки.

— Это Гаврош, — сказал Анжольрас.

— Он нас предупреждает,— добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

— Где мое ружье? Они идут!

— Хочешь взять мой карабин? — спросил мальчика Анжольрас. — Я хочу большое ружье,— ответил Гаврош и взял ружье Жавера. Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один — стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте,— очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся. Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане. Каждый занял свой боевой пост. Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицел, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа». Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более Отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с Каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множествво металлических нитей, тоцкрх, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений,

— Хочешь взять мой карабин? — спросил мальчика Анжольрас.

— Я хочу большое ружье,— ответил Гаврош и взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один — стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте,— очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свой боевой пост.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицел, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти

которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела. Опять наступило молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, — казалось, заговорила сама тьма, — крикнул: — Кто идет? В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей. — Французская революция! — взволнованно и гордо ответил Анжольрас. — Огонь! — скомандовал голос. Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи. Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком. — Товарищи! — крикнул Курфейрак. — Не будем зря тратить порох. Подождем, пока они не продвинутся. — И, прежде всего, поднимем снова знамя! — добавил Анжольрас. Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ног|м. За баррикадой слышался стук шомполов; отфяд перезаряжал ружья. — У кого из вас хватит отваги?. — продолжал Анжольрас. — Кто водрузит знамя над баррикадой? Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел, — попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил: — Никто не возьмется? 457

которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.

Опять наступило молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно,— казалось, заговорила сама тьма,— крикнул:

— Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

— Французская революция! — взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

— Огонь! — скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было ясно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

— Товарищи! — крикнул Курфейрак.— Не будем зря тратить порох. Подождем, пока они не продвинутся.

— И, прежде всего, поднимем снова знамя! — добавил Анжольрас.

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам.

За баррикадой слышался стук шомполов; отряд перезаряжал ружья.

— У кого из вас хватит отваги? — продолжал Анжольрас.— Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять взята на прицел,— попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор.

Глава вторая ЗНАМЯ. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ С тех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на Мабефа. Однако Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся за стойкой. Там он как бы погрузился в себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности и предлагали удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столу Жавера, карaулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» — старик появился на пороге кабачка. Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики: — - Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа! Может быть, Мабеф этого не слышал. Он направился прямо к Анжольрасу,— повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом,— вырвал знамя у Анжольраса,— тот попятился и окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец с трясущейся головой начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это бы

Глава вторая

ЗНАМЯ. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

С тех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на Мабефа. Однако Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся за стойкой. Там он как бы погрузился в себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждали об опасности и предлагали удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, губы его шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столу Жавера, карaулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» — старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:

— Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Может быть, Мабеф этого не слышал.

Он направился прямо к Анжольрасу,— повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом,— вырвал знамя у Анжольраса,— тот попятился и окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец с трясущейся головой начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыж-

ло столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: — Шапки долой! То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, лицо старика, огромный облысевший, морщинистый лоб, впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов. Казалось, призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках. Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, непостижимый вид. Стало так тихо, как бывает только при лицезрении чуда. Старик взмахнул красным знаменем и крикнул: — Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть! Слуха осажденных достигла скороговорка, произнесенная тихим голосом, похожая на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, это полицейский пристав с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись». Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?», крикнул: — Разойдитесь! Мабеф, мертвенно бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил: — Да здравствует Республика! — Огонь! — скомандовал голос. Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду. У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки. Ручейки крови побежали из-под него. Старое, бледное, печальное лицо было обращено к небу. 459

ло столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали:

— Шапки долой!

То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, лицо старика, огромный облысевший, морщинистый лоб, впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов. Казалось, призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, непостижимый вид.

Стало так тихо, как бывает только при лицезрении чуда.

Старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

— Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!

Слуха осажденных достигла скороговорка, произнесенная тихим голосом, похожая на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, это полицейский пристав с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?», крикнул:

— Разойдитесь!

Мабеф, мертвенно бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

— Да здравствует Республика!

— Огонь! — скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старое, блед-

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу. — Что за люди эти цареубийцы!— воскликнул Анжольрас. Курфейрак прошептал ему на ухо: — Скажу только тебе — я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца! Я был с ним знаком. Его звали папаша Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо. — Голова скудоумного, а сердце Брута,— заметил Анжольрас и возвысил голос: — Граждане! Старики подают пример молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп. Пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой! Гул грозных и решительных голосов, выражавший согласие, последовал за этими словами. Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, все такой же строгий, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и осторожно дотрагиваясь до мертвеца, словно боясь причинить ему боль, снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал: — Отныне вот наше знамя. Глава третья ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ГАВРОШ СОГЛАСИЛСЯ ВЗЯТЬ КАРАБИН АНЖОЛЬРАСА Папашу Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них мертвое тело и, обнажив

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу.

— Что за люди эти цареубийцы!— воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

— Скажу только тебе — я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца! Я был с ним знаком. Его звали папаша Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.

— Голова скудоумного, а сердце Брута,— заметил Анжольрас и возвысил голос:

— Граждане! Старики подают пример молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп. Пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул грозных и решительных голосов, выражавший согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, все такой же строгий, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и осторожно дотрагиваясь до мертвеца, словно боясь причинить ему боль, снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

— Отныне вот наше знамя.

Глава третья

ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ГАВРОШ СОГЛАСИЛСЯ ВЗЯТЬ КАРАБИН АНЖОЛЬРАСА

Папашу Мабефа покрыли длинной черной шалью

головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли в нижнюю залу и положили на большой Стол. Эти люди, всецело поглощенные своим важным и священным делом, уже не думали о грозившей им опасности. Когда труп проносили мимо по-прежнему невозмутимого Жавера, Анжольрас сказал шпиону: — Скоро и тебя! В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался на дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас же крикнул: — Берегись! Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни — перелезая через омнибус, другие — воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, а тот отступал, но не бежал. Мгновение было решительное. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается вровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята. Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор. Второй заколол Баореля штыком. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, с решительным видом нацелился в гранта и спустил курок. Выстреда не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком щтык. Прежде чем штда коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, й он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую. Это стрелял Мариус, только что появившийся яа баррикаде. 461

головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли в нижнюю залу и положили на большой стол.

Эти люди, всецело поглощенные своим важным и священным делом, уже не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо по-прежнему невозмутимого Жавера, Анжольрас сказал шпиону:

— Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался на дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас же крикнул:

— Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни — перелезая через омнибус, другие — воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, а тот отступал, но не бежал.

Мгновение было решительное. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается вровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор. Второй заколол Баореля штыком. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, с решительным видом нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

Глава четвертая БОЧОНОК С ПОРОХОМ Скрываясь за углом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мабефа — эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, — псе это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака. Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но за него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз, в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица. У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом. Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло' померещиться в дыму, чем произойти в действительности- Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это-. Однако он смутно видел направленный на него етвол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в- такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает неред ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно чувствует, что этот вихрь увлекает его в еще более глубокий мрак и что вокруг него все в тумане. 462

Глава четвертая

БОЧОНОК С ПОРОХОМ

Скрываясь за углом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Надвигавшаяся опасность, смерть Мабефа — эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении,— все это рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в кучу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями на изготовку. Они занимали уже более двух третей заграждения, но за него не прыгали, точно боясь ловушки. Они смотрели вниз, в темноту, словно в львиную пещеру. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, проносится, мелькает перед ним, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь смутно

Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: — Подождите! Не стреляйте наугад! Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том -числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стаЛи лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады. Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, взмахнул шпагой и крикнул: — Сдавайтесь! — Огонь! — ответил Анжольрас. Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму. Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие. Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, огни молча заряжали ружья. Внезапно послышался громовой голос: — Прочь, или я взорву баррикаду! Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, зйтём, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, — все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь все — национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом 463

Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул:

— Подождите! Не стреляйте наугад!

Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друг друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в том числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, отошли к домам, поднимавшимся за кабачком, и гордо стали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, взмахнул шпагой и крикнул:

— Сдавайтесь!

— Огонь! — ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие.

Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

— Прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос.

Мариус, войдя в нижнюю залу, взял бочонок с порохом, затем, воспользовавшись дымом и мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, — все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться. И теперь

конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом. — Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду! — грозно воскликнул он. Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой. — Взорвешь баррикаду? — крикнул сержант. — Значит, и себя вместе с ней! — И себя вместе с ней! — ответил Мариус. И приблизил факел к бочонку с порохом. Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство. Баррикада была освобождена. Глава пятая КОНЕЦ СТИХАМ ЖАНА ПРУВЕРА Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею. — Ты здесь? — Какое счастье! — воскликнул Комбефер. — Ты пришел кстати! — заметил Боссюэ. — Без тебя меня бы уже не было на свете! — вставил Курфейрак. — Без вас меня бы ухлопали! — прибавил Гаврош. — Кто тут начальник? — спросил Мариус. — Ты, — ответил Анжольр ас. Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада, Мабеф, умерший за Республику, он сам во главе повстанцев — все это казалось ему чудовищным кошмаром.

конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом.

— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду! — грозно воскликнул он.

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

— Взорвешь баррикаду? — крикнул сержант. — Значит, и себя вместе с ней!

— И себя вместе с ней! — ответил Мариус.

И приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было паническое бегство.

Баррикада была освобождена.

Глава пятая

КОНЕЦ СТИХАМ ЖАНА ПРУВЕРА

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

— Ты здесь?

— Какое счастье! — воскликнул Комбефер.

— Ты пришел кстати! — заметил Боссюэ.

— Без тебя меня бы уже не было на свете!—вставил Курфейрак.

— Без вас меня бы ухлопали!—прибавил Гаврош.

— Кто тут начальник?—спросил Мариус.

— Ты,— ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, баррикада. Ма-

Он должен был напрячь весь свой разум и намять, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни. В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью ж*ертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его. Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; студенты медицинского факультета перевязывали раненых. Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На тюфяки положили раненых, что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе. Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады. Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных — Жана Прувера. Поискали среди раненых — его не было. Поискали среди убитых — его не было. Очевидно, он попал в плен. Комбефер сказал Анжольрасу: — Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика? — Да, — ответил Анжольрас, — но меньше, чем жизнь Жана Прувера. Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера. — Отлично, — произнес Комбефер, — я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными. 465

Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.

В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.

Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; студенты медицинского факультета перевязывали раненых.

Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На тюфяки положили раненых, что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе.

Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады.

Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных — Жана Прувера. Поискали среди раненых — его не было. Поискали среди убитых — его не было. Очевидно, он попал в плен.

Комбефер сказал Анжольрасу:

— Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

— Да, — ответил Анжольрас, — но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

— Отлично, — произнес Комбефер, — я привяжу

— Слушай! — положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжольрас. В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия. Послышался звонкий голос: — Да здравствует Франция! Да здравствует будущее! То был голос Прувера. Мелькнула молния, и грянул залп. Снова наступила тишина. — Они его убили! — воскликнул Крмбефер. Анжольрас взглянул на Жавера и сказал: — Твои же друзья тебя расстреляли. Глава шестая ТОМИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПОСЛЕ ТОМИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может, опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Вот почему все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая была в большей степени под угрозой и где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда! Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, на улице Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей было совершенно спокойно. Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо окликнул его: — Господин Мариус! Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа назад сквозь решетку на улице Плюме. Но теперь этот голос казался лишь вздохом. Он оглянулся и никого не заметил. Мариус решил, что ослышался, что у него разыгралось воображение от тех необыкнЬвенных событий, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, намереваясь выйти из того закоулка, где находилась баррикада. — Господин Мариус! — повторил голос.

— Слушай! — положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжольрас.

В конце улицы раздалось многозначительное брянание оружия.

Послышался звонкий голос:

— Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера.

Мелькнула молния, и грянул залп.

Снова наступила тишина.

— Они его убили! — воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

— Твои же друзья тебя расстреляли.

Глава шестая

ТОМИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПОСЛЕ ТОМИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может, опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Вот почему все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая была в большей степени под угрозой и где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда! Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, на улице Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо окликнул его:

— Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа назад сквозь решетку на улице Плюме.

Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что у него разыгралось воображение от тех необыкновенных событий, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, на-

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел. — Я здесь, у ваших ног, — произнес голос. Он нагнулся и увидел во мраке очертания живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло та мостовой. Именно оно и обращалось к нему. Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное поднятое к нему лицо и услышал слова: — Вы меня не узнаете? — Нет. — Эпонина. Мариус нагнулея. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье. — Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете? — Я умираю, — ответила она. Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись. — Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли? Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли. При этом он задел ее кисть. Эпонина слабо вскрикнула. — Я сделал вам больно? — спросил Мариус. — Чуть-чуть. — Но я дотронулся только до вашей руки. Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие. — Что с вашей рукой? — спросил он. — Она пробита! — Пробита? - Да. - Чем? — Пулей. — Каким образом? — Вы видели наведенное на вас ружье? — Да, и руку, закрывшую дуло. — Это была моя рука. 467

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

— Я здесь, у ваших ног,— произнес голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное поднятое к нему лицо и услышал слова:

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Эпонина.

Мариус нагнулся. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

— Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

— Я умираю,— ответила она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись.

— Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпонина слабо вскрикнула.

— Я сделал вам больно? — спросил Мариус.

— Чуть-чуть.

— Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

— Что с вашей рукой? — спросил он.

— Она пробита!

— Пробита?

— Да.

— Чем?

— Пулей.

— Каким образом?

— Вы видели наведенное на вас ружье?

Мариус содрогнулся. Какое безумие! Бедное дитя! Но это еще счастье! Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают. — Пуля прострелила руку, но вышла через спину, — прошептала Эпонина. — Не стоит брать меня отсюда! Я вам сейчас скажу, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень. Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала: — О, как хорошо! Как приятно! Вот уже и не больно! Помолчав, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса: — Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите, в тот сад, — это глупо, потому что я сама показала вам дом, а, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы... Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо, промелькнувшие в ее головке, снова заговорила с той улыбкой, от которой сжимается сердце: — Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, — продолжала она, — вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас, Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, менц не видели, не подобрали. Я ждала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь не богаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут. У нее было безумное и серьезное выражение лица, 468

Мариус содрогнулся.

— Какое безумие! Бедное дитя! Но это еще счастье! Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

— Пуля прострелила руку, но вышла через спину,— прошептала Эпонина.— Не стоит брать меня отсюда! Я вам сейчас скажу, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

— О, как хорошо! Как приятно! Вот уже и не больно!

Помолчав, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса:

— Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад,— это глупо, потому что я сама показала вам дом, а, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы...

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо, промелькнувшие в ее головке, снова заговорила с той улыбкой, от которой сжимается сердце:

— Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что,— продолжала она,— вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ждала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь не богаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было

раздиравшее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Говоря, она прижимала к ней простреленную руку, — в том месте, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой. Мариус с глубоким состраданием смотрел на несчастную девушку. — Ох! — внезапно простонала она. — Опять! Я задыхаюсь! Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой. В этот момент на баррикаде раздался пронзительный петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал песенку, которая в то время пользовалась большой известностью: Увидев Лафайета, Жандарм не взвидел света: Бежим! Бежим! Бежим! Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала: — Это он. И, повернувшись к Мариусу, добавила; — Там мой брат. Он меня не должен видеть. Он будет меня ругать. — Ваш брат? — спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. — Кто ваш брат? — Этот мальчик. — Тот, который поет? - Да. Мариус хотел встать. — Не уходите! — сказала она,— Теперь уж недолго ждать! Она приподнялась, но ее голос все-таки был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и сказала с каким-то странным выражением: — Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили послать его по почте. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сер

раздиравшее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Говоря, она прижимала к ней простреленную руку,— в том месте, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на несчастную девушку.

— Ох! — внезапно простонала она.— Опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался пронзительный петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал песенку, которая в то время пользовалась большой известностью:

Увидев Лафайета,
Жандарм не взвидел света:
Бежим! Бежим! Бежим!

Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

— Это он.

И, повернувшись к Мариусу, добавила;

— Там мой брат. Он меня не должен видеть. Он будет меня ругать.

— Ваш брат? — спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец.— Кто ваш брат?

— Этот мальчик.

— Тот, который поет?

— Да.

Мариус хотел встать.

— Не уходите! — сказала она.— Теперь уж недолго ждать!

Она приподнялась, но ее голос все-таки был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и сказала с каким-то странным выражением:

— Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили послать его по почте. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно

диться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо. Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой,— казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус нащупал там какую-то бумагу. — Возьмите, — сказала она. Мариус взял письмо. Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой. — Теперь обещайте мне за мой труд... Она запнулась. — Что? — спросил Мариус. — Обещайте мнеі — Обещаю. — Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую. Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа бтлетела. Эпонина не шевелилась. Внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему- с нежностью, исходившей, казалось, уже из другого мира: — А знаете, господин Мариус, мне думается, я была немножко влюблена в вас. Она еще раз попыталась улыбнуться. и умерла, Глава седьмая ГАВРОШ ГЛУБОКОМЫСЛЕННО ВЫЧИСЛЯЕТ РАССТОЯНИЕ Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой. Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать письмо возле умершей. Он подошел к свече в нижней зале. Это была запи470

диться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой,— казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус нащупал там какую-то бумагу.

— Возьмите,— сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

— Теперь обещайте мне за мой труд...

Она запнулась.

— Что? — спросил Мариус.

— Обещайте мне!

— Обещаю.

— Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпонина не шевелилась. Внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, исходившей, казалось, уже из другого мира:

— А знаете, господин Мариус, мне думается, я была немножко влюблена в вас.

Она еще раз попыталась улыбнуться и умерла.

Глава седьмая

ГАВРОШ ГЛУБОКОМЫСЛЕННО ВЫЧИСЛЯЕТ РАССТОЯНИЕ

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвом лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Не без внутреннего трепета взял он письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается что-то важное. Ему не терпелось прочитать его. Так уж устроено мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он осторожно опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он

сочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука: «Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16». Он сломал печать и прочел: «Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии. Козетта, 4 июня». Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты. То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла решение: во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это от нее Жан Вальжан получил на Марсовом поле серьезное предупреждение: Переезжайте. Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте: «Сегодня вечером мы переезжаем на улицу Вооруженного человека, вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, не привыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой, Козеттга вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо и сказала: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Пятого июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мдриуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», — это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака — опять-таки чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала 471

сочка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес писала женская рука:

«Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».

Он сломал печать и прочел:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии. *Козетта, 4 июня».*

Отношения между Мариусом и Козеттой были таковы, что он даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла решение: во-первых, расстроить замыслы отца и бандитов, связанные с домом на улице Плюме, а во-вторых, разлучить Мариуса с Козеттой. Она отдала свои лохмотья первому встречному молодому шалопаю, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это от нее Жан Вальжан получил на Марсовом поле серьезное предупреждение: *Переезжайте.* Вернувшись домой, Жан Вальжан сказал Козетте: «Сегодня вечером мы переезжаем на улицу Вооруженного человека, вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, тут же написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, не привыкшая к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Охваченная тревогой, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо и сказала: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Пятого июня утром она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его»,— это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака — опять-таки чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу

за Курфейраком и увидела, еде строится баррикада. Мариус ничего не подозревал,— письмо Эпонина носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет, Мариус, как всегда, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом, в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!» Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть — лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уве: домить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прости, и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье. При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки: «Наш брак невозможен. Я просил позволения моего деда, он отказал; у меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя! Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе». Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес: «Мадмуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7». Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки: 472

за Курфейраком и увидела, где строится баррикада. Мариус ничего не подозревал,— письмо Эпонина носила с собой. Убежденная, что когда стемнеет, Мариус, как всегда, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с призывом, в надежде, что этот призыв приведет его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что́ она там совершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть — лучший исход. И тут он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прости, и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.

При нем был тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения моего деда, он отказал; у меня нет средств, у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя! Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:

«Мадмуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Маре». Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчугана. — Хочешь сделать кое-что для меня? — Все что угодно, — ответил Гаврош. — Господи боже мойі Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка! — Видишь это письмо? — Вижу. — Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадмуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь. — Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет! — возразил маленький герой. — По всем признакам, баррикаду атакуют не раньше чем на рассвете, и возьмут не раньше, чем завтра к полудню. Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением. — Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош. — Будет сфшком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улица* выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же. Гаврош не нащ§лся, что ответить и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо. — ЛаДно! — сказал он и пустился бегом по Мондетуру. Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как 0ы Мариус не нашел, что ему возразить. «Еще неV и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Маре».

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. Тотчас появилась веселая, выражающая преданность рожица мальчугана.

— Хочешь сделать кое-что для меня?

— Все что угодно,— ответил Гаврош.— Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка!

— Видишь это письмо?

— Вижу.

— Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош озабоченно почесал у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадмуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

— Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет! — возразил маленький герой.

— По всем признакам, баррикаду атакуют не раньше чем на рассвете, и возьмут не раньше, чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

— Послушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош.

— Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах выставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся, что ответить и стоял в нерешительности, с грустным видом почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.

— Ладно! — сказал он и пустился бегом по Мондетуру.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел, что ему возразить.

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и во-

Книга пятнадцатая УЛИЦА ВООРУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Глава первая БЮВАР-БОЛТУН

Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрагался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и о Париже: «Две силы, дух света и дух тьмы, схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?» 4 июля вечером Жан Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы. Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз, с тех пор как они стали жить вдвоем, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить. Они прибыли на улицу Вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова; каждого одолевали свои заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана. 474

Книга пятнадцатая

УЛИЦА ВООРУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Глава первая

БЮВАР-БОЛТУН

Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрагался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и о Париже: «Две силы, дух света и дух тьмы, схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

4 июля вечером Жан Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз, с тех пор как они стали жить вдвоем, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: *переезжайте,* брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Они прибыли на улицу Вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова; каждого одолевали свои заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не за-

Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касаемо». Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики — это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали. Тусен с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар. Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно. Спать легли молча. Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имелась вся необходимая домашняя утварь. Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству, — такова человеческая природа. Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного Человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно за

Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касаемо».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики — это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.

Спать легли молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имелась вся необходимая домашняя утварь.

Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству,— такова человеческая природа. Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на на-

ражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолг виой и глухой среди шумного города, сумрачной среди бела дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать? Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели. Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана. Козетта велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера. К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать. Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности. Во время этого скромного обеда Тусен несколько раз, заикаясь, говорила Жану Вальжану: — Сударь! Крик-шум кругом, в Париже дерутся. Но, поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял. Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа. Но вместе с тем его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным

ражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой среди шумного города, сумрачной среди бела дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Козетта велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда Тусен несколько раз, заикаясь, говорила Жану Вальжану:

— Сударь! Крик-шум кругом, в Париже дерутся.

Но, поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа.

Но вместе с тем его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он

облачком, — все это пройдет через день или два — он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую — все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, — эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит она принадлежит ему; то был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье. Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное. Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки: «Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии. Козетта. 4 июня». Жан Вальжан остановился, ничего не понимая. Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, забыла его там. Она даже не заметила, что оставила его от

облачком,— все это пройдет через день или два — он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую — все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты,— эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит она принадлежит ему; то был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.

Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки:

«Мой любимый! Увы! Отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии. *Козетта. 4 июня*».

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет

крытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге бювара. Зеркало отражало написанное. Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением: строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу. Это было просто и оглушительно. Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было. Мало-пбмалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал себе: «это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре: опрокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. И тут он подумал: «Но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано», — и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий. Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало — повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление — уже реальность; это было очевидно, это было письмо, верно восстановленное зеркалом Он все понял. Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, чТо свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо! 478

крытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением: строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал себе: «это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре: опрокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. И тут он подумал: «Но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано»,— и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало — повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление — уже реальность; это было очевидно, это было письмо, верно восстановленное зеркалом. Он все понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобив-

Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану, раньше чем вручить Мариусу. До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследог вал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким; можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает. Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы! Величайшее испытание, вернее, единственное испытание — это утрата любимого существа. Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец, но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому любовь к женщине, наиболее стойкое из всех чувств, смутное, слепое, чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неощутимое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козет-і то любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, спрятанной и нетронутой в недрах горы. Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно 479

Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану, раньше чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким; можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает.

Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы! Величайшее испытание, вернее, единственное испытание — это утрата любимого существа.

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец, но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому любовь к женщине, наиболее стойкое из всех чувств, смутное, слепое, чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неощутимое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, спрятанной и нетронутой в недрах горы

его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный, и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени — светлозеленых и темно-зеленых, — какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге, — как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующей которого являлась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась мать; отец любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем. И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде; когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я — только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» — скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, — и вот итог! Как же так? Оказывается, он — ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, «я» зарычало в безднах души этого человека. Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него

его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный, и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени — светло-зеленых и темно-зеленых,— какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге,— как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующей которого являлась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась мать; отец любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде; когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я — только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» — скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал,— и вот итог! Как же так? Оказывается, он — ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, «я» зарычало в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая,

глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, — такой мрачной печалью веяло от него. Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало — страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи. Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть — все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине. Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце. Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца: ведь это подлость — строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит! Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, — этот юноша и что он — источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастия обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — Ненависть. Великая скорбь подавляет. Она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как чтото уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже — зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного

глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится,— такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало — страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть — все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца: ведь это подлость — строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит!

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось,— этот юноша и что он — источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастия обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — Ненависть.

Великая скорбь подавляет. Она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже — зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца полного

чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль — впереди, когда вы полны жизненной силы, даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака! Пока он рйзмышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее: — Где это происходит? Вы не знаете? Озадаченная Тусен спросила: — Что вам угодно? — Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся? — Ах да!— ответила Тусен. — В стороне Сен-Мерри. Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице. С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался. Наступила ночь. Глава вторая ГАВРОШ — ВРАГ ОСВЕЩЕНИЯ Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить. Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот неподвижно, словно превра482

чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль — впереди, когда вы полны жизненной силы, даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

— Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен спросила:

— Что вам угодно?

— Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

— Ах да!—ответила Тусен.—В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

Глава вторая

ГАВРОШ — ВРАГ ОСВЕЩЕНИЯ

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы на это ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он

тившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Покрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; набат — дело рук человеческих, время — дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, затем снова — еще более оглушительный; вероятно, началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь. Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза, — по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и, при свете фонаря, у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо. На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош. Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания. Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием: — Черт побери! Потом снова начал смотреть вверх. Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком. — Малыш! — сказал он,— Что тебе надо? — Мне надо поесть, — откровенно признался Гав рош и прибавил: — Сами вы малыш. 483

тившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Покрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; набат — дело рук человеческих, время — дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, затем снова — еще более оглушительный; вероятно, началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этих залпах, ярость которых, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою.

Вдруг он поднял глаза,— по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и, при свете фонаря, у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, молодое и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал.

Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

— Черт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.

— Малыш! — сказал он.— Что тебе надо?

Мне надо поесть — откровенно признался Гав-

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету. Но Гаврош, принадлежащий к породе трясогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь. — Смотрите! — сказал он. — У вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило! Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали: «Вот и начинается девяносто третий год!» Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно. — Так, так, старушка-улица, — одобрил Гаврош, — надевай свой ночной колпак. — И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: — Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду — вот было бы славно! Жан Вальжан подошел к Гаврошу. — Бедняжка! Он хочет есть,— пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету. Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. — Поглядим-ка на этого тигра! — сказал он. Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал: — Буржуа! Я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает. — У тебя есть мать? — спросил Жан Вальжан. — Уж скорей, чем у вас,— не задумываясь, ответил Гаврош. — Тогда возьми эти деньги для матери, — сказал Жан Вальжан. Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежащий к породе трясогузок, быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.

— Смотрите! — сказал он.— У вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило!

Он бросил камнем в фонарь. Стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие в своих укрытиях в доме напротив, запричитали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

— Так, так, старушка-улица,— одобрил Гаврош,— надевай свой ночной колпак.— И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил:

— Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду — вот было бы славно!

Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

— Бедняжка! Он хочет есть,— пробормотал он и сунул ему в руку пятифранковую монету.

Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко.

— Поглядим-ка на этого тигра! — сказал он.

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и с величественным видом сказал:

— Буржуа! Я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

— У тебя есть мать? — спросил Жан Вальжан.

— Уж скорей, чем у вас,— не задумываясь, ответил Гаврош.

— Тогда возьми эти деньги для матери,— сказал

говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие. — Вправду? — спросил он. — Это не для того, чтобы я не бил фонари? — Бей, сколько хочешь. — Вы славный малый, — заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он спросил: — Вы живете на этой улице? — Да, а что? — Можете мне показать дом номер семь? — Зачем тебе дом номер семь? Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием: — Да так! У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения. — Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду? — спросил он. — Вам? — сказал Гаврош. — Вы не женщина. — Письмо адресовано мадмуазель Козетте, не так ли? — Козетте? — проворчал Гаврош. — Как будто там так и написано. Смешное имя! — Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо,— объявил Жан Вальжан. — Давай его сюда. — В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады? — Конечно, знаю. Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу. Затем он взял под козырек. — Почет депеше, — сказал он. — Она от временного правительства. — Давай, — сказал Жан Вальжан. ; ■ Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой. — Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретики всяким дурищам. — Давай.

говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

— Вправду? — спросил он.— Это не для того, чтобы я не бил фонари?

— Бей, сколько хочешь.

— Вы славный малый,— заметил Гаврош и опустил пятифранковую монету в карман.

Доверие его возросло, и он спросил:

— Вы живете на этой улице?

— Да, а что?

— Можете мне показать дом номер семь?

— Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

— Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения.

— Может быть, ты принес мне письмо, которого я жду? — спросил он.

— Вам? — сказал Гаврош.— Вы не женщина.

— Письмо адресовано мадмуазель Козетте, не так ли?

— Козетте? — проворчал Гаврош.— Как будто там так и написано. Смешное имя!

— Ну так вот, я-то и должен передать ей письмо,— объявил Жан Вальжан.— Давай его сюда.

— В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

— Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.

Затем он взял под козырек.

— Почет депеше,— сказал он.— Она от временного правительства.

— Давай,— сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

— Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретики всяким дурищам.

— Давай.

— Право, вы, кажется, славный малый, — продолжал Гаврош. — Давай скорей. — Нате. Он вручил бумажку Жану Вальжану. — И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется. Гаврош был весьма доволен своей остротой. — Куда отнести ответ? — спросил Жан Вальжан — К Сен-Мерри? — Ну и ошибетесь немножко! — воскликнул Гаврош.— Как говорится, пирожок — не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин! С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом. Глава третья ПОКА КОЗЕТТА И ТУСЕН СПЯТ... Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусеи спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада несколько спичек, прежде чем он зажег одну, — так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать. 486

— Право, вы, кажется, славный малый,— продолжал Гаврош.

— Давай скорей.

— Нате.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

— И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остротой.

— Куда отнести ответ? — спросил Жан Вальжан.— К Сен-Мерри?

— Ну и ошибетесь немножко! — воскликнул Гаврош.— Как говорится, пирожок — не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин!

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут треск разбитого стекла и удар фонаря о мостовую вдруг снова не разбудили негодующих обывателей. Это орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

Глава третья

ПОКА КОЗЕТТА И ТУСЕН СПЯТ...

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса.

Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада несколько спичек, прежде чем он зажег одну,— так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажже-

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно, лишь самое существенное; оно останавливается на чемнибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова: «...Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя...» Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с изумлением пьяного; ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа. В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим — он между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться, — думал он. — Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!» Сказав себе это, он помрачнел. Затем спустился вниз и разбудил привратника. 487

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно, лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«...Я умираю. Когда ты будешь читать эти строки, моя душа будет уже подле тебя...»

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с изумлением пьяного; ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим — он между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, будущее открывалось перед ним вновь. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено совершиться,— думал он.— Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе это, он помрачнел.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка. Глава четвертая ИЗЛИШНИЙ ПЫЛ ГАВРОША Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. И он пошел вдоль заснувших или напуганных домов, оделяя каждый зажигательным куплетом: Злословил дрозд в тени дубравы: «Недавно с девушкой одной Какой-то русский под сосной...» Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Дружок Пьеро, ну что за нравы,— Ты, что ни день, всегда с другой! К чему калейдоскоп такой? Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Подчас любовь страшней отравы! За горло нежной взят рукой. Терял я разум и покой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? О, где минувших дней забавы! Лизон играть хотела мной, Раз, два... и обожглась игрой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Когда Сюзетта — боже правый! — Метнет, бывало взгляд живой, Я весь дрожу, я сам не свой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Я перелистываю главы: Мадлен со мной в тиши ночной, И что мне черти с сатаной! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? 488

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

Глава четвертая

ИЗЛИШНИЙ ПЫЛ ГАВРОША

Тем временем с Гаврошем произошло приключение.

Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел уместным затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. И он пошел вдоль заснувших или напуганных домов, оделяя каждый зажигательным куплетом:

Злословил дрозд в тени дубравы:
«Недавно с девушкой одной
Какой-то русский под сосной...»
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Дружок Пьеро, ну что за нравы,—
Ты, что ни день, всегда с другой!
К чему калейдоскоп такой?
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Подчас любовь страшней отравы!
За горло нежной взят рукой,
Терял я разум и покой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

О, где минувших дней забавы!
Лизон играть хотела мной,
Раз, два... и обожглась игрой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Когда Сюзетта — боже правый! —
Метнет, бывало взгляд живой,
Я весь дрожу, я сам не свой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Я перелистываю главы:
Мадлен со мной в тиши ночной,
И что мне черти с сатаной!

Но как причудницы лукавы! Приманят ножки наготой — И упорхнут... Адель, постой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Бледнели звезды в блеске славы. Когда с кадрили, ангел мой, Со мною Стелла шла домой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест — точка опоры для припева. Он корчил страшные рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты. Внезапно он остановился. — Прервем романс, — сказал он. Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря — некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем. Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли. Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был возчик, крепко выпивший и крепко спавший. «Вот на что годятся летние ночи, — подумал Гаврош. — Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии». Его осенила блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады». Овернец храпел. Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как. ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой. Тележка была свободна. Гаврош, привыкший во всеоружии встречать кеожи480

Но как причудницы лукавы!
Приманят ножки наготой —
И упорхнут... Адель, постой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Бледнели звезды в блеске славы,
Когда с кадрили, ангел мой,
Со мною Стелла шла домой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест — точка опоры для припева. Он корчил страшные рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно рваное белье, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.

Внезапно он остановился.

— Прервем романс,— сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря — некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу.

Это был возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи,— подумал Гаврош.— Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его осенила блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

данности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного

карандаша, изъятый у какого-то плотника. Он написал:

данности, носил с собой все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, изъятый у какого-то плотника.

Он написал:

«Французская республика.
Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош».

Потом засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, празднуя победу, пустился во всю прыть с грохочущей тележкой в сторону Центрального рынка. Это было опасно. Возле Королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд зашевелился, на походных койках поднимались головы. Два битых фонаря, песенка, распеваемая во все горло,— этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уличный мальчишка уже с час бесновался в этой мирной округе подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения сержанта и вынудил его произвести расследование.

— Их тут целая шайка! — воскликнул он.— Пойдем посмотрим, только тихонько.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

Сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

У самого поворота с улицы Вьейль-Одриет Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Гаврош опять остановился.

— Смотри-ка,— удивился Гаврош,— он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок!

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

— Ты куда идешь, оборванец? — крикнул сержант.

— Ты куда идешь, шалопай? — Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания, — ответил Гаврош. — Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй? — У вас очень милая манера выражаться. Право, вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков. — Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит! — Какие скверные слова! — заметил Гаврош. — В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот. Сержант выставил штык. — Да скажешь ты, наконец, куда идешь, злодей? — Господин генерал, — ответил Гаврош, — я ищу доктора для моей супруги, она рожает. — К оружию! — крикнул сержант. Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, — верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить. В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух. На крик сержанта высыпали солдаты; каждый выстрелил по разу наугад, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять. Эта пальба продолжалась добрых четверть часа; пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам. Тем временем Гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улиц за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу, на углу улицы Красных сирот. Он прислушался. Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Этот выразительнейший жест, в кото

— Ты куда идешь, шалопай?

— Сударь, может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания,— ответил Гаврош.

— Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

— У вас очень милая манера выражаться. Право, вам не дашь ваших лет. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

— Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

— Какие скверные слова! — заметил Гаврош.— В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

— Да скажешь ты, наконец, куда идешь, злодей?

— Господин генерал,— ответил Гаврош,— я ищу доктора для моей супруги, она рожает.

— К оружию! — крикнул сержант.

Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью,— верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в брюхо, кувырком полетел в канаву, а его ружье выстрелило в воздух.

На крик сержанта высыпали солдаты; каждый выстрелил по разу наугад, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба продолжалась добрых четверть часа; пули нанесли смертельные раны нескольким оконным стеклам.

Тем временем Гаврош, со всех ног бросившийся назад, остановился улиц за шесть от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу, на углу улицы Красных сирот.

Он прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя пра-

рый парижские гамены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека. Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью. «Так, — подумал он, — я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюку. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!» Он пошел дальше. «Ах да, на чем же это я остановился?» — постарался припомнить он на бегу. И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало: Скосило время нас, как травы, Но тверд иных бастилий строй. Друзья, долой режим гнилой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Сразимся в кегли для забавы! Где шар? Один удар лихой — И трон Бурбонов стал трухой. Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Бледнея, в Лувре ждут расправы. Народ, монархию долой! Мети железною метлой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Решетки не задержат лавы! Ах, Карл Десятый, срам какой, Летит за дверь — и в грязь башкой! Мои красавицы, куда вы Умчались пестрой чередой? Вооруженное выступление караула оказалось небезрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом, как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка. Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа Маре, и запечатлелось оно в их памяти следующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».

рый парижские гамены вложили всю французскую иронию, оказался, по-видимому, живучим и держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так,— подумал он,— я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюку. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!»

Он пошел дальше.

«Ах да, на чем же это я остановился?» — постарался припомнить он на бегу.

И снова запел свою песенку, ныряя из улицы в улицу. И в темноте, постепенно затихая, звучало:

Скосило время нас, как травы,
Но тверд иных бастилий строй.
Друзья, долой режим гнилой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Сразимся в кегли для забавы!
Где шар? Один удар лихой —
И трон Бурбонов стал трухой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Бледнея, в Лувре ждут расправы.
Народ, монархию долой!
Мети железною метлой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Решетки не задержат лавы!
Ах, Карл Десятый, срам какой,
Летит за дверь — и в грязь башкой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Вооруженное выступление караула оказалось небезрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом, как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, это одно из самых страшных воспоминаний старых буржуа Маре, и запечатлелось

Часть 5 ЖАН ВАЛЬЖАН

Часть 5

ЖАН ВАЛЬЖАН

Книга первая ВОЙНА В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ Глава первая ХАРИБДА ПРЕДМЕСТЬЯ СЕНТ-АНТУАН И СЦИЛЛА ПРЕДМЕСТЬЯ ТАМПЛЬ Две наиболее замечательные баррикады, которые может отметить исследователь социальных бурь, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, бывшие каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года — величайшей из всех уличных войн, какие только видела история. Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих бедствий, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что толпа объявляет войну народу. . Оборванцы нападают на общественное право; охлократия ополчается против демоса. Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные — оборванцы, чернь, охлократия, простонародье— доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных. Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в события, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом. 495

Книга первая
ВОЙНА В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Глава первая
ХАРИБДА ПРЕДМЕСТЬЯ СЕНТ-АНТУАН И СЦИЛЛА ПРЕДМЕСТЬЯ ТАМПЛЬ

Две наиболее замечательные баррикады, которые может отметить исследователь социальных бурь, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, бывшие каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года — величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.

Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих бедствий, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что толпа объявляет войну народу.

Оборванцы нападают на общественное право; охлократия ополчается против демоса.

Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные— оборванцы, чернь, охлократия, простонародье—доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.

Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в события, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была ох-

Кто из мыслителей порою не задумывался над величием социального дна! Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: Fex urbis, lex orbis ’. Возмущение толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония ведут к государственному перевороту и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и, именно из любви к толпе, вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хотя и выступает против! Как уважает ее, хотя и дает ей отпор! Это один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем — это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди. Поспешим оговориться, — июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные выше, надо взять обратно, когда речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость тружеников, взывающих о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя. То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, только что упомянутых нами и особенно характерных для восстания. Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут. Сент-Антуанская баррикада была чудовищных размеров — высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загораживала от угла до угла широкое 1 Скверна Рима — закон мира (лат.).

Кто из мыслителей порою не задумывался над величием социального дна!

Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: Fex urbis, lex orbis [1].

Возмущение толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония ведут к государственному перевороту и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и, именно из любви к толпе, вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хотя и выступает против! Как уважает ее, хотя и дает ей отпор! Это один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем — это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.

Поспешим оговориться,—июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные выше, надо взять обратно, когда речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость тружеников, взывающих о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.

То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, только что упомянутых нами и особенно характерных для восстания.

Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.

Сент-Антуанская баррикада была чудовищных размеров—высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загораживала от угла до угла широкое

устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине грозной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать мучительные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда отчаянье превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили уныние, как все порожденное ненавистью. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валили булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятья. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, созданная в спешке и суматохе. Громады и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской — грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов — свою черепицу. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Оссы на Пелион во всех революциях: 93-й год 497

устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине грозной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать мучительные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда отчаянье превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили уныние, как все порожденное ненавистью. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валили булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятья. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, созданная в спешке и суматохе. Громады и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской — грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов — свою черепицу. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая водами мятежа, вызывала в памяти нагромож-

на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? ТолЪы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Не то непроходимая чаща. Не то пьяная оргия. Не то крепость. Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в невероятном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном, вопиющем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищим и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, и несколько мушкетонов палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков — весьма опасными снарядами, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились команда, боевые пес

на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Не то непроходимая чаща. Не то пьяная оргия. Не то крепость. Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в невероятном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном, вопиющем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищим и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, и несколько мушкетонов палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков — весьма опасными снарядами, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по

ни, дробь барабанов, женский плач и хриплый смех умиравших с голоду. Она была чудовищна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; от этой гигантской груды мусора исходило странное величие. То была куча отбросов, и то был Синай. Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, восстала против Учредительного собрания, верховной власти народа, всеобщего избирательного права, против нации, против Республики: Карманьола вызвала на бой Марсельезу. Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем. Предместье и его редут защищали друг друга. Предместье опиралось на редут, редут прислонялся к предместью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора. Если бы кто отважился заглянуть в четверти мили оттуда за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тампль, выходившей на бульвар близ Шато-д’О, то увидел бы вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предместью Бельвиль, какуюто странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как в иных римских стенах, это не 499

ни, дробь барабанов, женский плач и хриплый смех умиравших с голоду. Она была чудовищна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; от этой гигантской груды мусора исходило странное величие. То была куча отбросов, и то был Синай.

Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, восстала против Учредительного собрания, верховной власти народа, всеобщего избирательного права, против нации, против Республики: Карманьола вызвала на бой Марсельезу.

Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем.

Предместье и его редут защищали друг друга. Предместье опиралось на редут, редут прислонялся к предместью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.

Если бы кто отважился заглянуть в четверти мили оттуда за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тампль, выходившей на бульвар близ Шато-д'О, то увидел бы вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предместью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена

нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее прочности. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, виднелись едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась застава — неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей. Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение. То была баррикада предместья Тампль. Подойдя и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос. Время от времени, лишь только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненный или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады соорудили из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха не тратили зря: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом. Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными. Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину. Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный; рассылающий смерть. Некото500

нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее прочности. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, виднелись едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась застава — неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.

Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.

То была баррикада предместья Тампль.

Подойдя и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.

Время от времени, лишь только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненный или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады соорудили из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха не тратили зря: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.

Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.

Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину.

Солдаты, построенные для атаки у Тампльской за-

рые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера. Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета. — А как построено! — сказал он, обращаясь к одному из депутатов. — Ни один камень не выдается. Точно из фарфора! В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал. — Трусы! — кричали солдаты. — Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся! Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержалась три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже. Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль — молчанием. Между двумя редутами была та же разница, как между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая — маской. Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй — сфинкс. Две эти крепости были созданы двумя людьми, по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бертелеми — баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил. Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он сын океана, порождение бури; он врывался в битву, как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, кроме гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, кроме божественного происхождения. 501

рые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.

Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета.

— А как построено! — сказал он, обращаясь к одному из депутатов.— Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!

В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.

— Трусы!—кричали солдаты.—Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!

Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержалась три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.

Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль — молчанием. Между двумя редутами была та же разница, как между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая — маской.

Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй — сфинкс.

Две эти крепости были созданы двумя людьми. по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бертелеми — баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил.

Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он сын океана, порождение бури; он врывался в битву, как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, кроме гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, кроме божест-

Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду. Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, впутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие — только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который несомненно был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня, начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя — черное. Глава вторая ЧТО ДЕЛАТЬ В БЕЗДНЕ, ЕСЛИ НЕ БЕСЕДОВАТЬ? Шестнадцать лет — немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшна. Под наблюдением Анжольраса повстанцы работали всю ночь. Мариус ни в чем не принимал участия. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу. Лестницу из булыжников починили, так что на баррикаду можно было всходить, как на крепостную стену.

Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.

Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, впутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие — только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который несомненно был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня, начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя — черное.

Глава вторая

ЧТО ДЕЛАТЬ В БЕЗДНЕ, ЕСЛИ НЕ БЕСЕДОВАТЬ?

Шестнадцать лет — немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшна.

Под наблюдением Анжольраса повстанцы работали всю ночь. Мариус ни в чем не принимал участия. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу.

Лестницу из булыжников починили, так что на

Всюду навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, раздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы. Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить. Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене против кабачка надпись: ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ! Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году. Три женщины воспользовались ночной передышкой и куда-то исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули. Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне,- которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь. В нижней зале остался только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу. — Здесь будет мертвецкая,— сказал Анжольрас. В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого стоящим во весь рост Жавером и лежащим Мабефом. Дышло омнибуса, хотя и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, и на нем укрепили знамя. Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира — всегда претворять слово в дело, — при503

Всюду навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, раздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.

Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить.

Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене против кабачка надпись:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!

Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.

Три женщины воспользовались ночной передышкой и куда-то исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Позстанцы облегченно вздохнули.

Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.

В нижней зале остался только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.

— Здесь будет мертвецкая,— сказал Анжольрас.

В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого стоящим во весь рост Жавером и лежащим Мабефом.

Дышло омнибуса, хотя и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, и на нем укрепили знамя.

вязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика. Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда Жанн, которого обступили повстанцы на баррикаде Сен-Мерри с криками: «Хлеба! Дайте есть!» — отвечал: «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты». Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порцйи. В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок. Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил: — Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли. — Вино, должно быть, отменное,— заметил Боссюэ,— хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки. Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф. Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек. Светало. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту, а сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло нежный неопределенный оттенок, не то белый, не то голубой. В вышине с радостным щебетаньем носились птицы. На крыше высокого дома, обращенного на восток и служившего 504

вязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.

Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда Жанн, которого обступили повстанцы на баррикаде Сен-Мерри с криками: «Хлеба! Дайте есть!» — отвечал: «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты».

Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.

В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок. Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил:

— Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли.

— Вино, должно быть, отменное,— заметил Боссюэ,— хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки.

Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.

Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.

Светало. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту, а сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло нежный неопределенный оттенок, не то белый, не то голубой. В вышине с ра-

опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека. — Я рад, что потушили факел, — сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, — меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит. Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили. Увидев кошку, пробиравшуюся по желобу на крыше, Жоли нашел повод для философских размышлений. — Что такое кошка? — воскликнул он. — Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стойка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка — это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка— это проверенный и исправленный пробный оттиск творения. Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал: — Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд — все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше столь чувствительно, а жизнь человеческая столь загадочна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, когда оно совершено, раскаянье в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству. И минуту спустя — так причудливы повороты мысли в беседе — от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро — с Курнаном, Курнана — с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту. — Убийство Цезаря справедливо, — сказал Комбефер. — Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость — не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе — Мольера, Поп — Шекспира, Фрерон — Вольтера, тут действует древний закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей 505

опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.

— Я рад, что потушили факел,— сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи,— меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.

Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.

Увидев кошку, пробиравшуюся по желобу на крыше, Жоли нашел повод для философских размышлений.

— Что такое кошка? — воскликнул он.— Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стойка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка — это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка — это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.

Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прювере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:

— Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд — все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше столь чувствительно, а жизнь человеческая столь загадочна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, когда оно совершено, раскаянье в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.

И минуту спустя — так причудливы повороты мысли в беседе — от стихов Жана Прювера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро — с Курнаном, Курнана — с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.

— Убийство Цезаря справедливо,— сказал Комбефер.— Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость — не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе — Мольера, Поп — Шекспира, Фрерон — Вольтера, тут действует древний закон зависти и ненависти: гении

всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше — как тиран: regia ac paene tyrannica ’. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога. Боссюэ, стоя на груде камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал: — О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! Кто дарует мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона! Глава третья ЧЕМ СВЕТЛЕЕ, ТЕМ МРАЧНЕЕ Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен. Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее посмеиваясь: Все так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень-восстание всего Парижа, на закате — революция. Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это 1 По-царски и почти тиранически (лат.). 506

всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше — как тиран: regia *ac paene tyrannica* [1]. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога.

Боссюэ, стоя на груде камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал:

— О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! Кто дарует мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!

Глава третья

ЧЕМ СВЕТЛЕЕ, ТЕМ МРАЧНЕЕ

Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.

Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее посмеиваясь. Все так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень — восстание всего Парижа, на закате — революция.

Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это

доказывало, что вторая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась. Все эти чаянья и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжанье пчелиного улья. Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал: — Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Нас покинули все. Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; казалось, слышался полет смерти. Но этот миг был краток. Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу: — Будь что будет! Подымем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов! Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ! Слова эти рассеяли гнетущий туман личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками. Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах, при зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь кануть во мрак, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества. Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на барри507

доказывало, что вторая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась.

Все эти чаянья и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжанье пчелиного улья.

Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:

— Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Нас покинули все.

Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; казалось, слышался полет смерти.

Но этот миг был краток.

Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:

— Будь что будет! Подымем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов! Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ!

Слова эти рассеяли гнетущий туман личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.

Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах, при зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь кануть во мрак, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.

Это непреклонное решение было настолько в духе

каде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!» Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно. Глава четвертая ПЯТЬЮ МЕНЬШЕ, ОДНИМ БОЛЬШЕ После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством. — Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного! — Почему же все? — спросил Анжольрас. — Все! Все! Анжольрас возразил: — Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок? — Потому что никто не захочет уйти, — отвечали ему. — Граждане! — крикнул Анжольрас, и голос его задрожал от гнева. — Республика не настолько богата людьми, чтобы губить их понапрасну. Такое тщеславие — просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны исполнить его, как всякий другой долг. Анжольрас, воплощенный принцип, признанный вождь, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот. Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном: — Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом. Ропот усилился. — Легко сказать: «Уйдите»! — послышался голос из рядов. — Ведь баррикада оцеплена. — Только не со стороны рынка, — возразил Ан508

каде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!»

Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.

Глава четвертая

ПЯТЬЮ МЕНЬШЕ, ОДНИМ БОЛЬШЕ

После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством.

— Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!

— Почему же все? — спросил Анжольрас.

— Все! Все!

Анжольрас возразил:

— Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?

— Потому что никто не захочет уйти,— отвечали ему.

— Граждане! — крикнул Анжольрас, и голос его задрожал от гнева.— Республика не настолько богата людьми, чтобы губить их понапрасну. Такое тщеславие — просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны исполнить его, как всякий другой долг.

Анжольрас, воплощенный принцип, признанный вождь, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.

Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:

— Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом.

Ропот усилился.

— Легко сказать: «Уйдите»! — послышался голос из рядов.— Ведь баррикада оцеплена.

жольрас — Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан. — Вот там-то и схватят, — раздался другой голос. — Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? — и поглядят на руки,— Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!» Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу. Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера. — В таком мундире, — сказал Анжольрас, — легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит. Он бросил мундиры на землю. Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер. — Полноте! — сказал он. — Будьте сострадательны. Знаете, о чем идет речь? О женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Поверьте, я сам хочу того же, но не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство — действие, строго ограниченное, не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, это уже убийство. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о седых стариках. Слушайте: Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А те, у ко509

жольрас.— Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.

— Вот там-то и схватят,— раздался другой голос.— Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? — и поглядят на руки.— Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!»

Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.

Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.

— В таком мундире,— сказал Анжольрас,— легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.

Он бросил мундиры на землю.

Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.

— Полноте! — сказал он.— Будьте сострадательны. Знаете, о чем идет речь? О женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Поверьте, я сам хочу того же, но не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство— действие, строго ограниченное, не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, это уже убийство. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о седых стариках. Слушайте: Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких сво-

го остались дочери, у кого остались сестры? О них вы подумали? Вы идете на смерть, вас убьют — прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Прелестные создания, ласковые и нежные ç цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими: эти пленительные благородные существа, гордость и благословение вашей семьи, ведь они — о боже! — они будут голодать! Что тут скрывать? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полураздетые женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар — вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах вот как, вы пошли на смерть? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованы, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве можно запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья: не упрямьтесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет — не слишком ли сгоряча это сказано? Друзья мои, наступит завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками; он болтает, щебечет, тараторит, смеется, он так вкус510

го остались дочери, у кого остались сестры? О них вы подумали? Вы идете на смерть, вас убьют — прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Прелестные создания, ласковые и нежные с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими: эти пленительные благородные существа, гордость и благословение вашей семьи, ведь они — о боже! — они будут голодать! Что тут скрывать? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полураздетые женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар — вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах вот как, вы пошли на смерть? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованы, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве можно запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья: не упрямьтесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет — не слишком ли сгоряча это сказано? Друзья мои, наступит завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками:

но пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками куски глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которые любят гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе; ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю: речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами! Все насупились. Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в такие мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом». Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений — упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все 511

но пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками куски глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которые любят гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе; ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю: речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!

Все насупились.

Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в такие мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».

Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое

больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти. Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть — к наслаждению. У отчаянья также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всякого происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно за огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны. Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела одна мысль — умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других. Он возвысил голос. — Анжольрас и Комбефер правы,— сказал он,— не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед. Никто не тронулся с места. — Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! — повторил Мариус. Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, считался Анжольрас, но Мариус был ее спасителем. — Я приказываю! — крикнул Анжольрас. — Я вас прошу, — сказал Мариус. Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга. — Это верно, — говорил молодой пожилому, — ты отец семейства, уходи. — Уж лучше ты, — отвечал тот, — у тебя две сестры на руках. Разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы. — Торопитесь, — сказал Комбефер, — через четверть часа будет поздно.

больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.

Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть — к наслаждению. У отчаянья также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всякого происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно за огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.

Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела одна мысль — умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.

Он возвысил голос.

— Анжольрас и Комбефер правы,— сказал он,— не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.

Никто не тронулся с места.

— Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! — повторил Мариус.

Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, считался Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.

— Я приказываю! — крикнул Анжольрас.

— Я вас прошу,— сказал Мариус.

Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга.

— Это верно,— говорил молодой пожилому,— ты отец семейства, уходи.

— Уж лучше ты,— отвечал тот,— у тебя две сестры на руках.

Разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.

— Торопитесь,— сказал Комбефер,— через чет-

— Граждане! — настаивал Ацжольрас. — У нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти. Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласной вышли из рядов. — Их пятеро! — воскликнул Мариус. Мундиров было только четыре. — Ну что же, одному придется остаться, — ответили пятеро. И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась. — У тебя любящая жена. — У тебя старая мать. — А у тебя ни отца, ни матери. Что станется с твоими тремя братишками? — У тебя пятеро детей. — Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать. На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное здесь становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу. — Скорее, скорее!— твердил Курфейрак. Из толпы закричали Мариусу: — Назначьте вы, кому остаться! — Верно, — сказали все пятеро, — выбирайте. Мы подчинимся. Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно. Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал: — Меня, меня, меня! Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем перевел глаза на четыре мундира. В этот миг на четыре мундира, как будто с неба, упал пятый. Пятый человек был спасен. Мариус поднял глаза и узнал Фошлевана. Жан Вальжан только что появился на баррикаде. 17. «Отверженные», т. 2. 513

— Граждане! — настаивал Анжольрас.— У нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.

Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.

— Их пятеро! — воскликнул Мариус.

Мундиров было только четыре.

— Ну что же, одному придется остаться,— ответили пятеро.

И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.

— У тебя любящая жена.

— У тебя старая мать.

— А у тебя ни отца, ни матери. Что станется с твоими тремя братишками?

— У тебя пятеро детей.

— Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.

На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное здесь становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.

— Скорее, скорее!— твердил Курфейрак.

Из толпы закричали Мариусу:

— Назначьте вы, кому остаться!

— Верно,—сказали все пятеро,—выбирайте. Мы подчинимся.

Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.

Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:

— Меня, меня, меня!

Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем перевел глаза на четыре мундира.

В этот миг на четыре мундира, как будто с неба, упал пятый.

Пятый человек был спасен.

Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно. Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост. Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих. Трудно описать всеобщее волнение. — Кто этот человек? — спросил Боссюэ. — Тот, кто спасает других, — ответил Комбефер. — Я знаю его, — многозначительно прибавил Мариус. Его поручительства было достаточно. Анжольрас обратился к Жану Вальжану: — Добро пожаловать, гражданин! И добавил: — Вы знаете, что нам придется умереть? Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу надеть мундир. Глава пятая КАКОЙ ГОРИЗОНТ ОТКРЫВАЕТСЯ С ВЫСОТЫ БАРРИКАДЫ Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса. Анжольрас казался воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного: он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял идеи Комбефера; с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогрес514

Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.

Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.

Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих.

Трудно описать всеобщее волнение.

— Кто этот человек?—спросил Боссюэ.

— Тот, кто спасает других,—ответил Комбефер.

— Я знаю его,—многозначительно прибавил Мариус.

Его поручительства было достаточно.

Анжольрас обратился к Жану Вальжану:

— Добро пожаловать, гражданин!

И добавил:

— Вы знаете, что нам придется умереть?

Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу надеть мундир.

Глава пятая

КАКОЙ ГОРИЗОНТ ОТКРЫВАЕТСЯ С ВЫСОТЫ БАРРИКАДЫ

Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.

Анжольрас казался воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного: он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял идеи Комбефера; с некоторых пор, высвобожда-

са, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год. Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; там, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, выражавшие глубокую сосредоточенность, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, и его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметавшаяся львиная грива. — Граждане, вы представляете себе будущее? — воскликнул Анжольрас. — Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям — полная свобода, верующим — полное равенство, вместо религии — небеса. Первосвященник — сам бог, вместо алтаря — совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских— братство; наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю— первый шаг; осуществить идеалшаг второй. Подумайте, сколь многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, — на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы приручили дракона, и он завется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот Прометеев подвиг, когда воля человека 515

са, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.

Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; там, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, выражавшие глубокую сосредоточенность, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, и его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметавшаяся львиная грива.

— Граждане, вы представляете себе будущее?— воскликнул Анжольрас.—Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям—полная свобода, верующим—полное равенство, вместо религии—небеса. Первосвященник — сам бог, вместо алтаря — совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских—братство; наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю—первый шаг; осуществить идеал—шаг второй. Подумайте, сколь многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра,—на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы приручили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завер-

окончательно обуздает трехликую Химеру древности — гидру, дракона и грифона, человек станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самом право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, — вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее — в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфиктионов происходили дважды в год: первый раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфиктионы Европы, будут амфиктионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! Ты прозреваешь грядущее, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца — право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось, ждет ли нас поражение или победа, — все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической, существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две такие верховные власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет самоотречения. Тут верховная власть, добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право — не что иное, как защита 516

окончательно обуздает трехликую Химеру древности — гидру, дракона и грифона, человек станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самом право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной,— вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее — в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфиктионов происходили дважды в год: первый раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфиктионы Европы, будут амфиктионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! Ты прозреваешь грядущее, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца — право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось, ждет ли нас поражение или победа,— все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической, существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две такие верховные власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет самоотречения. Тут верховная власть, добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок,

всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальными связями. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор». Контракт, восходит к понятию contrato — связывать. Условимся, как понимать равенство. Если свобода — вершина, то равенство — основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспложивают друг друга; в социальном отношении — это открытая дорога для всех способностей, в политическом — равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном — свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие — бесплатное обязательное обучение. Право на грамоту — вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем — вот основной закон. Следствием одинакового образования будет общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане! Девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет ничего общего с прошлым. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в королевской семье, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни войн, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяго517

всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальными связями. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор». Контракт, восходит к понятию *contrato*—связывать. Условимся, как понимать равенство. Если свобода — вершина, то равенство — основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспложивают друг друга; в социальном отношении — это открытая дорога для всех способностей, в политическом — равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном — свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие — бесплатное обязательное обучение. Право на грамоту — вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем — вот основной закон. Следствием одинакового образования будет общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане! Девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет ничего общего с прошлым. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в королевской семье, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни войн, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония: дух

теют к солнцу. Друзья! Мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция — это наш выкуп. Человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих идей и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи — свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись, станут нашей смертью. Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари. Анжольрас закончил свою речь — вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром. Глава шестая МАРИУС УГРЮМ, ЖАВЕР ЛАКОНИЧЕН Поговорим о том, что происходило в душе Мариуса. Припомним его состояние. Как мы недавно отметили, все представлялось ему неясным видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, будто он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца. Как очутился здесь Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус не задавался такими вопросами. К. тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также им охвачены, поэ518

теют к солнцу. Друзья! Мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция — это наш выкуп. Человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих идей и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи — свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись, станут нашей смертью. Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари.

Анжольрас закончил свою речь — вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.

Глава шестая

МАРИУС УГРЮМ, ЖАВЕР ЛАКОНИЧЕН

Поговорим о том, что происходило в душе Мариуса.

Припомним его состояние. Как мы недавно отметили, все представлялось ему неясным видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, будто он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.

Как очутился здесь Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус не задавался такими

тому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть. Сердце его сжималось только при мысли оКозетте. Впрочем, Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его». Такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже — радовало, если бы это слово подходило к его состоянию. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить с этим загадочным человеком, подозрительным и вместе с тем внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус. Пятеро избранных ушли с баррикады и направились по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался. Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись. — Тебе ничего не нужно? — спросил Анжольрас. — Когда вы убьете меня? — спросил Жавер. — Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету. — Тогда дайте мне пить,— сказал Жавер. Анжольрас подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться. — Это все? — снова спросил Анжольрас. — Я устал стоять у столба, — отвечал Жавер. — Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого? Кивком головы он указал на труп Мабефа. Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился. По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили скрученными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволявшим делать шаги в пятнадцать дюй519

тому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть.

Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.

Впрочем, Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».

Такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже—радовало, если бы это слово подходило к его состоянию. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить с этим загадочным человеком, подозрительным и вместе с тем внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.

Пятеро избранных ушли с баррикады и направились по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.

Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.

— Тебе ничего не нужно?— спросил Анжольрас.

— Когда вы убьете меня?— спросил Жавер.

— Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.

— Тогда дайте мне пить,— сказал Жавер.

Анжольрас подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.

— Это все?— снова спросил Анжольрас.

— Я устал стоять у столба,— отвечал Жавер.— Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?

Кивком головы он указал на труп Мабефа.

Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.

По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили скрученными за спиной, а ноги опутали тонким, но прочным

мов, — так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела. Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, но для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук. Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, — он закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил: — Этого следовало ожидать. Глава седьмая ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ Становилось все светлее. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась: это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; мостовая казалась безлюдной — она простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни души. Нет ничего мрачнее пустынных улиц при утреннем свете. Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась решительная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали, на этот раз всех до одного. Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше. Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение: он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор 520

мов,— так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.

Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, но для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.

Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул,— он закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил:

— Этого следовало ожидать.

Глава седьмая

ПОЛОЖЕНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

Становилось все светлее. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась: это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; мостовая казалась безлюдной — она простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни души. Нет ничего мрачнее пустынных улиц при утреннем свете.

Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась решительная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали, на этот раз всех до одного.

Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.

Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район

оставался свободным. Для этого разобрали мостовую еще вдоль нескольких домов. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной — спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, — стала почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода.
— Не то крепость, не то мышеловка, — сказал, смеясь, Курфейрак. У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ. В той стороне, откуда ждали нападения, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты. Каждому выдали порцию водки. Нет ничего необычайнее баррикады, которая готовится выдержать атаку. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислонится к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены — от него отходят подальше; там выступ — надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи. Как только командир приказал готовиться к бою, беспорядочная суета на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением — воплощенный хаос; в грозный час — воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок. Лишь только Анжольрас взял свой двуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием в виде бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложен521

оставался свободным. Для этого разобрали мостовую еще вдоль нескольких домов. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной — спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур,— стала почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода.

— Не то крепость, не то мышеловка,— сказал, смеясь, Курфейрак.

У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.

В той стороне, откуда ждали нападения, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.

Каждому выдали порцию водки.

Нет ничего необычайнее баррикады, которая готовится выдержать атаку. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислонится к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены — от него отходят подальше; там выступ — надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.

Как только командир приказал готовиться к бою, беспорядочная суета на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением — воплощенный хаос; в грозный час — воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.

Лишь только Анжольрас взял свой двуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием

ной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья. Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние — последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти — это способ избежать гибели, и крышка гроба становится тогда якорем спасения. Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, вернее — приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой. Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, непохожее на щум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звяканье меди, какой-то торжественный грохот — все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, — улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов военной колесницы. Бойцы напряженно вглядывались вдаль. И вот показалась пушка. Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль. — Огонь! — скомандовал Анжольрас. С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова. Канониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу. — Браво, артиллеристы! — вскричал Боссюэ. Баррикада разразилась рукоплесканиями. Минуту спустя, прочно утвердившись на самой се522

ной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.

Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние — последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти — это способ избежать гибели, и крышка гроба становится тогда якорем спасения.

Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, вернее — приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.

Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, непохожее на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звяканье меди, какой-то торжественный грохот — все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей,— улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов военной колесницы.

Бойцы напряженно вглядывались вдаль.

И вот показалась пушка.

Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.

— Огонь! — скомандовал Анжольрас.

С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова. Канониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.

— Браво, артиллеристы! — вскричал Боссюэ.

редине улицы, оседлйв канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть. — А ну, валяй! — проговорил Курфейрак. — Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово тряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют. — Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, — добавил Комбефер. — Такие орудия при малейшем нарушении пропорции — на сто частей меди десять частей олова — могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут образоваться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются чем могут помочь горю: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ: это движущаяся искра Грибоваля. — В шестнадцатом веке пушки были нарезные,— заметил Боссюэ. — Да,: — подтвердил Комбефер, — это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямо и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила, в сущности, большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света — семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном. — Зарядите ружья, — приказал Анжольрас. Способна ли баррикада выдержать пушечное ядро? Пробьет ли ее залпом? Вот в чем вопрос. Пока по523

редине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.

— А ну, валяй! — проговорил Курфейрак.— Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово тряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.

— Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы,— добавил Комбефер.— Такие орудия при малейшем нарушении пропорции — на сто частей меди десять частей олова — могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут образоваться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются чем могут помочь горю: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ: это движущаяся искра Грибоваля.

— В шестнадцатом веке пушки были нарезные,— заметил Боссюэ.

— Да,— подтвердил Комбефер,— это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямо и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила, в сущности, большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света — семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.

— Зарядите ружья,— приказал Анжольрас.

встанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку. — Защитники редута застыли в тревожном ожидании. Грянул выстрел, раздался грохот. — Есть! — крикнул веселый голос. И в ту же секунду как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош. Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной. Гэврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро. Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом. — Валяйте дальше! — крикнул артиллеристам Боссюэ. Глава восьмая АРТИЛЛЕРИСТЫ ДАЮТ ПОНЯТЬ, ЧТО С НИМИ ШУТКИ ПЛОХИ Гавроша обступили. Но он не успел ничего рассказать. Мариус, весь дрожа, отвел его в сторону. — Зачем ты сюда пришел? — Вот те на! — воскликнул мальчик. — А вы-то сами? И он смерил Мариуса спокойным, дерзким взглядом. Его глаза сияли гордостью. Мариус продолжал строгим тоном: — Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу? По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы вый524

встанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.

— Защитники редута застыли в тревожном ожидании.

Грянул выстрел, раздался грохот.

— Есть! — крикнул веселый голос.

И в ту же секунду как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.

Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.

Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.

Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.

— Валяйте дальше! — крикнул артиллеристам Боссюэ.

Глава восьмая

АРТИЛЛЕРИСТЫ ДАЮТ ПОНЯТЬ, ЧТО С НИМИ ШУТКИ ПЛОХИ

Гавроша обступили.

Но он не успел ничего рассказать. Мариус, весь дрожа, отвел его в сторону.

— Зачем ты сюда пришел?

— Вот те на! — воскликнул мальчик.— А вы-то сами?

И он смерил Мариуса спокойным, дерзким взглядом. Его глаза сияли гордостью.

Мариус продолжал строгим тоном:

— Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?

По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без

ти из положения, он избрал самый простой способ — начал бессовестно врать. — Гражданин! Я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется. Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель — проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться половиной задуманного. Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на Фошлевана, он спросил: — Ты знаешь этого человека? — Нет, — ответил Гаврош. Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только ночью. Смутные болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения Фошлевана? Может быть, Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою вполне понятно. Между тем Гаврош, удрав на другой конец баррикады, кричал: — Где мое ружье? Курфейрак приказал отдать ему оружие. Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы. Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил: — А теперь всыпьте им как следует. Между тем Анжольрас, стоя у бойницы, с напряженным вниманием следил за противником. Осаждавшие, видимо, не очень довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли. Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, по_. зади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала вид# 526

ти из положения, он избрал самый простой способ — начал бессовестно врать.

— Гражданин! Я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.

Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель — проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться половиной задуманного.

Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на Фошлевана, он спросил:

— Ты знаешь этого человека?

— Нет,— ответил Гаврош.

Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только ночью.

Смутные болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения Фошлевана? Может быть, Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою вполне понятно.

Между тем Гаврош, удрав на другой конец баррикады, кричал:

— Где мое ружье?

Курфейрак приказал отдать ему оружие.

Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.

Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:

— А теперь всыпьте им как следует.

Между тем Анжольрас, стоя у бойницы, с напряженным вниманием следил за противником.

Осаждавшие, видимо, не очень довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.

Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, неболь-

нелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени. Анжолърасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу. — Нагните головы, прижмитесь к стене! — крикнул Анжольрас. — Станьте на колени вдоль баррикады! Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп. Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих. Было ясно, что если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее. Послышались тревожные возгласы. — Попробуем помешать второму выстрелу! — сказал Анжольрас. Опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел. Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну. Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу. — Как жаль! — сказал он. — До чего отвратительна эта бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Подумай: быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы — народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом. — Он и есть мой брат, — произнес Анжольрас. 526

нелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.

Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.

— Нагните головы, прижмитесь к стене! — крикнул Анжольрас.— Станьте на колени вдоль баррикады!

Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.

Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.

Было ясно, что если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.

Послышались тревожные возгласы.

— Попробуем помешать второму выстрелу! — сказал Анжольрас.

Опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.

Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.

Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.

— Как жаль! — сказал он.— До чего отвратительна эта бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Подумай: быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы — народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое боль-

— Ну да, и мой тоже, — продолжал Комбефер. — Послушай, давай пощадим его! — Оставь. Так надо. По бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза. В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, что по спине его, между лопатками, течет струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мертв. Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут. Глава девятая НА ЧТО МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ СТАРЫЙ ТАЛАНТ БРАКОНЬЕРА И МЕТКОСТЬ В СТРЕЛЬБЕ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ПРИГОВОР 1796 ГОДА На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара. Анжольрас отдал приказание: — Вон туда надо положить тюфяк. — У нас нет лишних, — возразил Комбефер, — на них лежат раненые. Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него: — Экая досада! Ружье пропадает зря. Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся. Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волоски, ясно выделялись на фоне неба. 527

— Ну да, и мой тоже,— продолжал Комбефер.— Послушай, давай пощадим его!

— Оставь. Так надо.

По бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.

В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, что по спине его, между лопатками, течет струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мертв.

Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.

Глава девятая

НА ЧТО МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ СТАРЫЙ ТАЛАНТ БРАКОНЬЕРА И МЕТКОСТЬ В СТРЕЛЬБЕ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ПРИГОВОР 1796 ГОДА

На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара.

Анжольрас отдал приказание:

— Вон туда надо положить тюфяк.

— У нас нет лишних,— возразил Комбефер,— на них лежат раненые.

Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него:

— Экая досада! Ружье пропадает зря.

Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся.

Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волоски, ясно выделя-

— Дайте мне кто-нибудь двуствольный карабин! — сказал Жан Вальжан. Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое. Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил. Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась. Тюфяк держался теперь только на одной. Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую. Баррикада зааплодировала. Все кричали в один голос: — Вот и тюфяк! — Так-то так,— заметил Комбефер,— но кто пойдет за ним? В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить пушку, поневоле молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью. Жан Вальжан пролез через оставленную в баррикаде брешь, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду. Он загородил тюфяком опасный пролом и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть. Покончив с этим, стали ждать залпа. И вот он раздался. Пушка с ревом изрыгнула картечь. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была надежно защищена. — Гражданин! — обратился Анжольрас к Жану Вальжану. — Республика благодарит вас. Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал: — Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку! 528

— Дайте мне кто-нибудь двуствольный карабин!— сказал Жан Вальжан.

Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.

Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.

Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.

Тюфяк держался теперь только на одной.

Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.

Баррикада зааплодировала.

Все кричали в один голос:

— Вот и тюфяк!

— Так-то так,— заметил Комбефер,— но кто пойдет за ним?

В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить пушку, поневоле молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.

Жан Вальжан пролез через оставленную в баррикаде брешь, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.

Он загородил тюфяком опасный пролом и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть.

Покончив с этим, стали ждать залпа.

И вот он раздался.

Пушка с ревом изрыгнула картечь. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была надежно защищена.

— Гражданин! — обратился Анжольрас к Жану Вальжану.— Республика благодарит вас.

Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:

— Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над

Глава десятая ЗАРЯ В эту самую минуту Козетта проснулась. У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившим на задний двор, на восток. Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою спальню, когда Тусен сказала: — В городе что-то неладно. Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились приятные сны, может быть, потому, что се постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, весь сияющий. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, будто сон продолжается. Сон навеял ей радостные мысли. Козетта совершенно успокоилась. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги; ей не хотелось верить в несчастье. Она надеялась всем сердцем, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он наверное получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И непременно придет сегодня, может быть, даже утром. Было уже совсем светло, но лучи солнца падали отвесно; еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса. Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса — как только господь бог допустил это! Теперь все жестокие шутки судьбы, все испытания позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность: она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность — улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой — естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой. К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии — 529

Глава десятая

ЗАРЯ

В эту самую минуту Козетта проснулась.

У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившим на задний двор, на восток.

Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою спальню, когда Тусен сказала:

— В городе что-то неладно.

Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились приятные сны, может быть, потому, что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, весь сияющий. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, будто сон продолжается.

Сон навеял ей радостные мысли. Козетта совершенно успокоилась. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги; ей не хотелось верить в несчастье. Она надеялась всем сердцем, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он наверное получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И непременно придет сегодня, может быть, даже утром. Было уже совсем светло, но лучи солнца падали отвесно; еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса.

Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса — как только господь бог допустил это! Теперь все жестокие шутки судьбы, все испытания позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность: она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность — улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой — естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.

самое большее на один день — и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с. каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами такую же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга — и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта подосадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть, что ей сказал Мариус. Она встала с постели и совершила двойное омовение — души и тела, молитву и умывание. Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи редко на это осмеливаются, а прозе вход туда запрещен. Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще не расцветшая, священна. Полураскрытая девичья постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, смущение, легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака, — рассказывать об этом не подобает, упоминать об этом — и то уже дерзость. Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки — все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка — это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор — грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать — значит осквернять. 530

самое большее на один день — и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами такую же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга — и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта подосадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть, что ей сказал Мариус.

Она встала с постели и совершила двойное омовение — души и тела, молитву и умывание.

Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи редко на это осмеливаются, а прозе вход туда запрещен.

Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще не расцветшая, священна. Полураскрытая девичья постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, смущение, легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака,— рассказывать об этом не подобает, упоминать об этом — и то уже дерзость.

Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки — все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка — это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор —

Поэтому мы не будем описывать милой утренней суетни Козетты. В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распустилась, и она застыдилась и заалела. Мы из тех, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы преклоняемся перед ними. Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было' очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, а в просветах меж ними виднелись какие-то сады. Козетта нашла, что сады отвратитёльны: первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Она стала смотреть в небо, словно думая, что Мариус может явиться и оттуда. Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду — значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не радостной, а зловещей. Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее устах. В доме все еще спали. Здесь царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, что и отец ее, конечно, спит. Видно, много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой 531

Поэтому мы не будем описывать милой утренней суетни Козетты.

В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распустилась, и она застыдилась и заалела. Мы из тех, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы преклоняемся перед ними.

Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, а в просветах меж ними виднелись какие-то сады. Козетта нашла, что сады отвратительны: первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Она стала смотреть в небо, словно думая, что Мариус может явиться и оттуда.

Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду — значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не радостной, а зловещей.

Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее устах.

В доме все еще спали. Здесь царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, что и отец ее, конечно, спит. Видно, много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным.

ранний час хлопают воротами!» То были пушечные залпы, громившие баррикаду. Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство, здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, в сиянии утра расцветала нежная тайна. С солнцем в волосах, с мечтами в душе, освещенная зарей и светившаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда. Глава одиннадцатая РУЖЬЕ, КОТОРОЕ БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА, НО НИКОГО НЕ УБИВАЕТ Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню станет заметно, что патроны и порох на исходе, дают приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала. При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения. — Ладно, — говорил он, — рвите тряпье, нам как раз нужна корпия. Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке: 532

ранний час хлопают воротами!» То были пушечные залпы, громившие баррикаду.

Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство, здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, в сиянии утра расцветала нежная тайна. С солнцем в волосах, с мечтами в душе, освещенная зарей и светившаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.

Глава одиннадцатая

РУЖЬЕ, КОТОРОЕ БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА, НО НИКОГО НЕ УБИВАЕТ

Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню станет заметно, что патроны и порох на исходе, дают приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.

При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.

— Ладно,— говорил он,— рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.

— Эй, тетушка, ты что-то заболталась! В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творится за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен вниз, внутрь баррикады. — Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, — сказал Анжольрас. Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье. Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела 'на мостовую. Испуганный солдат скрылся. На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась. — Почему вы не убили его? — спросил Боссюэ у Жана Вальжана. Жан Вальжан не ответил. Глава двенадцатая БЕСПОРЯДОК НА СЛУЖБЕ ПОРЯДКА — Он не ответил на мой вопрос, — шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу. — Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, — ответил Комбефер. Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из

— Эй, тетушка, ты что-то заболталась!

В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творится за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен вниз, внутрь баррикады.

— Этот соглядатай нам вовсе ни к чему,— сказал Анжольрас.

Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.

Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат скрылся.

На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.

— Почему вы не убили его? — спросил Боссюэ у Жана Вальжана.

Жан Вальжан не ответил.

Глава двенадцатая

БЕСПОРЯДОК НА СЛУЖБЕ ПОРЯДКА

— Он не ответил на мой вопрос,— шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.

— Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов,— ответил Комбефер.

Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни

«Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, буржуазную и вместе с тем героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать «Марсельезу». Буржуа мужественно проливали кровь ради прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку — этот микрокосм родины. В сущности это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие. Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благонамеренных). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти полковника национальной гвардии; то капитан шел в огонь по вдохновению, а национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала правопорядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, клипером, как Анри Фонфред. Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества. Усёрдие становилось иногда гибельным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев своей властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке и в монархической Европе. Но суду Линча 534

«Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, буржуазную и вместе с тем героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать «Марсельезу». Буржуа мужественно проливали кровь ради прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку — этот микрокосм родины.

В сущности это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.

Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благонамеренных). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти полковника национальной гвардии; то капитан шел в огонь по вдохновению, а национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала правопорядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.

Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.

Усердие становилось иногда гибельным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев своей властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так

легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания, на Королевской площади, национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом Поль-Эме Гранье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома № 6. Ему кричали: «Вот еще один сен-симонист!», его чуть не убили. На самом же деле он нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!» 6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатичный и своенравный приверженец «правительственное™», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока — он домогался чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, как выразился один из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм. Его люди были такие же смельчаки, как он сам, — «бесноватые», как сказал один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и половины расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты вы535

легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания, на Королевской площади, национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом Поль-Эме Гранье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома № 6. Ему кричали: «Вот еще один сен-симонист!», его чуть не убили. На самом же деле он нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!»

6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатичный и своенравный приверженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока — он домогался чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, как выразился один из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.

Его люди были такие же смельчаки, как он сам,— «бесноватые», как сказал один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и половины расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Чет-

стрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и безрассудный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком. Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса. — Глупцы! — воскликнул он. — Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды. Анжольрас говорил, как истый командир восстания, да он и был таковым. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая Венсенским арсеналом, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут, как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие guid divinum1, веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью,— и перед войском, разъяренным львом, спокойно, с величием пророка, встает Франций. Чего-то божественного (мт.). 536

стрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и безрассудный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком.

Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.

— Глупцы! — воскликнул он.— Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды.

Анжольрас говорил, как истый командир восстания, да он и был таковым. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая Венсенским арсеналом, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут, как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие *guid divinum* [1], веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью,— и перед войском, разъяренным львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.

Глава тринадцатая ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ ГАСНУТ

В хаосе чувств и страстей, волновавших защитников баррикады, было всего понемногу: смелость, молодость, гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт, — а главное, лучи надежды. Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила, в самый неожиданный миг, баррикаду Шанврери. — Слушайте! — крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. — Кажется, Париж просыпается. И действительно: утром 6 июня, в течение часа или двух, могло казаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал в одиночку на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул: — Вот и еще одним врагом меньше! Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какаято женщина стреляла в муниципальных гвардейцев пз окна. Видно было, как при каждом выстреле вздрагивают планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты произвели нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир, со главе с генералом Кавеньяком де Барань, неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью, — это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на головы ночные горшки, мы пропали». Эти грозные симптомы, появившиеся в то время, когда считалось, что бунт уже подавлен, нараставший гнев толпы, искры, вспыхивавшие в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, — все это сильно встревожило военачальников. Они спешили потушить очаги пожара. До тех пор, пока не бы537

Глава тринадцатая

ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ ГАСНУТ

В хаосе чувств и страстей, волновавших защитников баррикады, было всего понемногу: смелость, молодость, гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт,— а главное, лучи надежды.

Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила, в самый неожиданный миг, баррикаду Шанврери.

— Слушайте! — крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста.— Кажется, Париж просыпается.

И действительно: утром 6 июня, в течение часа или двух, могло казаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал в одиночку на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул:

— Вот и еще одним врагом меньше!

Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев из окна. Видно было, как при каждом выстреле вздрагивают планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты произвели нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир, во главе с генералом Кавеньяком де Барань, неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью,— это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на головы ночные горшки, мы пропали».

Эти грозные симптомы, появившиеся в то время, когда считалось, что бунт уже подавлен, нараставший гнев толпы, искры, вспыхивавшие в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа,—

v» и подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить с ними одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, откуда стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры вызвали громкий ропот и беспорядочный гул, обычный при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку: — Эти раненые не с нашей стороны. Однако надежда длилась недолго, луч её быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего смельчаков на произвол судьбы. Всеобщее восстание, как будто намечавшееся, заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались. Солнце поднималось все выше. Один из повстанцев обратился к Анжольрасу: — Мы голодны. Неужто мы так и умрем, не поевши? Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой. Глава четырнадцатая, ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ИМЯ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ АНЖОЛЬРАСА Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, именуемое картечью, он встречал его взрывом насмешек. 538

ли подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить с ними одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, откуда стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры вызвали громкий ропот и беспорядочный гул, обычный при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку:

— Эти раненые не с нашей стороны.

Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего смельчаков на произвол судьбы.

Всеобщее восстание, как будто намечавшееся, заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.

Солнце поднималось все выше.

Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:

— Мы голодны. Неужто мы так и умрем, не поевши?

Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.

Глава четырнадцатая,
ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ИМЯ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ АНЖОЛЬРАСА

Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное обла-

— Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель. Все вокруг хохотали. Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых росли вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем. — Я восторгаюсь Анжольрасом, — говорил Боссюэ. — Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; его величие обрекает его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы; они сводят нас с ума и превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим милым гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике. Всеми героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины — что пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, — это просто неслыханно. Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, тот уловил бы, как он прошептал: Patria Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул: — А вот еще одна! И с важностью дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил: — Ее превосходительство Восьмидюймовка. В самом деле, на сцене появилось новое действующее лицо — второе пушечное жерло. Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым. Это приближало развязку. Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, открыли стрельбу по редуту прямой наводкой; 1 Родина (лат.). 539

— Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.

Все вокруг хохотали.

Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых росли вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.

— Я восторгаюсь Анжольрасом,— говорил Боссюэ.— Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; его величие обрекает его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы; они сводят нас с ума и превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим милым гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике. Всеми героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины — что пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь,— это просто неслыханно.

Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, тот уловил бы, как он прошептал:

Patria [1].

Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:

— А вот еще одна!

И с важностью дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:

— Ее превосходительство Восьмидюймовка.

В самом деле, на сцене появилось новое действующее лицо — второе пушечное жерло.

Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым.

Это приближало развязку.

Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, открыли стрельбу по редуту прямой наводкой;

взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами. Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных с улицы Сен-Дени и с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо. Лай этих злобных псов войны звучал согласно. Одна из пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, палила картечью, другая ядрами. Пушка, стрелявшая ядрами, была приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью. Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри; словом, это предвещало штурм. Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью — от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как вчера вечером, и — кто знает? — быть может, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом. — Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, — сказал Анжольрас и громко скомандовал: — Огонь по артиллеристам! Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и вскоре сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже. — Здорово! — сказал Боссюэ Анжольрасу. — Это успех. Анжольрас ответил, покачав головой: — Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов. Должно быть, Гаврош слышал эти слова. 540

взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.

Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных с улицы Сен-Дени и с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо.

Лай этих злобных псов войны звучал согласно.

Одна из пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, палила картечью, другая ядрами.

Пушка, стрелявшая ядрами, была приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.

Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри; словом, это предвещало штурм.

Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью — от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как вчера вечером, и — кто знает? — быть может, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.

— Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки,— сказал Анжольрас и громко скомандовал: — Огонь по артиллеристам!

Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и вскоре сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.

— Здорово! — сказал Боссюэ Анжольрасу.— Это успех.

Анжольрас ответил, покачав головой:

— Еще четверть часа такого успеха, и на баррика-

Глава пятнадцатая ВЫЛАЗКА ГАВРОША Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень. Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать патронташи национальных гвардейцев, убитых у подножия редута. — Что ты там делаешь? — крикнул Курфейрак. Гаврош задрал нос кверху. — Наполняю свою корзинку, гражданин. — Да ты не видишь картечи, что ли? — Эка невидаль! — отвечал Гаврош. — Дождик идет. Ну и что ж? — Назад! — крикнул Курфейрак. — Сию минуту, — ответил Гаврош и одним прыжком очутился посреди улицы. Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил множество трупов. Не менее двадцати убитых лежало на мостовой вдоль всей улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов — для баррикады. Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облако в ущелье меж двух отвесных гор, тот может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно вздымалась, все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся с трудом различали друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой. Мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная командирами, которые руководили штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу. Под покровом дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он пробрался довольно далеко, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок. Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи. С баррикады, от которой он отошел не так уж дале

Глава пятнадцатая

ВЫЛАЗКА ГАВРОША

Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень.

Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать патронташи национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.

— Что ты там делаешь? — крикнул Курфейрак.

Гаврош задрал нос кверху.

— Наполняю свою корзинку, гражданин.

— Да ты не видишь картечи, что ли?

— Эка невидаль! — отвечал Гаврош.— Дождик идет. Ну и что ж?

— Назад! — крикнул Курфейрак.

— Сию минуту,— ответил Гаврош и одним прыжком очутился посреди улицы.

Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил множество трупов.

Не менее двадцати убитых лежало на мостовой вдоль всей улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов — для баррикады.

Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облако в ущелье меж двух отвесных гор, тот может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно вздымалась, все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся с трудом различали друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.

Мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная командирами, которые руководили штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.

Под покровом дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он пробрался довольно далеко, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.

Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.

ко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов. На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу. — Пригодится вина напиться,— сказал он, пряча ее в карман. Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане. В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля. — Какого черта! — фыркнул Гаврош. — Они убивают моих покойников. Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку. Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья. Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел: Все обитатели Нантера Уроды по вине Вольтера. Все старожилы Палессо Болваны по вине Руссо. Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, пошел опустошать следующую патронную сумку. Мимо пролетела четвертая пуля. Гаврош распевал: Не удалась моя карьера, И это по вине Вольтера. Судьбы сломалось колесо, И в этом виноват Руссо. Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет: Я не беру с ханжей примера, И это по вине Вольтера. А бедность мною, как в серсо, Играет по вине Руссо. Так продолжалось довольно долго. Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал врагов. Каза542

ко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.

На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.

— Пригодится вина напиться,— сказал он, пряча ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.

В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.

— Какого черта! — фыркнул Гаврош.— Они убивают моих покойников.

Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.

Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.

Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:

Все обитатели Нантера
Уроды по вине Вольтера.
Все старожилы Палессо
Болваны по вине Руссо.

Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, пошел опустошать следующую патронную сумку. Мимо пролетела четвертая пуля. Гаврош распевал:

Не удалась моя карьера,
И это по вине Вольтера.
Судьбы сломалось колесо,
И в этом виноват Руссо.

Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:

Я не беру с ханжей примера,
И это по вине Вольтера.
А бедность мною, как в серсо,
Играет по вине Руссо.

Так продолжалось довольно долго.

лось, он веселился от души. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывал ей нос и в то же время не переставал искать патроны, опустошать сумки и наполнять корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он — он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а гном. Сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу. Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел: Я пташка малого размера, И это по вине Вольтера. Но могут на меня лассо Накинуть по вине... Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер. Глава шестнадцатая КАК БРАТ МОЖЕТ СТАТЬ ОТЦОМ В это самое время по Люксембургскому саду — ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме — шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокнув под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, стар543

лось, он веселился от души. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывал ей нос и в то же время не переставал искать патроны, опустошать сумки и наполнять корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он — он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а гном. Сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.

Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:

Я пташка малого размера,
И это по вине Вольтера.
Но могут на меня лассо
Накинуть по вине...

Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер.

Глава шестнадцатая

КАК БРАТ МОЖЕТ СТАТЬ ОТЦОМ

В это самое время по Люксембургскому саду — ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме — шли двое детей, держась за руки. Одному можно

ший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек. — Мне ужасно хочется есть,— говорил младший. Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик. Они были совсем одни в саду. Здесь было пусто, так как полиция по случаю восстания распорядилась запереть садовые ворота. Отряды войск, стоявшие здесь бивуаком, ушли сражаться. Как попали сюда эти ребята? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости — у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью: Invenerunt parvulum pannis involutum а может быть, накануне вечером, при закрытии парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили, где вздумается, и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит, где вздумается, и пользуется полной свободой,— значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились. Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош: сыновья Тенардье, подброшенные Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром. Их одежда, такая опрятная при заботливой Маньон, старавшейся угодить Жильнорману, обратилась в рубище. Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой. Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад: если бы сторожа их заметили, они прогнали бы этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами. 1 Нашли младенца, завернутого в пеленки (лат.). 544

ший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек.

— Мне ужасно хочется есть,— говорил младший.

Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик.

Они были совсем одни в саду. Здесь было пусто, так как полиция по случаю восстания распорядилась запереть садовые ворота. Отряды войск, стоявшие здесь бивуаком, ушли сражаться.

Как попали сюда эти ребята? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости — у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью: *Invenerunt parvulum pannis involutum* [1], а может быть, накануне вечером, при закрытии парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили, где вздумается, и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит, где вздумается, и пользуется полной свободой,— значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.

Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош: сыновья Тенардье, подброшенные Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.

Их одежда, такая опрятная при заботливой Маньон, старавшейся угодить Жильнорману, обратилась в рубище.

Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.

Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад: если бы сторожа их заметили, они прогнали бы этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.

Эти двое проникли сюда через запертые решетки. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, захваченные общим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников. Накануне шел дождь, да и утром слегка накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка. Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет словно ' пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью. Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы — в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна — преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать. Некоторые люди и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погружен-, ные в мир чудес, в обожание природы, безразличные к добру и злу, созерцатели вселенной, равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода,— зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями? Эти уравновешенные бесстрастные души не знают жалости и всем довольны. Как ни странно, им достаточно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее 545 18. «Отверженные», т. 2.

Эти двое проникли сюда через запертые решетки. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, захваченные общим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.

Накануне шел дождь, да и утром слегка накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.

Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет словно пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.

Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы — в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна — преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.

Некоторые люди и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, в обожание природы, безразличные к добру и злу, созерцатели вселенной, равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода,— зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями? Эти уравновешенные бесстрастные души не знают жалости и всем довольны. Как ни странно, им достаточно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно

прогресс, благородный труд, не занимает их мыслей. Все, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью — и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание — вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, — стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, и великих и ничтожных. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят. прекрасным, если на дворе май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака, они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы. Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба. По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому примеру Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце? 546

прогресс, благородный труд, не занимает их мыслей. Все, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью — и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание — вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне,— стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, и великих и ничтожных. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака, они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.

Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба.

По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому примеру Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ни-

Но как же быть тогда, кому верить? Solem quis dicere falsum audeat ? 1 Неужели гении, богочеловеки, люди-светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество. 6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетанье пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны — языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, участие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, когда ее целуешь. Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, пронизанной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя. 1 Кто осмелится назвать солнце лживым? (лат.) — Вергил и й, «Георгики». 547

Но как же быть тогда, кому верить? *Solem quis dicere falsum audeat?* [1] Неужели гении, богочеловеки, люди-светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.

6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетанье пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны — языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, участие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, когда ее целуешь.

Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, пронизанной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.

В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испаре* ний; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; в дуновениях, напоенных любовью, в игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, небесного миллионера, бога. Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета стройно вступали и умолкали; когда отцветала сирень, распускался жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра шелестели роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме». Вся природа пировала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громад^ ная зеленая скатерть; солнце светило a giorno Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби — конопляное семя, зяблики — просо, щеглы — куросле п, малиновки — червей, пчелы — цветы, мухи — инфузорий, дубоносы — мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла, но ни одна тварь не оставалась голодной. Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неоду1 Ярко (итал.). 548

В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; в дуновениях, напоенных любовью, в игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, небесного миллионера, бога.

Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета стройно вступали и умолкали; когда отцветала сирень, распускался жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра шелестели роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».

Вся природа пировала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило *a giorno* [1]. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби — конопляное семя, зяблики — просо, щеглы — куросле́п, малиновки — червей, пчелы — цветы, мухи — инфузорий, дубоносы — мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла, но ни одна тварь не оставалась голодной.

Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого

шевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей. Время от времени, когда поднимался ветер, откудато смутно доносились крики, гул голосов, треск ружейной пальбы, тяжкое уханье пушечных выстрелов. «Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол. Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется». Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку. В те годы многие домовладельцы со смежных улиц — Принцессы и Адской — имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов. Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться. Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну «избегать крайностей». У него был благовоспитанный чваный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу. Ребенок, зажавший в руке надкусанную плюшку, был пухлый, откормленный. Он был наряжен национальным гвардейцем — по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье — из осторожности. Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них — он тоже ходил вперевалку. ¡ Лебеди плавали, — в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны. Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они мог549

шевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей.

Время от времени, когда поднимался ветер, откуда-то смутно доносились крики, гул голосов, треск ружейной пальбы, тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол.

Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».

Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.

В те годы многие домовладельцы со смежных улиц — Принцессы и Адской — имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов.

Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.

Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну «избегать крайностей». У него был благовоспитанный чваный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу. Ребенок, зажавший в руке надкусанную плюшку, был пухлый, откормленный. Он был наряжен национальным гвардейцем — по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье — из осторожности.

Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них — он тоже ходил вперевалку.

Лебеди плавали,— в этом и проявляется их высокое искусство: они были восхитительны.

ли бы запомнить поучения рассудительного буржуа. Отец говорил сыну: — Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками: я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня. Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы. — Что это такое? — спросил мальчик. — Это сатурналии, — отвечал отец. Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей. — Ну вот, начинается! — проворчал он и, помолчав, добавил: — Анархия проникла даже в сад. Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и заревел. — О чем ты плачешь? — спросил отец. — Мне больше не хочется есть, — ответил ребенок. Отец еще шире оскалил зубы-: — Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку. — ' Мне надоела булка. Она черствая. — Ты больше не хочешь? — Не хочу. Отец показал ему на лебедей. — Брось ее этим перепончатолапым. Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим. — Будь же гуманным. Надо жалеть животных. Взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн. Плюшка упала довольно близко от берега. Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки. Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадает добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей. Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно корабли, и медленно направились к плюшке с безмятежным и 550

ли бы запомнить поучения рассудительного буржуа. Отец говорил сыну:

— Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками: я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.

Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.

— Что это такое? — спросил мальчик.

— Это сатурналии,— отвечал отец.

Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.

— Ну вот, начинается! — проворчал он и, помолчав, добавил:

— Анархия проникла даже в сад.

Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и заревел.

— О чем ты плачешь? — спросил отец.

— Мне больше не хочется есть,— ответил ребенок.

Отец еще шире оскалил зубы:

— Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.

— Мне надоела булка. Она черствая.

— Ты больше не хочешь?

— Не хочу.

Отец показал ему на лебедей.

— Брось ее этим перепончатолапым.

Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.

— Будь же гуманным. Надо жалеть животных.

Взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн.

Плюшка упала довольно близко от берега.

Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.

Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадает добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.

Они заметили, что на поверхности воды что-то

величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц. — Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах,— сказал буржуа, очень довольный собой. В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Тут же появилась темная туча, неожиданно закрывшая солнце. Лебеди еще не успели доплыть до плюшки. — Пойдем домой, — сказал отец, — там атакуют Тюильри. Он схватил сына за руку. — От Тюильри до Люксембурга, — продолжал он, — расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посыплются градом. Он взглянул на небо. — А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей. — Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку,— захныкал ребенок. — Нет, — возразил отец, — это было бы неблагоразумно. И он увел маленького буржуа. Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями. Между тем двое маленьких бродяг одновременно с лебедями приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа. Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы. Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула 551

величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.

— Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах,— сказал буржуа, очень довольный собой.

В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Тут же появилась темная туча, неожиданно закрывшая солнце.

Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.

— Пойдем домой,— сказал отец,— там атакуют Тюильри.

Он схватил сына за руку.

— От Тюильри до Люксембурга,— продолжал он,— расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посыплются градом.

Он взглянул на небо.

— А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.

— Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку,— захныкал ребенок.

— Нет,— возразил отец,— это было бы неблагоразумно.

И он увел маленького буржуа.

Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.

Между тем двое маленьких бродяг одновременно с лебедями приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.

Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.

Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку малень-

плюшку прямо к прутику. Не успели птицы подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую братишке и сказал: — На, залепи себе в дуло. Глава семнадцатая MORTUUS PATER FILIUM MORITURUM EXPECTAT 1 Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами. Мариус принес ребенка. «Увы! — думал он. — Я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым». Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка. Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого. Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб. Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка. Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки. На каждого пришлось по пятнадцати зарядов. Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой. — Вот чудак! — шепнул Комбефер Анжольрасу. — Быть на баррикаде и не сражаться! — Это не мешает ему защищать баррикаду, — возразил Анжольрас. 1 Умерший отец ждет идущего на смерть сына (лат.). 552

плюшку прямо к прутику. Не успели птицы подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую братишке и сказал:

— На, залепи себе в дуло.

Глава семнадцатая

MORTUUS PATER FILIUM MORITURUM EXPECTAT[1]

Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами. Мариус принес ребенка.

«Увы! — думал он.— Я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».

Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.

Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.

Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.

Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка.

Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.

На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.

Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.

— Вот чудак! — шепнул Комбефер Анжольрасу.— Быть на баррикаде и не сражаться!

— Это не мешает ему защищать баррикаду,— возразил Анжольрас.

— Среди героев тоже попадаются оригиналы, — заметил Комбефер. — Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф,— прибавил Курфейрак, услышав их разговор. Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем: редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положения стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота. Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны из пороховницы, снятой Гаврошем с убитого капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак, с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», — пояснял он. Юноши из Кугурд-Экса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озадачен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире. 553

— Среди героев тоже попадаются оригиналы,— заметил Комбефер.

— Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф,— прибавил Курфейрак, услышав их разговор.

Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем: редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положения стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.

Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны из пороховницы, снятой Гаврошем с убитого капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак, с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар»,— пояснял он. Юноши из Кугурд-Экса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус

I лава восемнадцатая ХИЩНИК СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ

Остановимся на одном психологическом явлении, возникающем на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны. Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри. В гражданской войне есть нечто апокалиптическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс; тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, точно сон. Мы показали на примере Мариуса, что переживают люди в такие часы, и мы увидим последствия подобного состояния, — это ярче и вместе с тем бледнее, чем действительность. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен, сам того не сознавая. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обагренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал ракие-то красные пятна на пальцах. Больше он ничёго не помнил. Вернемся на улицу Шанврери. В промежутке между двумя залпами послышался отдаленный бой часов. — Полдень! — сказал Комбефер. Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом: — Тащите булыжники в дом! Завалите подоконники внизу и на чердаке! Половине людей — готовить554

Глава восемнадцатая

ХИЩНИК СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ

Остановимся на одном психологическом явлении, возникающем на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.

Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.

В гражданской войне есть нечто апокалиптическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс; тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, точно сон.

Мы показали на примере Мариуса, что переживают люди в такие часы, и мы увидим последствия подобного состояния,— это ярче и вместе с тем бледнее, чем действительность. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен, сам того не сознавая. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обагренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Больше он ничего не помнил.

Вернемся на улицу Шанврери.

В промежутке между двумя залпами послышался отдаленный бой часов.

— Полдень! — сказал Комбефер.

Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:

ся к бою, остальным — носить камни! Нельзя терять ни минуты. В конце улицы показался взвод саперов-пожарннков, в боевом порядке, с топорами на плечах. Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Наверное, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом. Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году Клермон-Тоннер. Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах — двух позициях, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и слуховые оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки. Когда было готово заграждение из булыжников для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф. — Кто же их выпьет? — спросил Боссюэ. — Враги,— ответил Анжольрас. Повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри. Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок — бастионом. Оставшимися булыжниками завалили единственную брешь в баррикаде. Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые прнпасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выступают раньше време555

ся к бою, остальным — носить камни! Нельзя терять ни минуты.

В конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.

Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Наверное, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.

Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году Клермон-Тоннер.

Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах — двух позициях, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и слуховые оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки.

Когда было готово заграждение из булыжников для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.

— Кто же их выпьет? — спросил Боссюэ.

— Враги,— ответил Анжольрас.

Повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.

Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок — бастионом.

Оставшимися булыжниками завалили единственную брешь в баррикаде.

Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому

ни за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда неторопливо и методично, после чего вдруг разражается гроза. Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что, уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества. Он сказал Мариусу: — Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последние распоряжения. А ты оставайся снаружи и наблюдай. Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады. Анжольрас велел заколотить дверь кухни, как мы помним, обращенной в лазарет. — Чтобы в раненых не попали осколки, — пояснил он. Он отдавал распоряжения в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех. — Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть? — Есть, — отвечал Фейи. — Сколько штук? — Два топора и колун. — Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей? — Тридцать четыре. — Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро — на чердак и к окнам второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, что прибегут первыми, займут лучшие места. Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал: — Я о тебе не забыл. И, положив на стол пистолет, добавил: — Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону. 556

ни за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда неторопливо и методично, после чего вдруг разражается гроза.

Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что, уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества.

Он сказал Мариусу:

— Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последние распоряжения. А ты оставайся снаружи и наблюдай.

Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.

Анжольрас велел заколотить дверь кухни, как мы помним, обращенной в лазарет.

— Чтобы в раненых не попали осколки,— пояснил он.

Он отдавал распоряжения в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.

— Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?

— Есть,— отвечал Фейи.

— Сколько штук?

— Два топора и колун.

— Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?

— Тридцать четыре.

— Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро — на чердак и к окнам второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, что прибегут первыми, займут лучшие места.

Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:

—Я о тебе не забыл.

И, положив на стол пистолет, добавил:

— Здесь? — спросил чей-то голос. — Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты.' Шпион крепко связан. Отведите его туда и пристрелите. Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер. В эту минуту появился Жан Вальжан. Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу: — Вы командир? - Да. — Вы благодарили меня недавно. — Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы. — Считаете ли вы, что я заслужил награду? — Разумеется. — Так вот, я прошу награды. — Какой? — Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку. Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, едва заметно пожав плечами: • — Это справедливо. Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех взглядом: — Возражений нет? И повернулся к Жану Вальжану: — Забирайте шпиона. Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его. Почти в ту же секунду раздался рожок горниста. — К оружию! — крикнул Мариус с вершины баррикады. Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал: — А ведь вам придется не лучше моего. — Все на баррикаду! — скомандовал Анжольрас. Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину злобное напутствие Жавера: — До скорого свиданья! 557

— Здесь? — спросил чей-то голос.

— Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Отведите его туда и пристрелите.

Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер.

В эту минуту появился Жан Вальжан.

Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:

— Вы командир?

— Да.

— Вы благодарили меня недавно.

— Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.

— Считаете ли вы, что я заслужил награду?

— Разумеется.

— Так вот, я прошу награды.

— Какой?

— Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.

Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, едва заметно пожав плечами:

— Это справедливо.

Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех взглядом:

— Возражений нет?

И повернулся к Жану Вальжану:

— Забирайте шпиона.

Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.

Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.

— К оружию! — крикнул Мариус с вершины баррикады.

Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:

— А ведь вам придется не лучше моего.

— Все на баррикаду! — скомандовал Анжольрас.

Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину злобное напутствие

Глава девятнадцатая ЖАН ВАЛЬЖАН МСТИТ Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивавшую пленника поперек туловища веревку, узел который находился под столом. После этого он знаком велел ему встать. Жавер повиновался с той особенной презрительной усмешкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах. Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел из кабачка. Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет. Так они прошли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной. Один лишь Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры — палача и осужденного — он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу. Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, ни на минуту не выпуская его из рук, перелезть через низенький вал в Мондетур. Перебравшись через заграждение, они очутились одни на пустынной улице. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады. Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина. Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием: — Мне кажется, я знаю эту девку. Затем он повернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер». — • Твоя взяла, — ответил Жавер. 558

Глава девятнадцатая

ЖАН ВАЛЬЖАН МСТИТ

Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивавшую пленника поперек туловища веревку, узел который находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.

Жавер повиновался с той особенной презрительной усмешкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.

Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел из кабачка.

Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.

Так они прошли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.

Один лишь Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры — палача и осужденного — он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.

Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, ни на минуту не выпуская его из рук, перелезть через низенький вал в Мондетур.

Перебравшись через заграждение, они очутились одни на пустынной улице. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.

Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.

Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:

— Мне кажется, я знаю эту девку.

Затем он повернулся к Жану Вальжану.

Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший

Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его. — Ага, перо!— воскликнул Жавер. — Правильно. Тебе это больше подходит. Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал: — Вы свободны. Жавера трудно было удивить. Однако, при всем его самообладании, он был потрясен. Он застыл на месте от удивления. Жан Вальжан продолжал: — Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь. Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы: — Берегись. — Уходите, — сказал Жан Вальжан. Жавер переспросил: — Ты сказал: Фошлеван, улица Вооруженного человека? — Номер семь. — Номер семь,— вполголоса повторил Жавер. Он снова застегнул сюртук, распрямил плечи повоенному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану: — Надоели вы мне до смерти! Лучше убейте меня! Сам того не замечая, Жавер перестал говорить Жану Вальжану «ты». — Уходите! — крикнул тот. Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спусся он завернул за угол улицы Проповедников. Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан выстрелил в воздух. Затем он возвратился на баррикаду и сказал: — Дело сделано. А в его отсутствие произошло следующее. Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до тех пор поглядеть на

Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его.

— Ага, перо!— воскликнул Жавер.— Правильно. Тебе это больше подходит.

Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:

— Вы свободны.

Жавера трудно было удивить. Однако, при всем его самообладании, он был потрясен. Он застыл на месте от удивления.

Жан Вальжан продолжал:

— Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:

— Берегись.

— Уходите,— сказал Жан Вальжан.

Жавер переспросил:

— Ты сказал: Фошлеван, улица Вооруженного человека?

— Номер семь.

— Номер семь,— вполголоса повторил Жавер.

Он снова застегнул сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:

— Надоели вы мне до́ смерти! Лучше убейте меня!

Сам того не замечая, Жавер перестал говорить Жану Вальжану «ты».

— Уходите!— крикнул тот.

Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.

Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан выстрелил в воздух.

Затем он возвратился на баррикаду и сказал:

— Дело сделано.

А в его отсутствие произошло следующее.

шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы. Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаз и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь, на баррикаде: он припомнил не только лицо, но и имя. Однако это воспоминание было туманное и смутное, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавсром?» Быть может, он еще успеет вступиться за этого человека? Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер. Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады: — Анжольрас! — Что? — Как зовут того человека? — Какого? — Полицейского агента. Ты знаешь его имя? — Конечно. Он нам сказал. — Как же его зовут? — Жавер. Мариус вздрогнул. В этот миг послышался выстрел. Появился Жан Вальжан и крикнул: — Дело сделано. Смертный холод сковал сердце Мариуса. Глава двадцатая МЕРТВЫЕ ПРАВЫ, И ЖИВЫЕ НЕ ВИНОВАТЫ На баррикаде наступала агония. Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, двигавшихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелый грохот артиллерии, перекре560

шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы.

Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаз и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь, на баррикаде: он припомнил не только лицо, но и имя.

Однако это воспоминание было туманное и смутное, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?»

Быть может, он еще успеет вступиться за этого человека? Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.

Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады:

— Анжольрас!

— Что?

— Как зовут того человека?

— Какого?

— Полицейского агента. Ты знаешь его имя?

— Конечно. Он нам сказал.

— Как же его зовут?

— Жавер.

Мариус вздрогнул.

В этот миг послышался выстрел.

Появился Жан Вальжан и крикнул:

— Дело сделано.

Смертный холод сковал сердце Мариуса.

Глава двадцатая

МЕРТВЫЕ ПРАВЫ, И ЖИВЫЕ НЕ ВИНОВАТЫ

На баррикаде наступала агония.

Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых во-

стная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимавшийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносившиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов. Со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены — в две неприступны? стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены. В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решал покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с устаревшими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстанию сочувствовала буржуазия, — тогда горожане, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев, дом братался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назревало, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то бунтовщики обречены были на гибель. Город вокруг них обращался я пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой. Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Мятежники попадают в положение зачумленных. Дом становился неприступной кручей, дверь — преградой, фасад — глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена — судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся нежилыми, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь как будто замерла, но течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха — это ужасно! Только страх может извинить неумолимую жестокость; 561

стная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимавшийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносившиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.

Со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены — в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.

В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решал покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с устаревшими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстанию сочувствовала буржуазия,— тогда горожане, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев, дом братался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назревало, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то бунтовщики обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.

Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Мятежники попадают в положение зачумленных. Дом становился неприступной кручей, дверь — преградой, фасад — глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена — судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся нежилыми, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь как будто замерла, но течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу

смятение, растерянность — смягчающие обстоятельства. Порою — даже и такие случаи бывают — страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, осторожность — в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение: «Бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную темному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они бунтуют. Только сбивают с пути мирных горожан. Довольно с нас этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью; вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, — помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, — и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня. Кто тут виноват? Никто, и каждый из нас. Виновно то злосчастное время, в какое мы живем. Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из борьбы идей в борьбу вооруженную, из Минервы — в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом опасности и снисходительна к неблагодарным. Впрочем, неблагодарность ли это? С точки зрения человечества — да. С точки зрения отдельной личности — нет. Прогресс — это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отстав562

смятение, растерянность — смягчающие обстоятельства. Порою — даже и такие случаи бывают — страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, осторожность — в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение: «Бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную темному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они бунтуют. Только сбивают с пути мирных горожан. Довольно с нас этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью; вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи,— помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его,— и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.

Кто тут виноват?

Никто, и каждый из нас.

Виновно то злосчастное время, в какое мы живем.

Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из борьбы идей в борьбу вооруженную, из Минервы — в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом опасности и снисходительна к неблагодарным.

Впрочем, неблагодарность ли это?

С точки зрения человечества — да.

С точки зрения отдельной личности — нет.

Прогресс — это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное

ших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его. «Уж не умер ли бог?» — сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа. Те, что отчаиваются, неправы. Прогресс неизменно пробуждается; в сущности, он и во сне продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут. Но после каждого восстания оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, — а порядок не что иное, как всеобщий мир, — пока не воцарятся на земле гармония и единение, до тех пор этапами прогресса будут служить революции. Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывно развивающаяся жизнь народов. Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода. Признаемся откровенно: у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрестанно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, — шепчет некто, именуемый Все. — Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему 563

ших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.

«Уж не умер ли бог?» — сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.

Те, что отчаиваются, неправы. Прогресс неизменно пробуждается; в сущности, он и во сне продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут. Но после каждого восстания оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок,— а порядок не что иное, как всеобщий мир,— пока не воцарятся на земле гармония и единение, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.

Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывно развивающаяся жизнь народов.

Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.

Признаемся откровенно: у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрестанно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую,— шепчет некто, именуемый Все.— Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть

благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие! К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Истина грядущего дня, вступая в борьбу, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, противоречащим нравственным правилам, за что она неизбежно несет кару. Утопия-восстание сражается, пользуясь древним военным кодексом; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти — это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч опасен. Всякий клинок — оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам. Сделав эту оговорку со всей необходимой суровостью, мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, все равно — достигнут они своей цели или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий, но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, для нас Джон Браун выше Вашингтона, а Пизакане выше Гарибальди. Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных. Люди несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение. Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отча564

благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.

К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Истина грядущего дня, вступая в борьбу, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, противоречащим нравственным правилам, за что она неизбежно несет кару. Утопия-восстание сражается, пользуясь древним военным кодексом; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти — это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч опасен. Всякий клинок — оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.

Сделав эту оговорку со всей необходимой суровостью, мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, все равно — достигнут они своей цели или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий, но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, для нас Джон Браун выше Вашингтона, а Пизакане выше Гарибальди.

Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.

Люди несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.

Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального

янья, извлекаются с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями». Бесспорно, самое лучшее — мирно разрешать проблемы. Что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, определить его, а затем исцелиться, Вот к чему мы призываем общество. Как бы там ни было, все, кто, устремив взгляд на Францию, сражаются во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они делают священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрастием актера, подавшего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты — священнослужители. Французская революция-деяние божества. Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом,— их зовут революцией, и восстания отвергнутые — их зовут мятежом. Вспыхнувшее восстание — это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу. Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут вечно и непрестанно проявлять душевную силу героев и мучеников. Народ рассудителен. Восстание ему неугодно a priori; во-первых, потому, что часто приводит к ка565

янья, извлекаются с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».

Бесспорно, самое лучшее — мирно разрешать проблемы. Что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, определить его, а затем исцелиться. Вот к чему мы призываем общество.

Как бы там ни было, все, кто, устремив взгляд на Францию, сражаются во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они делают священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрастием актера, подавшего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты — священнослужители. Французская революция—деяние божества.

Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом,—их зовут революцией, и восстания отвергнутые—их зовут мятежом.

Вспыхнувшее восстание—это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.

Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут вечно и непрестанно проявлять душевную силу героев и мучеников.

тастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории. То и прекрасно, что именно ради идеала, ради одного лишь идеала жертвуют собой те, кто идет на жертву. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость— тогда он берется за оружие. Но всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года, и, в частности юные энтузиасты с улицы Шанврери, сражались — мы на этом настаиваем — не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X; свергая монархию во Франции, они стремились ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля — завтра мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой. Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая только доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия. Но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше, очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или, в худшем случае, Фермопилы.

тастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.

То и прекрасно, что именно ради идеала, ради одного лишь идеала жертвуют собой те, кто идет на жертву. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость—тогда он берется за оружие. Но всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года, и, в частности юные энтузиасты с улицы Шанврери, сражались — мы на этом настаиваем—не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X; свергая монархию во Франции, они стремились ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля — завтра мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.

Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая только доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия. Но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше, очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечест-

Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливую толпу. Тяжеловесная, несметная, ненадежная именно в силу своей неповоротливости, она боится риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском. Не надо еще забывать, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце. Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно стягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она ищет новых путей. Это объясняется ее художественной натурой. Идеал не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота — вершина истины. Народы-художники Есегда вместе с тем и народыпреемники. Любить красоту значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, Греция передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! Vit ai lampada tradunt l. Удивительное дело: поэзия народа — необходимое звено его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, тот вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом: надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала. У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А+В. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность — необходимый элемент прекрасного; научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опо1 Передают светильники жизни (лат.).— Л укреци й, кн. II. 567

Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливую толпу. Тяжеловесная, несметная, ненадежная именно в силу своей неповоротливости, она боится риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.

Не надо еще забывать, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.

Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно стягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она ищет новых путей.

Это объясняется ее художественной натурой.

Идеал не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота—вершина истины. Народы-художники всегда вместе с тем и народы-преемники. Любить красоту значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, Греция передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! *Vitai lampada tradunt* [1].

Удивительное дело: поэзия народа — необходимое звено его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, тот вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом: надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала.

У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи A+B. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность—необходимый элемент прекрасного; научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опо-

рой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум— это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне. Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные корыстью, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение религией или торговлей омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, прозревать великую цель. У Вавилона нет идеала; у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков светоч цивилизации. Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция — афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она все готова отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна— в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все. Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь, Заря и возрождение — синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я». Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопо1 жертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования — бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание; ограничимся тем, что

рой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум—это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.

Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные корыстью, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение религией или торговлей омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, прозревать великую цель. У Вавилона нет идеала; у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков светоч цивилизации.

Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция—афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она все готова отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна—в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.

Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение — синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».

Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования—бескорыстие.

обратимся с мольбой к великим народам — не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко. Существуют, бесспорно, и материя, и насущные нужды, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у жизни вечной. Можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. В истории такие случаи бывают, к сожалению, часто. Великая, прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей». Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде. Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает трагическими припадками эпилепсии. Мы не могли миновать на своем пути исконную болезнь прогресса — междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, и акт и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой: «Прогресс». Прогресс! В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния. И так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь, если не приподнять над ней покрывало, то хотя бы показать сквозь завесу яркое ее сияние. Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях, — каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, — путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка — материя, конечный пункт — душа. В начале чудовище, в конце — ангел. 569

обратимся с мольбой к великим народам — не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.

Существуют, бесспорно, и материя, и насущные нужды, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у жизни вечной. Можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. В истории такие случаи бывают, к сожалению, часто. Великая, прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».

Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.

Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает трагическими припадками эпилепсии. Мы не могли миновать на своем пути исконную болезнь прогресса — междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, и акт и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой: «Прогресс».

Прогресс! В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния. И так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь, если не приподнять над ней покрывало, то хотя бы показать сквозь завесу яркое ее сияние.

Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях,— каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы,—путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка — материя, конечный пункт — душа. В начале чудовище, в конце—

Глава двадцать первая ГЕРОИ Вдруг барабан забил атаку. Штурм разразился, как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было невозможно, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену. Стена выдержала. Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими. Но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь, такая же крутая, черная и грозная. Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град. Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрецы доходили до дикого безрассудства, до какого-то свирепого героизма, готовые пожертвовать жизнью. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились кончить бит570

Глава двадцать первая

ГЕРОИ

Вдруг барабан забил атаку.

Штурм разразился, как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было невозможно, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.

Стена выдержала.

Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими. Но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь, такая же крутая, черная и грозная.

Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град.

Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрецы доходили до дикого безрассудства, до какого-то свирепого героизма, готовые пожертвовать

ву, повстанцы — продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья — это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами. На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом — Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, — они так и не заметили его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутнуть, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Все представлялось ему словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках. Патроны у осажденных подходили к концу, ко их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться. Курфейрак стоял с непокрытой головой. — Куда же ты девал свою шляпу?— спросил Боссюэ. — В конце концов они ухитрились сбить се пушечными ядрами, — отвечал Курфейрак. Насмешки чередовались с презрением. — Кто может понять этих людей? — с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. — Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры — н они же нас предали! Комбефер ответил с горькой усмешкой: — Некоторые люди соблюдают правила чести, как астрономы наблюдают звезды: только издалека. Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что казалось, будто выпал снег. У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев — позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат — те, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпо

ву, повстанцы—продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья—это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.

На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом — Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей,— они так и не заметили его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутнуть, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Все представлялось ему словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.

Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.

Курфейрак стоял с непокрытой головой.

— Куда же ты девал свою шляпу?— спросил Боссюэ.

— В конце концов они ухитрились сбить ее пушечными ядрами,— отвечал Курфейрак.

Насмешки чередовались с презрением.

— Кто может понять этих людей?— с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии.— Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры — и они же нас предали!

Комбефер ответил с горькой усмешкой:

— Некоторые люди соблюдают правила чести, как астрономы наблюдают звезды: только издалека.

Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что казалось, будто выпал снег.

У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев — позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат—те, спотыкаясь среди раненых и убитых,

рами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, армия зажимала баррикаду в тиски.. Атаки следовали одна за другой. Опасность возрастала. И вот на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, в изодранной, залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в Титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но так и не могли взять. Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите пылающий костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи; уста извергали пламя, лица искажались гневом. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, страшно было смотреть на этих саламандр войны, метавшихся взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной битвы и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы. Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, именуемую в Ведах «Лесом мечей». Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками; стреляли издали и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против ше-, стидесяти. Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную 572

рами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, армия зажимала баррикаду в тиски.

Атаки следовали одна за другой. Опасность возрастала. И вот на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, в изодранной, залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в Титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но так и не могли взять.

Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите пылающий костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи; уста извергали пламя, лица искажались гневом. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, страшно было смотреть на этих саламандр войны, метавшихся взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной битвы и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.

Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, именуемую в Ведах «Лесом мечей».

Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками; стреляли издали и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти. Полуразрушенный фасад «Коринфа» был

дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит; Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух. Мариус все еще сражался, но был несколько раз ранен, большей частью — в голову, и все лицо его было залито кровью, словно завешено красным платком. Один лишь Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остались обломки от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше. Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепа и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох — Аблера, Полипет — Астиала, Полидамант — Ота Килленейского, Тевкр — Аретаона; Мсгантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнионом». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, и тот, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог — с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский — с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать жизнь за свои

дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит; Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.

Мариус все еще сражался, но был несколько раз ранен, большей частью — в голову, и все лицо его было залито кровью, словно завешено красным платком.

Один лишь Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остались обломки от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.

Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепа и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох — Аблера, Полипет — Астиала, Полидамант — Ота Килленейского, Тевкр — Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнионом». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, и тот, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог — с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский — с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Яле-

убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду; вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, — возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-МиСре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные пехотинцем и студентиком-медиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются е тенью Мегариона, царя Ликии, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного. Глава двадцать вторая ШАГ ЗА ШАГОМ Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения. Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ощетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке. И тогда в низ внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ру574

убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду; вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами,—возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные пехотинцем и студентиком-медиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликии, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.

Глава двадцать вторая

ШАГ ЗА ШАГОМ

Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.

Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ощетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.

И тогда в них внезапно проснулась смутная жаж-

жей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда начинает глухо рычать инстинкт самосохранения, когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Но дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. За домом был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто им не отпер. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа. Но Анжольрас и Мариус с кучкой человек в восемь бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» — крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер ослушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной рукё, с карабином в другой, отворив дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоняя товарищей своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудуя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбился от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какогото солдата, вцепившегося в наличник. Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют». 575

жей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда начинает глухо рычать инстинкт самосохранения, когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Но дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. За домом был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто им не отпер. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа.

Но Анжольрас и Мариус с кучкой человек в восемь бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» — крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер ослушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, отворив дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоняя товарищей своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудуя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбился от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.

Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Ко-

Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной судьбе. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка. Солдаты остервенели. Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, — еще более роковое обстоятельство, — за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным . войнам, и позднее такого рода клевета вызвала катастрофу на улице Транснонен. Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам: — Мы должны дорого продать свою жизнь! Затем подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывав лись два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрывала. То была рука старика. Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем почтением, с каким накануне целовал его в лоб. Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса. Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» — Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья; выстрелы из подвалов и чердаков, 576

Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной судьбе. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.

Солдаты остервенели.

Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того,—еще более роковое обстоятельство,—за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее такого рода клевета вызвала катастрофу на улице Транснонен.

Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:

— Мы должны дорого продать свою жизнь!

Затем подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрывала. То была рука старика.

Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем почтением, с каким накануне целовал его в лоб.

Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.

Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» — Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с кры-

ярость атаки, отчаянье сопротивления, и наконец, — когда удалось вышибить дверь, — бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании; все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из люка в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все страшно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки. Sto был героизм, принявший чудовищный облик. Глава двадцать третья ГОЛОДНЫЙ ОРЕСТ И ПЬЯНЫЙ ПИЛАД Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу Нà плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два атакующих — солдаты, вперемешку с национальными и му19. «Отверженные», т. 2. 577

ярость атаки, отчаянье сопротивления, и наконец,— когда удалось вышибить дверь,— бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании; все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из люка в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все страшно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.

Это был героизм, принявший чудовищный облик.

Глава двадцать третья

ГОЛОДНЫЙ ОРЕСТ И ПЬЯНЫЙ ПИЛАД

Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два атакую-

ниципальными гвардейцами, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, — пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах — Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина,— приклад он разбил о головы солдат. Загородясь от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы. И даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова и рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики: — Вот их вожак! Он-то и убил артиллериста! Он сам забрался туда, тем лучше для нас! Пусть там и остается. Расстреляем его на месте. — Стреляйте, — сказал Анжольрас. Отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям. Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной мертвой тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовой убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брала ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии ктото из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье и сказал: — Мне кажется, будто я стреляю в цветок. Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы против Анжольраса, и молча вскинули ружья. Послышалась команда сержантаі — На прицел! 578

ниципальными гвардейцами, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые,— пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах — Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина,— приклад он разбил о головы солдат. Загородясь от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы. И даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова и рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:

— Вот их вожак! Он-то и убил артиллериста! Он сам забрался туда, тем лучше для нас! Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.

— Стреляйте,— сказал Анжольрас.

Отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.

Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной мертвой тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовой убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брала ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье и сказал:

— Мне кажется, будто я стреляю в цветок.

Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы против Анжольраса, и молча вскинули ружья.

Вдруг вмешался офицер: — Погодите. И обратился к Анжольрасу: — Завязать вам глаза? -- Нет. — Это вы убили сержанта артиллерии? - Да. В это время проснулся Грантер. Мы помним, что Грантер со вчерашнего вечера спал, сидя в верхней зале кабачка и уронив голову на стол. Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, среди стаканов, кружек и бутылок. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало — ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени его храп вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки. Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантера от тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантер вскочил, как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понялВнезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все тут же воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытье рассеивается, как туман, затемнявший 579

Вдруг вмешался офицер:

— Погодите.

И обратился к Анжольрасу:

— Завязать вам глаза?

— Нет.

— Это вы убили сержанта артиллерии?

— Да.

В это время проснулся Грантер.

Мы помним, что Грантер со вчерашнего вечера спал, сидя в верхней зале кабачка и уронив голову на стол.

Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, среди стаканов, кружек и бутылок. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало — ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени его храп вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.

Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантера от тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантер вскочил, как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.

Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все тут же воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрал-

ся. Мысли его приобретают необычайную ясность

рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности. Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили Грантера, забравшегося в угол за бильярд, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул: — Да здрабствует Республика! Я с ними заодно! Грантер встал. Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился. — Да здравствует Республика! — крикнул он снова, прошел по зале уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов. — Прикончите нас обоих разом, — сказал он и, обернувшись к Анжольрасу, тихо спросил: — Ты позволишь? Анжольрас с улыбкой пожал ему руку. Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп. Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонясь к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь. Грантер, убитый наповал, рухнул к его ногам. Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята. : Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов. Б80

рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности.

Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили Грантера, забравшегося в угол за бильярд, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:

— Да здравствует Республика! Я с ними заодно!

Грантер встал.

Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.

— Да здравствует Республика! — крикнул он снова, прошел по зале уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.

— Прикончите нас обоих разом,— сказал он и, обернувшись к Анжольрасу, тихо спросил:

— Ты позволишь?

Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.

Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп.

Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонясь к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь.

Грантер, убитый наповал, рухнул к его ногам.

Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.

Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и

Глава двадцать четвертая ПЛЕННИК Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана. Сильная рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана. Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась для удара, нападения или даже самозащиты. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии. Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле Он не спуркал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес. В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, прошел по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, где помещался «Коринф». Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой, и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, в форме трапеции, и умерла Эпонина. Здесь Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонясь к стене, огляделся кругом.
58Ĺ

Глава двадцать четвертая

ПЛЕННИК

Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.

Сильная рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.

Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась для удара, нападения или даже самозащиты. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.

Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес.

В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, прошел по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, где помещался «Коринф».

Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой, и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, в форме трапеции, и умерла Эпонина.

Здесь Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса

Положение было отчаянное. На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как вырваться из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь — невозможно. Перед ним возвышался угрюмый, наглухо запертый шестиэтажный дом, где казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там укрылась линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Перелезая через баррикаду, он непременно попал бы под обстрел целого взвода, и, высунув голову из-за стены, стал бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть. Что делать? Одной только птице удалось бы спастись. Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него шло сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или напасть с фланга, все было бы кончено. Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаяньем, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом. Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь пру582

Положение было отчаянное.

На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как вырваться из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь — невозможно. Перед ним возвышался угрюмый, наглухо запертый шестиэтажный дом, где казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там укрылась линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Перелезая через баррикаду, он непременно попал бы под обстрел целого взвода, и, высунув голову из-за стены, стал бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.

Что делать?

Одной только птице удалось бы спастись.

Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него шло сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или напасть с фланга, все было бы кончено.

Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаяньем, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.

Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Ук-

тья виднелось темное отверстие, что-то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и, наконец, стал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, — все это было проделано им как в бреду, с силой титана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут. Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре. Здесь был глубокий покой,, мертвая тишина, тьма. Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту; он нес Мариуса. До него едва доносился тепещ. смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.

тья виднелось темное отверстие, что-то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и, наконец, стал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей,— все это было проделано им как в бреду, с силой титана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.

Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.

Здесь был глубокий покой, мертвая тишина, тьма.

Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту; он нес Мариуса.

До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.

Книга вторая УТРОБА ЛЕВИАФАНА Глава первая ЗЕМЛЯ, ИСТОЩЕННАЯ МОРЕМ Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. Каким путем? Через кишечный тракт. Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы. Двадцать пять миллионов — еще самая умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений. Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действенным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города без бамбукового коромысла с двумя полными ведрами так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город — превосходная навозная куча. Отходы города для удобрения полей принесли бы несомненную пользу. Пусть наше золото — навоз, зато наш навоз — чистое золото. Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть. С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой — 584

Книга вторая

УТРОБА ЛЕВИАФАНА

Глава первая

ЗЕМЛЯ, ИСТОЩЕННАЯ МОРЕМ

Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. Каким путем? Через кишечный тракт.

Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.

Двадцать пять миллионов — еще самая умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.

Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действенным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города без бамбукового коромысла с двумя полными ведрами так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город — превосходная навозная куча. Отходы города для удобрения полей принесли бы несомненную пользу. Пусть наше золото — навоз, зато наш навоз — чистое золото.

Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.

С одной стороны, затрачивая большие средства,

топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир. Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой,— знаете, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычанье тучных коров по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс — превращение на земле, преображение на небесах. Верните это обратно в великое горнило: оно отплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека. В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны. Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек настолько туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков — в реки, то мощным извержением рек — в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река — болезнями. Установлено, например, что Темза с давних пор отравляет Лондон. А в Париже пришлось в последние годы перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост. Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно уста

топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир.

Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой,— знаете, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычанье тучных коров по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс — превращение на земле, преображение на небесах.

Верните это обратно в великое горнило: оно отплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека.

В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.

Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек настолько туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков — в реки, то мощным извержением рек — в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река — болезнями.

Установлено, например, что Темза с давних пор отравляет Лондон.

А в Париже пришлось в последние годы перенести бóльшую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.

Между тем, чтобы провести в наши города чистые

новки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, — этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым удобным на свеге, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы об этом и не думаем. Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение — возвращать то, что он берет, заменит, наконец, повсюду сточные трубы, только промывающие и истощающие почву,— тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной. А пока что народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка — вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения. Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции, и к тому же парижское гуано — самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на благоустройство города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие — это и есть его клоака. Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу. С точки зрения экономики, можно сделать вывод, что Париж — дырявое решето.

новки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду,— этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым удобным на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы об этом и не думаем.

Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение — возвращать то, что он берет, заменит, наконец, повсюду сточные трубы, только промывающие и истощающие почву,— тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.

А пока что народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка — вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.

Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции, и к тому же парижское гуано — самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на благоустройство города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие — это и есть его клоака.

Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу.

Париж — образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако Париж в том отношении, в каком мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна. Попробуйте подражать Парижу — и вы разоритесь. Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем. Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, — по словам Либиха,— поглотила все благосостояния римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, потом Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Urbi et orbi. Вечный город, бездонная клоака. В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример. Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственном великим городам, средоточиям духовной жизни. Для осуществления упомянутого' процесса под Парижем существует второй Париж — Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями. Тупиками, магистралями и даже своим уличным движением — потоками грязи вместо людского потока. Никому не следует льстить, даже великому народу; там, гДе есть всё, наряду с величием имеется и позор; Париж заключает в себе Афины — город просвещения; Тир — город могущества, Спарту — город доблести, Ниневию — город чудес, но он впитал в себя также и Лютецию — город грязи. Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества вопло587

Париж — образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако Париж в том отношении, в каком мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.

Попробуйте подражать Парижу — и вы разоритесь.

Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.

Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима,— по словам Либиха,— поглотила все благосостояния римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, потом Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. *Urbi et orbi.* Вечный город, бездонная клоака.

В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.

Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным великим городам, средоточиям духовной жизни.

Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж — Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением — потоками грязи вместо людского потока.

Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; Париж заключает в себе Афины — город просвещения; Тир — город могущества, Спарту — город доблести, Ниневию — город чудес, но он впитал в себя также и Лютецию — город грязи.

Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Пари-

щают собою люди, подобные Макиавелли, Бэкону и Мирабо, — величие гнусности. Подземелье Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам,— водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы. Здесь, во мгле и сырости, водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа. Глава вторая ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КЛОАКИ Если вообразить, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы — ветвями, а тупики — побегами. Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, редко встречается в растительном мире. Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные одно с другим в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад. Подземелья и сточные ямы играли важную роль в средние века в Византии и на древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это скопище гнили, на эту чудовищную обитель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает та588

щают собою люди, подобные Макиавелли, Бэкону и Мирабо,— величие гнусности.

Подземелье Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам,— водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.

Здесь, во мгле и сырости, водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.

Глава вторая

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КЛОАКИ

Если вообразить, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы — ветвями, а тупики — побегами.

Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, редко встречается в растительном мире.

Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные одно с другим в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.

Подземелья и сточные ямы играли важную роль в средние века в Византии и на древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это ско-

кое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хоросанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе. В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, бунт, свобода совести, мысль грабеж, все, что преследуют или преследовали некогда человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в XIV веке, уличные грабители в XV, гугеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, банды поджаривателей в XIX. Сто лет назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже — водостоки. Нищая братия, галльское подобие pícagegía *, свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню. Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху. Клоака старого Парижа была местом встреч всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов, социология видит в ней осадочный пласт. Клоака — это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска БазиЖулье (исп.).

кое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хоросанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.

В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, бунт, свобода совести, мысль грабеж, все, что преследуют или преследовали некогда человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в XIV веке, уличные грабители в XV, гугеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, банды поджаривателей в XIX. Сто лет назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже — водостоки. Нищая братия, галльское подобие *picareria*[1], свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.

Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.

Клоака старого Парижа была местом встреч всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов, социология видит в ней осадочный пласт.

Клоака — это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска. Бан-

лио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоединился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки изобличает пьяницу, ручка корзины судачит о прислуге; там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником; королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной; плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой потаскуха плясала на балу в Опере на прошлой масленице; судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше чем братство, это — панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака — циник. Она говорит все. Эта откровенная гнусность нравится нам, она облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо смотреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность высокопоставленных особ, неподкупность чиновников, нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть, обыкновенную грязь, которая там вполне уместна. К тому же оно и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Кровь Варфоломеевской ночи сочится туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня — все стекает в это подземелье цивилизации, сбрасывая туда тру590

лио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоединился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки изобличает пьяницу, ручка корзины судачит о прислуге; там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником; королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной; плевок Каяфы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой потаскуха плясала на балу в Опере на прошлой масленице; судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше чем братство, это — панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака — циник. Она говорит все.

Эта откровенная гнусность нравится нам, она облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо смотреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность высокопоставленных особ, неподкупность чиновников, нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.

К тому же оно и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Кровь Варфоломеевской ночи сочится туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все массовые убийства, вся-

пы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, — все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки. Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Это часть его лаборатории. Философия — микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие уловки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было: добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанарии, преодоленные испытания, призываемые искушения, блевотину оргии, пороки опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины. Глава третья БРЮНЗО В средние века о парижских водостоках ходили легенды. В XVI веке Генрих II предпринял их исследобание, но оно ни к чему не привело. Всего- сто лет на

пы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр,— все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.

Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Это часть его лаборатории. Философия — микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие уловки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было: добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанарии, преодоленные испытания, призываемые искушения, блевотину оргии, пороки опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.

Глава третья

БРЮНЗО

В средние века о парижских водостоках ходили

зад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела. Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она не умела вести дела как в материальном, так и в моральном отношении и выметала мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле — непостижимое, под землей — непроходимое; вверху — смешение языков, внизу — путаница подземелий; под Вавилонским столпотворением лабиринт Дедала. По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное — наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, город мучился отрыжкой своих отбросов. Тут ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезно; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не верил, что грязь снова вылезет наружу. Гнать ее беспощадно! Наводнение 1802 года — одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух водосточных воронок на Елисейских полях, улицу СенФлорантен из воронки на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из стока на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из клоаки на улице Лапп; она заполнила сточный желоб Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном на592

зад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.

Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она не умела вести дела как в материальном, так и в моральном отношении и выметала мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле — непостижимое, под землей — непроходимое; вверху — смешение языков, внизу — путаница подземелий; под Вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.

По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное — наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, город мучился отрыжкой своих отбросов. Тут ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезно; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не верил, что грязь снова вылезет наружу. Гнать ее беспощадно!

Наводнение 1802 года — одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух водосточных воронок на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из воронки на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из стока на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из клоаки на улице Лапп; она заполнила сточный желоб Елисейских полей до

правлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Маре, здесь растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав тем самым уже в XVIII веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наивысшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывавших водосточные трубы, а наибольшего протяжения — на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину. В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь нигде особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и где мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных границ. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались простонапросто в сточные канавы. Очистку труб возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала ужас и науке и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лиходаки 1685 года Фагон приписывал водостоку Маре, широкая воронка которого продолжала зиять вплоть до 1833 года на улице СенЛуи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза; загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия связывала мрачную парижскую клоаку со зловещими видениями преисподней. У клоаки нет дна. Клоака — 593

правлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Маре, здесь растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав тем самым уже в XVIII веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наивысшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывавших водосточные трубы, а наибольшего протяжения — на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.

В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь нигде особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и где мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных границ. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались простонапросто в сточные канавы. Очистку труб возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала ужас и науке и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лиходаки 1685 года Фагон приписывал водостоку Маре, широкая воронка которого продолжала зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза; загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия свя-

бездонный адский колодец. Полиции в голову не приходило обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб. Как-то раз в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декле, но то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцанье волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; доблестные соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная здесь отрядом, там взводом собралась во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди — Аустерлиц. — Государь! — сказал Наполеону министр внутренних дел. — Вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях вашего величества. — Кто же это? — резко спросил император. — И что он сделал? — Он кое-что задумал, государь. — Что именно? — Осмотреть водостоки Парижа. Глава четвертая ПОДРОБНОСТИ, ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. И вместе с тем путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, толковый рабочий, в ту пору — 594

бездонный адский колодец. Полиции в голову не приходило обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.

Как-то раз в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декле, но то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцанье волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; доблестные соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная здесь отрядом, там взводом собралась во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди — Аустерлиц.

— Государь! — сказал Наполеону министр внутренних дел.— Вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях вашего величества.

— Кто же это? — резко спросил император.— И что он сделал?

— Он кое-что задумал, государь.

— Что именно?

— Осмотреть водостоки Парижа.

Глава четвертая

ПОДРОБНОСТИ, ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ

Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. И вместе с тем путешествие, богатое открытиями. Один из

юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции счел уместным опустить, как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления, сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было сложное, осмотр влек за собой и очистку; приходилось и расчищать и производить измерения, отмечать отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замкй свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец определять уровень притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток — из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было тяжело. Нередко спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клети с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; даже камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать. Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату «1550»: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать XVI века на клоаке; работу XVII века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых 595

юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции счел уместным опустить, как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления, сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было сложное, осмотр влек за собой и очистку; приходилось и расчищать и производить измерения, отмечать отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка́ свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец определять уровень притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток — из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было тяжело. Нередко спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клети с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; даже камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.

Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату «1550»: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать XVI века на клоаке; работу XVII века Брюнзо узнал в кладке водостока

сводами между 1600 и 1650 годами, а работу XVIII — в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1770 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, — так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля. В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были in pace! В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в том числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; он-то и был, вероятно, тем пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году XIX столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке. Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, вызвавшая удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой — волка в папской тиаре. Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью, истлевший лоскут. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было

сводами между 1600 и 1650 годами, а работу XVIII — в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1770 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа,— так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.

В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были *in pace!* В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в том числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; он-то и был, вероятно, тем пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году XIX столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.

Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, вызвавшая удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой — волка в папской тиаре.

Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью, истлевший лоскут. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту

различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП... Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин. Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, то ли случайно забытая, то ли подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслужил и того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки подобает оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, которую с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте. Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо, в 1809, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810 он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811 — под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812 — под улицей Мира и Шоссе д’Антен. Вдобавок он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго. Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в 597

различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП... Корона была короной маркиза, а шесть букв означали *Лобеспин.* Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, то ли случайно забытая, то ли подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслужил и того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки подобает оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, которую с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.

Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо, в 1809, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810 он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811 — под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812 — под улицей Мира и Шоссе д'Антен. Вдобавок он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.

Вот каким образом в начале нынешнего столетия

порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена. Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная — такова была, если оглянуться в прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления — то в виде гусиных лапок, то звездообразные — словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишаи на стенах, капли, падающие с потолка, кромешная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным трактом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами, бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот — прошедшее. Такова, повторяем, была клоака былых времен. Глава пятая ПРОГРЕСС В НАСТОЯЩЕМ В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, заметен там в каждом камне длинного, мрачного, белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой — архитектура

порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.

Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная — такова была, если оглянуться в прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления — то в виде гусиных лапок, то звездообразные — словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишаи на стенах, капли, падающие с потолка, кромешная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным трактом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами, бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот — прошедшее.

Такова, повторяем, была клоака былых времен.

Глава пятая

ПРОГРЕСС В НАСТОЯЩЕМ

В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, заметен там в каждом

улицы Риволи наложила отпечаток даже на недра кло^ аки. К тому же если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Административный язык применяет к ней выражения возвышенные и благопристойные. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой, зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишащими там с незапамятных времен; и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, некогда загрязнявший водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее ханжа, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиций и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации, клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди. Как бы то ни было, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как с этой точки зрения совесть Тартюфа — большой прогресс в сравнении с Авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась. Это больше чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот? Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо. Глава шестая ПРОГРЕСС В БУДУЩЕМ Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За десять веков вплоть до наших дней не уда лось закончить эту работу, так же как не удалось до599

улицы Риволи наложила отпечаток даже на недра клоаки. К тому же если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Административный язык применяет к ней выражения возвышенные и благопристойные. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой, зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишащими там с незапамятных времен; и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, некогда загрязнявший водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее ханжа, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации, клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди.

Как бы то ни было, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как с этой точки зрения совесть Тартюфа — большой прогресс в сравнении с Авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась.

Это больше чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот?

Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.

Глава шестая

ПРОГРЕСС В БУДУЩЕМ

Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За десять веков вплоть до наших дней не уда-

строить Париж. В самом деле, ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров — так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная, с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон — цифры и эти крайне любопытны — провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII — пять тысяч семьсот девять; Карл X — десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп — восемьдесят девять тысяч двадцать; республика 1848 года — двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство — семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб — так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское невидимое сооружение. Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, — а в последнее десятилетие XVIII века и революционная мэрия,— с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие — со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем; только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные,

строить Париж. В самом деле, ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров — так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон — цифры и эти крайне любопытны — провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII — пять тысяч семьсот девять; Карл X — десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп — восемьдесят девять тысяч двадцать; республика 1848 года — двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство — семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб — так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское невидимое сооружение.

Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства,— а в последнее десятилетие XVIII века и революционная мэрия,— с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие — со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем: только человек задумает каким-либо

скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванный на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза,— тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилостных грунтах, и подпорных стоек, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров у заставы Мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как — вещь до сей поры неслыханная! — он соорудил без открытых траншей, .на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, — он умер. Вслед за ним, покрыв сводом 601

скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванный на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза,— тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилостных грунтах, и подпорных стоек, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров у заставы Мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как — вещь до сей поры неслыханная! — он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы

три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской Богоматери, — умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений. В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролегала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, чтобы прикрыть этот срам. Три сточных колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро. Тридцать лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название cassis1. Ловушки (лат.). 602

три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской Богоматери,— умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.

В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролегала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, чтобы прикрыть этот срам. Три сточных колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.

Тридцать лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решет-

Еще в 1832 году на множестве улиц — как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Маре, в предместье СенМартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон — старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с наглым бесстыдством огороженные кругом тумбами. Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаз. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов. Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены. Париж лежит меж двумя слоями: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска, радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она впитывает гнилые испарения. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взя603

Еще в 1832 году на множестве улиц — как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Маре, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон — старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с наглым бесстыдством огороженные кругом тумбами.

Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаз. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.

Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены.

Париж лежит меж двумя слоями: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска, радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она впитывает гнилые испарения. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; по

тый на пробу над навозной кучей, — это доказано наукой,— гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям водная пелена поможет очистить пелену воздушную, — иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унавоживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса. Мы могли бы сказать, что вот уже десять веков клоака — это дурная болезнь Парижа. Сточные воды — отрава в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп лишь после долгих колебаний решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.

тый на пробу над навозной кучей,— это доказано наукой,— гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям водная пелена поможет очистить пелену воздушную,— иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унавоживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.

Мы могли бы сказать, что вот уже десять веков клоака — это дурная болезнь Парижа. Сточные воды — отрава в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп лишь после долгих колебаний решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.

Книга третья ГРЯЗЬ, ПОБЕЖДЕННАЯ СИЛОЙ ДУХА Глава первая КЛОАКА И ЕЕ НЕОЖИДАННОСТИ В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан. Еще одна черта между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах. Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, — от неминуемой гибели к полной безопасности. Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, — это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением! Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу. Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощу605

Книга третья

ГРЯЗЬ, ПОБЕЖДЕННАЯ СИЛОЙ ДУХА

Глава первая

КЛОАКА И ЕЕ НЕОЖИДАННОСТИ

В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.

Еще одна черта между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.

Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо,— от неминуемой гибели к полной безопасности.

Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь,— это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!

Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.

Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его тол-

щал под ногами твердую почву — вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре; он поскользнулся и по нял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он. Через несколько секунд слепота прошла. Сквозь отдушину смотрового колодца, куда он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, — никаким словом не обрисуешь лучше его положения, — был замурован позади и оказался одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена — стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти — двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стеку мрака было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты и что все зависело от случайности. Солдаты тоже могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту. На самом деле они были совсем не тдк близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы — пещера, полная миазмов и ловушек; вместо хаоса — клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой. Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть налево или направо? Как разобраться в черном 606

щал под ногами твердую почву — вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре; он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он.

Через несколько секунд слепота прошла. Сквозь отдушину смотрового колодца, куда он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя,— никаким словом не обрисуешь лучше его положения,— был замурован позади и оказался одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена — стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти — двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену мрака было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты и что все зависело от случайности. Солдаты тоже могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.

На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы — пещера, полная миазмов и ловушек; вместо хаоса — клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.

Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсю-

лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить — его естественный уклон. Следовать уклону, значило спускаться к реке. Жан Вальжан понял это сразу. Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка, что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выбраться на поверхность. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения. Он начал подниматься вверх, направо. Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшие из ран Мариуса. Однако влажная теплота у самого уха, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся от вчерашнего ливня вода образовала ру* чеек, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он походил на те порожденные ночью существа, что движутся ощупью, затерянные в подземных шахтах мрака. Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в густую мглу слабый мер607

лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить — его естественный уклон. Следовать уклону, значило спускаться к реке.

Жан Вальжан понял это сразу.

Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка, что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выбраться на поверхность. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения.

Он начал подниматься вверх, направо.

Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшие из ран Мариуса. Однако влажная теплота у самого уха, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся от вчерашнего ливня вода образовала ручеек, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он походил на те порожденные ночью существа, что движутся ощупью, затерянные в подземных шахтах мрака.

Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальше

дающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, зрение отчасти вернулось к нему, и он начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет подобно тому, как душа вырастает в страданиях и познает в них бога. Выбирать дорогу становилось все труднее. Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы сеть водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря подземным работам последнего тридцатилетия теперь эта сеть — не менее шестидесяти миль длиной. Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра;, там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра — одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан прошел стороной водостб^и рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутанных корабельных снастей; однако ему предстояло еще немало опасностей, немало уличных перекрестков, — ведь под землей те же улицы, — выраставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв T и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка до самой

цающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, зрение отчасти вернулось к нему, и он начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет подобно тому, как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.

Выбирать дорогу становилось все труднее.

Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы сеть водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря подземным работам последнего тридцатилетия теперь эта сеть — не менее шестидесяти миль длиной.

Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра — одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан прошел стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутанных корабельных снастей; однако ему предстояло еще немало опасностей, немало уличных перекрестков,— ведь под землей те же улицы,— выраставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под Почтовым уп-

Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Вовторых, направо — изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на когти. В-третьих, опять-таки налево, — ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземельеотстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо — глухой тупик улицы Постников, не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место. Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого, тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохранившей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он нащупал бы современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал. Он шел прямо вперед, с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению. Мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал ему в душу. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна; она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта гигантская подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели 20. «Отверженные», т. 2. 609

Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо — изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на когти. В-третьих, опять-таки налево,— ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо — глухой тупик улицы Постников, не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.

Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого, тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохранившей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он нащупал бы современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал.

Он шел прямо вперед, с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.

Мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал ему в душу. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна; она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта гигантская подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, ка-

Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим сужДёно Погибнуть здесь, 'и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди вечгібй ночи? Кто знает! Он задавал се‘бе этй вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа — бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища. И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед. Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам — в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, служащего водоразделом, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; сам того не подозревая, он был на правильном пути. Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход уже прежнего коридора, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо полагая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов. И вдруг он почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, й что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей. 610

Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа — бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.

И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.

Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам — в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, служащего водоразделом, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; сам того не подозревая, он был на правильном пути.

Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход уже прежнего коридора, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо полагая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.

И вдруг он почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились ко-

По его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его. Внезапно прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, слегка окрасивший камень у негр под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он в изумлении обернулся. Позади него, в' конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз. Это было полицейское око — мрачное светило подземных трущоб. |а этой звездой колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих. Глава вторая ПОЯСНЕНИЕ Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы клоака не послужила убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный, пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу — полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один — вдоль правого берега Сены, другой — вдоль левого, третий — в центральной части города. Полицейских вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами. Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег. Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенную под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не 611

По его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.

Внезапно прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, слегка окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он в изумлении обернулся.

Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.

Это было полицейское око — мрачное светило подземных трущоб.

За этой звездой колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.

Глава вторая
ПОЯСНЕНИЕ

Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы клоака не послужила убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный, пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу — полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один — вдоль правого берега Сены, другой — вдоль левого, третий — в центральной части города.

Полицейских вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.

Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.

Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенную под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не

свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного кана1ла. Это и были шаги Жана ВаЛьжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум. Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута. По счастью, он хорошо видел фонарь, а фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан — тенью. Он был очень далеко, он сливался с окружающей мглой. Он прижался к стене и застыл на месте. Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонйй'цы, голода, волнения он был как в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг пламени какие-то привидения. Что это было? Он не понимал. Когда Жан Вальжан остановился, шум затих. Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться. В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из-за небольшого озерка: туда стекали потоки дождевой воды, скоплявшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке. Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу. Призраки, как видно, шептались. Наконец совещание сторожевых псов закончилось; они решили, что ошиблись, что шум только почудился им, что там ни души и нет смысла идти по окружному каналу, — это будет напрасная трата времени; напротив, надо спешить в сторону Сен-Мерри; если их помощь понадобится, если удастся выследить какогонибудь «смутьяна», то именно в этом квартале. Время от времени партии прибивают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое уже слово «якобинец», а прозвище «демагог», тогда 612

свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала. Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.

Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.

По счастью, он хорошо видел фонарь, а фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан — тенью. Он был очень далеко, он сливался с окружающей мглой. Он прижался к стене и застыл на месте.

Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, голода, волнения он был как в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг пламени какие-то привидения. Что это было? Он не понимал.

Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.

Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.

В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из-за небольшого озерка: туда стекали потоки дождевой воды, скоплявшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.

Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу. Призраки, как видно, шептались.

Наконец совещание сторожевых псов закончилось; они решили, что ошиблись, что шум только почудился им, что там ни души и нет смысла идти по окружному каналу,— это будет напрасная трата времени; напротив, надо спешить в сторону Сен-Мерри; если их помощь понадобится, если удастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале.

Время от времени партии прибивают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое

çху,е неупотребительное, превосходно сослужило службу впоследствии. Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделиться на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Жана Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернув в сторону, вдруг померк. Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по галереям: казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана; он понял, что пуля ударила в свод над его головой. Мерные, неторопливые шаги еще некогорое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли; группа черных теней углубилась во тьму; мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений. Глава третья ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ВЫСЛЕЖИВАЮТ Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно исполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что

еще неупотребительное, превосходно сослужило службу впоследствии.

Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделиться на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Жана Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернув в сторону, вдруг померк.

Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по галереям: казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана; он понял, что пуля ударила в свод над его головой. Мерные, неторопливые шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли; группа черных теней углубилась во тьму; мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.

Глава третья

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ВЫСЛЕЖИВАЮТ

Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно исполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бро-

правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, не нарушая своего хода. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку. Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, неподалеку от моста Инвалидов. В наши дни там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился. Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, как будто избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий сзади старался нагнать его. Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу. Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже. Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, — высокий, здоровый мужчина, — был силен и, должно быть, жесток в схватке. Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но убегал в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде и мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх. Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни грузчиков на пришвартованных к причалу баржах. Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в дырявой блузе, а второй — почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке. 614

правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, не нарушая своего хода. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.

Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, неподалеку от моста Инвалидов.

В наши дни там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.

Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, как будто избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий сзади старался нагнать его.

Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.

Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.

Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал,— высокий, здоровый мужчина,— был силен и, должно быть, жесток в схватке.

Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но убегал в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде и мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.

Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.

Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в дырявой блузе, а вто-

Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе. Какова была цель второго? По всей вероятности, одеть первого потеплее. Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — позорно. Существует пурпур общественного дна. Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий. То, что второй позволял ему идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой. ^ту догадку подверждает то, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак изівозчику; извозчик, очевидно, сразу сообразил, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого. Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке. В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай». Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, по которому в те времена извозчики, ехавшие из Пасси, могли спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии: пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры. Возможно, что человек в блузе собирался подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях , где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.

Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.

Какова была цель второго?

По всей вероятности, одеть первого потеплее.

Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее — почетно, быть одетым в красное — позорно.

Существует пурпур общественного дна.

Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода,вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.

То, что второй позволял ему идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.

Эту догадку подверждает то, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику; извозчик, очевидно, сразу сообразил, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.

Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.

В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».

Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, по которому в те времена извозчики, ехавшие из Пасси, могли спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии: пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры.

Возможно, что человек в блузе собирался подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях , где, правда, много деревьев, но зато немало и полицей-

Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Море в Париж полковником Браком, — так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом. К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он попрежнему шел вперед вдоль набережной. Его положение явно становилось отчаянным. Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену. Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся йод водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех стгорон: справа ему отрежет путь отвесная стена, слева гі спереди — река, с тыла — представитель власти. Правда, конец береговой косы загораживала от глаз куча щебня, шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов. Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной. Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся из глаз преследователя. Потеряв его из виду и думая, что его не замечают, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, не оказалось. Оборванец исчез бесследно. Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, а затем уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной. Беглец не мог броситься в реку, не мог перелезть через стену незамеченным. Куда же он девался?

Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Море в Париж полковником Браком,— так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.

К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.

Его положение явно становилось отчаянным.

Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.

Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрежет путь отвесная стена, слева и спереди — река, с тыла — представитель власти.

Правда, конец береговой косы загораживала от глаз куча щебня, шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.

Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.

Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся из глаз преследователя.

Потеряв его из виду и думая, что его не замечают, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, не оказалось.

Оборванец исчез бесследно.

Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, а затем уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.

Беглец не мог броситься в реку, не мог перелезть

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась береговая коса и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Ручей впадал в Сену. За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора. Человек скрестил руки и устремил на решетку негодующий взгляд. Ничего не добившись взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа; во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Стало быть, тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ. Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул: — Это уж чересчур! У него казенный ключ! Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо: — Так, так, так! После этого, неизвестно на что рассчитывая— то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, — он с терпением ищейки притаился в засаде за кучей щебня. Извозчик, следивший за всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, — мешки, хорошо знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные фигуры — человека на берегу и фиакр на набережной. 617

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась береговая коса и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Ручей впадал в Сену.

За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.

Человек скрестил руки и устремил на решетку негодующий взгляд.

Ничего не добившись взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа; во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Стало быть, тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.

Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:

— Это уж чересчур! У него казенный ключ!

Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:

— Так, так, так!

После этого, неизвестно на что рассчитывая—то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие,— он с терпением ищейки притаился в засаде за кучей щебня.

Извозчик, следивший за всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу,— мешки, хорошо знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на

Глава четвертая ОН ТОЖЕ НЕСЕТ СВОИ КРЕСТ

Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался. Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в мерзких нечистотах города. Бледные отсветы дня, проникавшие сюда сквозь редкие отдушины, были такие тусклые, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче. Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала. Прежде всего Жана Вальжана удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не натыкаясь на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту. В том месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Вся

Глава четвертая

ОН ТОЖЕ НЕСЕТ СВОЙ КРЕСТ

Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.

Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в мерзких нечистотах города. Бледные отсветы дня, проникавшие сюда сквозь редкие отдушины, были такие тусклые, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.

Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.

Прежде всего Жана Вальжана удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не натыкаясь на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.

кий менее опытный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что обстоятельства вынуждают его спешить и что теперь следует во что бы тб ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево. И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Верен, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы помним, заключенный в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку — роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, служащим водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец. В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором СенЛуи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершение» не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В недрах ночи». 619

кий менее опытный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что обстоятельства вынуждают его спешить и что теперь следует во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.

И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы помним, заключенный в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку — роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, служащим водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.

В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по кото-

Внутреннее чутье не обмануло его. Спуск действительно означал возможность спасения. Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д'Антен. Миновав небольшой боковой проход — вероятнб, ответвление под улицей Мадлен, — он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь довольно широкую отдушину, — по-видимому, смотровой колодец улицы Анжу, — пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным, осторожным движением, словно брат — раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, постарался как можно лучше перевязать раны и остановил кровотечение; затем, склонившись в полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти. Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель: «Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Маре». Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, на миг замер, потом задумчиво проговорил вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, № 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возратились к нему; снова взвалив Ма620

Внутреннее чутье не обмануло его. Спуск действительно означал возможность спасения.

Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д'Антен.

Миновав небольшой боковой проход — вероятно, ответвление под улицей Мадлен,—он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь довольно широкую отдушину,— по-видимому, смотровой колодец улицы Анжу,— пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным, осторожным движением, словно брат — раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, постарался как можно лучше перевязать раны и остановил кровотечение; затем, склонившись в полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.

Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Маре».

Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, на миг замер, потом задумчиво проговорил вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, № 6, г-н Жильнорман». Потом он вло-

риуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться по водостоку. Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем. У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, — он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру. А по шуму колес над головой, который из непрестанного перешел в прерывистый и, наконец, почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше и отдушин в клоаке. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробиваясь ощупью во мраке. Внезапно его охватил ужас. Глава пятая ПЕСОК КОВАРЕН, КАК ЖЕНЩИНА: ЧЕМ ОН ПРИМАНЧИВЕИ, ТЕМ ОПАСНЕЙ Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а вязкий ил. На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ногу, след заполняется водой. А между тем пейзаж не меняется: бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок всюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыб621

риуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться по водостоку.

Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.

У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, — он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру. А по шуму колес над головой, который из непрестанного перешел в прерывистый и, наконец, почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше и отдушин в клоаке. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробиваясь ощупью во мраке.

Внезапно его охватил ужас.

Глава пятая

ПЕСОК КОВАРЕН, КАК ЖЕНЩИНА: ЧЕМ ОН ПРИМАНЧИВЕЙ, ТЕМ ОПАСНЕЙ

Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а вязкий ил.

На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ногу, след заполняется водой. А между тем пейзаж не меняется: бесконечно тянется

кой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он ничуть не встревожен. О чем ему беспокоиться? Только с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги; он останавливается, чтобы определить направление. Й тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад — и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток; он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. И тут, к невыразимому своему ужасу, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если она у него есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие; поздно: он провалился выше колен. Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком; песок засасывает его все глубже и глубже; если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь смельчака — кончено: его засосал песок. Он обречен на ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго; она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием; она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески — это могила, смытая морским приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый

миг — безжалостный могильщи}<.>

кой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он ничуть не встревожен. О чем ему беспокоиться? Только с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги; он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад — и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток; он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. И тут, к невыразимому своему ужасу, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если она у него есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие; поздно: он провалился выше колен.

Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком; песок засасывает его все глубже и глубже; если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь смельчака — кончено: его засосал песок. Он обречен на ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго; она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием; она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески — это могила, смытая морским приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг — безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое

он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаянье. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, исступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза, наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только пряди волос развеваются над песком: высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека... Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина поглощает все. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно вода. Пучине свойственно подобное коварство. Несчастный случай, всегда возможный на некоторых морских побережьях, лет тридцать назад мог произойти и в парижской клоаке. До 1833 года, когда наконец были начаты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы. Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила вел к трещине, а трещина — к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывавшая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь — плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, оказавшиеся под землей; это пебчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешен623

он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаянье. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, исступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза, наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только пряди волос развеваются над песком: высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека...

Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина поглощает все. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно вода. Пучине свойственно подобное коварство.

Несчастный случай, всегда возможный на некоторых морских побережьях, лет тридцать назад мог произойти и в парижской клоаке.

До 1833 года, когда наконец были начаты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.

Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила вел к трещине, а трещина — к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывавшая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь— плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной;

ном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если там больше воды, вам грозит мгновенная смерть — вас затопит; если больше земли, вам грозит медленная смерть — вас засосет. Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо не угасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, взамен всего этого — глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под толщей земли! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает! Невыразимо страшно так умереть! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени или в морской пене сохранить достоинство: такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Тут смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь — синоним позора. Тут все ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, — еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д’Эскубло, — ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно принять ее за болото; умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу. Могила всюду мрачна; здесь же она безобразна. Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния 624

ном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если там больше воды, вам грозит мгновенная смерть — вас затопит; если больше земли, вам грозит медленная смерть — вас засосет.

Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо не угасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, взамен всего этого — глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под толщей земли! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!

Невыразимо страшно так умереть! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени или в морской пене сохранить достоинство: такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Тут смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь — синоним позора. Тут все ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, — еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д'Эскубло,—ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно принять ее за болото; умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу.

Могила всюду мрачна; здесь же она безобразна.

лодпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, порою — - восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом — почти жидким. В плывуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его за пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от своей плотности. Ребенок может спастись там, где провалится взрослый. Первое условие спасения — это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой — вот с чего начинал рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать. Провал могли вызвать разные причины: рыхлость грунта, случайный оползень на недоступной исследованию глубине, бурные летние ливни, непрерывные зимние осадки, осенние моросящие дожди. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто назад осевшее здание Пантеона завалило часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение иной раз оставляло след наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко, однако, внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожности в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Николй Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать. 625

подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, порою — восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом — почти жидким. В плывуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его за пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от своей плотности. Ребенок может спастись там, где провалится взрослый. Первое условие спасения — это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой — вот с чего начинал рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.

Провал могли вызвать разные причины: рыхлость грунта, случайный оползень на недоступной исследованию глубине, бурные летние ливни, непрерывные зимние осадки, осенние моросящие дожди. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто назад осевшее здание Пантеона завалило часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение иной раз оставляло след наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко, однако, внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожности в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола́ Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище

В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д’Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, д’Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда он укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о efo гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!» Глава шестая ПРОВАЛ Перед Жаном Вальжаном был провал. Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной плывучести. Этот грунт превосходит плывучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, где с ними удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, настолько разжиженные, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески — основная подпочва Елисейских полей до самой Сены — оказались столь серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо принять во внимание, что в том году дожди лили нёпрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов. Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Из-за оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной

В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д'Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, д'Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда он укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!»

Глава шестая

ПРОВАЛ

Перед Жаном Вальжаном был провал.

Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной плывучести. Этот грунт превосходит плывучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, где с ними удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, настолько разжиженные, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески — основная подпочва Елисейских полей до самой Сены — оказались столь серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо принять во внимание, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.

Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Из-за оседания

подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, после чего произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Установить невозможно. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то «и было. Это был омут грязи в пещере ночи. Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне — тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад немыслимо. Мариус, казалось, был при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, — кто знает?— мертвеца. Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, была в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, погружаясь все глубже. Над водой оставалась только голова и две руки, державшие Мариуса. Где-то нд старинной картине всемирного потопа изображена мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка. Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову, чтобы не захлебнуться, тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, всплывшую над водой. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно! 627

подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, после чего произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Установить невозможно. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.

Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне — тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад немыслимо. Мариус, казалось, был при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть,— кто знает?— мертвеца.

Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, была в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, погружаясь все глубже. Над водой оставалась только голова и две руки, державшие Мариуса. Где-то на старинной картине всемирного потопа изображена мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.

Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову, чтобы не захлебнуться, тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, всплывшую над водой. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опо-

Он выпрямился, в каком-то исступлении рванулся вперед и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни. Опора, обретенная им в трясине в последний предсмертный миг, оказалась началом каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала. Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это за указание свыше, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу. Потом он встал, весь дрожа, закоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе; с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом. Глава седьмая ПОРОЮ ТЕРПЯТ КРУШЕНИЕ ТАМ, ГДЕ НАДЕЮТСЯ ПРИСТАТЬ К БЕРЕГУ И он снова пустился в путь. Но, если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что не может подняться. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал. Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделйл так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся о стену. Он достиг угла, где водо628

Он выпрямился, в каком-то исступлении рванулся вперед и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.

Опора, обретенная им в трясине в последний предсмертный миг, оказалась началом каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.

Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это за указание свыше, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.

Потом он встал, весь дрожа, закоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе; с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.

Глава седьмая

ПОРОЮ ТЕРПЯТ КРУШЕНИЕ ТАМ, ГДЕ НАДЕЮТСЯ ПРИСТАТЬ К БЕРЕГУ

И он снова пустился в путь.

Но, если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что не может подняться. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.

Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал

сток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, гдето впереди, далеко-далеко — увидел свет. На этот раз свет не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Дневной свет. Жан Вальжан видел впереди дверь на волю. Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных, обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее впереди обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускавшегося свода и более узкая, чем галерея, суживавшаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смирительного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена. Жан Вальжан подошел к отверстию. Здесь он остановился. Это действительно был выход, но выйти было невозможно. Арка была забрана толстой решеткой, а на решетке, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях и плотно прилегала к каменному наличнику, висел массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Была видна замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался крепким тюремным замком, на какие не скупился в те времена старый Париж. По ту сторону решетки — свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа — этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, — мост Инвалидов: самое подходящее место, что629

сток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко — увидел свет. На этот раз свет не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Дневной свет.

Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.

Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных, обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее впереди обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускавшегося свода и более узкая, чем галерея, суживавшаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смирительного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.

Жан Вальжан подошел к отверстию.

Здесь он остановился.

Это действительно был выход, но выйти было невозможно.

Арка была забрана толстой решеткой, а на решетке, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях и плотно прилегала к каменному наличнику, висел массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Была видна замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался крепким тюремным замком, на какие не скупился в те времена старый Париж.

По ту сторону решетки — свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа — этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по ре-

бы дождаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи. Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться. Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно. Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Куда же идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные колодцы клоаки были надежно закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу. Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули. Оба запутались в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук. Он повернулся спиной к решетке и опустился, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле Все еще неподвижного Мариуса; голбНа его склонилась к коленям. 630

бы дождаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.

Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.

Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно.

Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Куда же идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные колодцы клоаки были надежно закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.

Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.

Оба запутались в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.

Он повернулся спиной к решетке и опустился, вер-

Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния. О чем думал Жан Вальжан в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте. Глава восьмая ЛОСКУТ ОТ РАЗОРВАННОГО СЮРТУКА Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом: — Добычу пополам! Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Что же это такое? Он поднял глаза. Перед ним стоял человек. Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану. Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он ‘сразу узнал человека. Это был Тенардье. Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Притом, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье неспособен был сгустить мрак этой ночи. С минуту оба выжидали. Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, стараясь хорошенько разглядеть незнакомца. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но, при всей его мертвенности, отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое пре631

Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.

О чем думал Жан Вальжан в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.

Глава восьмая

ЛОСКУТ ОТ РАЗОРВАННОГО СЮРТУКА

Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:

— Добычу пополам!

Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Что же это такое? Он поднял глаза.

Перед ним стоял человек.

Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.

Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардье.

Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Притом, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье неспособен был сгустить мрак этой ночи.

С минуту оба выжидали.

Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, стараясь хорошенько разглядеть незнакомца. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но, при всей его мертвенности, отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось до-

имущество в той таинственной дуэли, какая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях. Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардье — без маски. Жан Вальжан сразу понял, что Тенардье не узнал его. Несколько мгновений они разглядывали друг друга в полусвете, как бы примеряясь один к другому. Первым нарушил молчание Тенардье: — Как ты думаешь выбраться отсюда? Жан Вальжан не ответил. Тенардье продолжал: — Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо. — Это верно, — сказал Жан Вальжан. — Так вот, добычу пополам. — Что ты хочешь сказать? — Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня. Тенардье указал пальцем на Мариуса. — Я тебя не знаю,— продолжал он,— но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень. Жан Вальжан начал догадываться: Тенардье принимал его за убийцу. Тенардье заговорил снова: — Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне половину. А я отомкну тебе дверь. Вытащив наполовину из-под дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил: — Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся. Жан Вальжан был до такой степени ошарашен, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардье? Тенардьё засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану. — Держи-ка,— сказал он, — вот тебе еще веревка в придачу. — Зачем мне веревка? 632

имущество в той таинственной дуэли, какая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях.

Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардье — без маски.

Жан Вальжан сразу понял, что Тенардье не узнал его.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга в полусвете, как бы примеряясь один к другому. Первым нарушил молчание Тенардье:

— Как ты думаешь выбраться отсюда?

Жан Вальжан не ответил.

Тенардье продолжал:

— Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо.

— Это верно,— сказал Жан Вальжан.

— Так вот, добычу пополам.

— Что ты хочешь сказать?

— Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня.

Тенардье указал пальцем на Мариуса.

— Я тебя не знаю,— продолжал он,— но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.

Жан Вальжан начал догадываться: Тенардье принимал его за убийцу.

Тенардье заговорил снова:

— Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне половину. А я отомкну тебе дверь.

Вытащив наполовину из-под дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:

— Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.

Жан Вальжан был до такой степени ошарашен, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардье?

Тенардье засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.

— Держи-ка,— сказал он,— вот тебе еще веревка

— Надо бы еще и камень, да их много снаружи. Там целая куча щебня. — Зачем мне камень? — Вот болван! Придется же бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка и камень. А то всплывет наверх. Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все. Тенардье прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль: — Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться... Фу, как от тебя воняет! Помолчав, он заговорил снова: — Я задаю тебе вопросы, ты не отвечаешь — дело твое! Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка Г Конечно, коли вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, мне все ясно — кто ты и чего тебе надо. Видали мы таких. Ты легонько подшиб этого молодца, а тепёрь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, — чтобы концы в воду. Вот я и помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды — это по мне. Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос: — Кстати, насчет трясины. Экий болван! Почему ты не сбросил его туда? Жан Вальжан хранил молчание. Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал: — А, пожалуй, ты поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша. А тогда шаг за шагом, потихоньку-полегоньку напали бы на твой след и добрались до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток — доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут — редкость: в клоаку мало кто заходит по делу, а река — для всех. Река — что могила. Ну, 633

— Надо бы еще и камень, да их много снаружи. Там целая куча щебня.

— Зачем мне камень?

— Вот болван! Придется же бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка и камень. А то всплывет наверх.

Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.

Тенардье прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:

— Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться... Фу, как от тебя воняет!

Помолчав, он заговорил снова:

— Я задаю тебе вопросы, ты не отвечаешь — дело твое! Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка! Конечно, коли вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, мне все ясно — кто ты и чего тебе надо. Видали мы таких. Ты легонько подшиб этого молодца, а теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река,— чтобы концы в воду. Вот я и помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды — это по мне.

Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:

— Кстати, насчет трясины. Экий болван! Почему ты не сбросил его туда?

Жан Вальжан хранил молчание.

Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал:

— А, пожалуй, ты поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша. А тогда шаг за шагом, потихоньку-полегоньку напали бы на твой след и добрались до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток — доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут — редкость: в клоаку мало кто заходит

пускай через месяц выудят утопленника из сеток СенКлу. А́ на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты ловкий пройдоха. Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо. — А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свой деньги. Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с тем дружелюбный. Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать почему. Кроме них двоих, тут никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей. Тенардье опять заговорил: — Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширмаиах у этого разини? Жан Вальжан порылся у себя в карманах. Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В тяжелой, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су. Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой. — Да ты же его придушил задаром! — сказал он. С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардье, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот 634

пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты ловкий пройдоха.

Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо.

— А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.

Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с тем дружелюбный.

Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать почему. Кроме них двоих, тут никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей.

Тенардье опять заговорил:

— Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?

Жан Вальжан порылся у себя в карманах.

Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В тяжелой, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.

Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.

— Да ты же его придушил задаром!— сказал он.

С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардье, с ловкостью опытного карманника,

кусок материи может когда-нибудь ему пригодиться, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего. — Что верно, то верно, — пробормотал он,— один на другом верхом, и у обоих ни шиша. И, позабыв свое условие «добычу пополам», за* брал все. Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча: — Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека. После этого он опять вытащил из-под блузы ключ. — А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил — убирайся вон. Может ли быть, чтобы, выручив незнакомца при помощи ключа и выпустив на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться. Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что решетка и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, укрывала какую-то таинственную шайку. Безмолвная решетка была их сообщницей. Тенардье приотворил дверцу ровно на столько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и скрылся во мгле. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди непроницаемой тьмы. Жан Вальжан очутился на воле. 635

кусок материи может когда-нибудь ему пригодиться, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.

— Что верно, то верно,—пробормотал он,— один на другом верхом, и у обоих ни шиша.

И, позабыв свое условие «добычу пополам», забрал все.

Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:

— Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека.

После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.

— А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил — убирайся вон.

Может ли быть, чтобы, выручив незнакомца при помощи ключа и выпустив на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.

Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что решетка и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, укрывала какую-то таинственную шайку. Безмолвная решетка была их сообщницей.

Тенардье приотворил дверцу ровно на столько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и скрылся во мгле. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди

Глава девятая ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ ТОЛК В ТАКИХ ДЕЛАХ, ПРИНИМАЕТ МАРИУСА ЗА МЕРТВЕЦА

Жан Вальжан опустил Мариуса на берег. Они были на воле! Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. С неба нисходило бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Коегде на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности. Стоял тот неуловимый и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи. Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забытья, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в лучистых сумерках, подобно небу, тоже озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над головой; задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, словно вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но полуоткрытый рот еще дышал. Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство, — так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной. 636

Глава девятая

ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ ТОЛК В ТАКИХ ДЕЛАХ, ПРИНИМАЕТ МАРИУСА ЗА МЕРТВЕЦА

Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.

Они были на воле!

Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. С неба нисходило бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.

Стоял тот неуловимый и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи.

Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забытья, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в лучистых сумерках, подобно небу, тоже озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над головой; задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, словно вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но полуоткрытый рот еще дышал.

Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство,—

Нам уже приходилось прежде описывать это ощущение, знакомое всякому человеку. Он обернулся. Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной. Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом. Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человека суеверного испугала бы темнота, человека разумного — дубинка. Жан Вальжан узнал Жавера. Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, во время короткой аудиенции доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем. Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном ВальжанОм, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца! Какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра. Жан Вальжан попал из огня да в полымя. Перенести две такие встречи одну за другой, попасть от Тенардье к Жаверу — было тяжким ударом. Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал на себя непохож. Не меняя позы и лишь 637

Нам уже приходилось прежде описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.

Он обернулся.

Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.

Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.

Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человека суеверного испугала бы темнота, человека разумного — дубинка.

Жан Вальжан узнал Жавера.

Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, во время короткой аудиенции доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.

Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца! Какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.

Жан Вальжан попал из огня да в полымя.

Перенести две такие встречи одну за другой, попасть от Тенардье к Жаверу — было тяжким ударом.

Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы

крерче сжав неуловимым движением дубинку в руке, ол спросил отрывисто и спокойно: — Кто вы такой? - Я. — Кто это вы? — Жан Вальжан. Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, вгляделсд и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был ртрашен. Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси, — Инспектор Жавер! — сказал он. — Я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас об одном... Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые губы служили признаком свирепого раздумья. Наконец, он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил: — Что вы здесь делаете? И кто этот человек? Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану. Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера: — О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу. Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал. Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса. — Этот человек был на баррикаде, — сказал он вполголоса, как бы про себя. — Это тот, кого называли Мариусом. Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смер638

крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он спросил отрывисто и спокойно:

— Кто вы такой?

— Я.

— Кто это вы?

— Жан Вальжан.

Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, вгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.

Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.

— Инспектор Жавер! — сказал он.— Я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас об одном...

Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые губы служили признаком свирепого раздумья. Наконец, он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:

— Что вы здесь делаете? И кто этот человек?

Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану.

Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:

— О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.

Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.

Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.

— Этот человек был на баррикаде,— сказал он вполголоса, как бы про себя.— Это тот, кого называли Мариусом.

Первоклассный шпион все подсмотрел, все под-

ти; он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку. Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс. — Он ранен, — сказал Жан Вальжан. — Он умер, — сказал Жавер. Жан Вальжан возразил: — Нет. Пока еще жив. — Значит, вы принесли его сюда с баррикады?— спросил Жавер. Видно, он был сильно озабочен, раз не стал допрашивать о подозрительном бегстве через подземелье клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан обошел молчанием его вопрос. Да и Жана Вальжана занимала, казалось, однаединственная мысль. Он снова заговорил: — Он живет в Маре, на улице Сестер страстей господних, у своего деда... Я забыл его имя. Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу. В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы: — Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть. Потом крикнул: — Извозчик! Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай. Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя. Минуту спустя карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке. Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной по направлению к Бастилии. Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. В углу экипажа неподвижное тело Мариуса с поникшей головой, с безжизненно висевшими руками и вытянутыми ногами как будто ждало, чтобы 639

ти; он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку.

Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.

— Он ранен,— сказал Жан Вальжан.

— Он умер,— сказал Жавер.

Жан Вальжан возразил:

— Нет. Пока еще жив.

— Значит, вы принесли его сюда с баррикады?— спросил Жавер.

Видно, он был сильно озабочен, раз не стал допрашивать о подозрительном бегстве через подземелье клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан обошел молчанием его вопрос.

Да и Жана Вальжана занимала, казалось, однаединственная мысль. Он снова заговорил:

— Он живет в Маре, на улице Сестер страстей господних, у своего деда... Я забыл его имя.

Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.

В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы:

— Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть.

Потом крикнул:

— Извозчик!

Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.

Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.

Минуту спустя карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.

Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной по направлению к Бастилии.

Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. В углу экипажа неподвижное тело Мариуса с поникшей головой, с безжизненно висевшими ру-

его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер — изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зуювеще свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности — труп, призрак, статую. Глава десятая ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови. Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних. Жавер Вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке. Весь дом спал. В Маре ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло. Жан Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал èго под мышки, а извозчик за ноги. Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил. Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика: — Живет тут кто-нибудь по фамилии Жильнорман? — Живет. Что вам угодно? — Мы привезли его сына. — Сына? — тупо переспросил привратник. — Он умер. Показавшийся за спиной Жавера оборванный и

его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер — изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловеще свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности — труп, призрак, статую.

Глава десятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.

Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.

Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.

Весь дом спал. В Маре ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло.

Жан Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.

Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.

Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:

— Живет тут кто-нибудь по фамилии Жильнорман?

— Живет. Что вам угодно?

— Мы привезли его сына.

— Сына?— тупо переспросил привратник.

— Он умер.

грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда. Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана. Жавер продолжал: — Он пошел на баррикаду — и вот, доигрался. — На баррикаду?! — вскричал привратник. — Его там убили. Поди разбуди отца. Привратник не трогался с места. — Ступай же! — повторил Жавер и добавил: — Завтра тут будут похороны. Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются бдительность и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, глядя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны. Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше. Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам. Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление. Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы. — Надзиратель Жавер! — сказал Жан Вальжан. — Окажите мне еще одну милость. — Какую? — сурово спросил Жавер. — Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной, что хотите. Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты. — Извозчик! — сказал он. — На улицу Вооруженной человека, номер семь. 21. «Отверженные», т. 2. 641

грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда.

Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.

Жавер продолжал:

— Он пошел на баррикаду — и вот, доигрался.

— На баррикаду?!— вскричал привратник.

— Его там убили. Поди разбуди отца.

Привратник не трогался с места.

— Ступай же! — повторил Жавер и добавил:

— Завтра тут будут похороны.

Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются бдительность и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, глядя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.

Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.

Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.

Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.

Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы.

— Надзиратель Жавер!— сказал Жан Вальжан.— Окажите мне еще одну милость.

— Какую? — сурово спросил Жавер.

— Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной, что хотите.

Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.

Глава одиннадцатая ПОТРЯСЕНИЕ НЕЗЫБЛЕМЫХ ОСНОВ

За все время пути они больше не раскрывали рта. Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, представлялось Жану Вальжану несовместимым с религией. Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось ему невозможным. В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую. Извозчик смиренно просил «господина инспектора» обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил «господина инспектора» сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную». Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил: — Сколько тебе следует, считая за проезд и простой? — Теперь уже четверть восьмого, — отвечал кучер, — да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор. Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр. Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Беаых мантий или Архива, находившихся совсем рядом. 642

Глава одиннадцатая

ПОТРЯСЕНИЕ НЕЗЫБЛЕМЫХ ОСНОВ

За все время пути они больше не раскрывали рта.

Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, представлялось Жану Вальжану несовместимым с религией.

Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось ему невозможным.

В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.

Извозчик смиренно просил «господина инспектора» обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил «господина инспектора» сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».

Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:

— Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?

— Теперь уже четверть восьмого,— отвечал кучер,— да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор.

Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.

Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается

Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась. — Хорошо^ сказал Жавер.— Входите. Он прибавил с какимгто странным выражением, точно делал над собой усилие, произнося эти слова: — Я подожду вас здесь. Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был необычен для Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы затем вонзить в нее когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, — тот дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице. Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение. Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было. Жавер ушел. Глава двенадцатая ДЕД Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман. Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, что же это такое?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось, она оказалась способной философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем воз643

Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.

— Хорошо,— сказал Жавер.— Входите.

Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делал над собой усилие, произнося эти слова:

— Я подожду вас здесь.

Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был необычен для Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы затем вонзить в нее когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника,— тот дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.

Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.

Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.

Жавер ушел.

Глава двенадцатая

ДЕД

Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.

Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, что же это такое?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось,

гласе: «Так и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях. По приказанию врача, рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, на груди нет ни одной глубокой раны и кровь, запекшаяся в углах рта, течет из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, — голову на одном уровне с туловищем, даже чуть ниже, — и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату и там принялась усердно молиться, перебирая четки. У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений; скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и потому не опасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами; ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой. Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их, Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью. Доктор был погружен в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного — эти таинственные диалоги врача с самим собой! 644

гласе: «Так и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.

По приказанию врача, рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, на груди нет ни одной глубокой раны и кровь, запекшаяся в углах рта, течет из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки,— голову на одном уровне с туловищем, даже чуть ниже,— и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату и там принялась усердно молиться, перебирая четки.

У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений; скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и потому не опасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами; ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.

Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их, Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.

Доктор был погружен в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал.

В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, осторожно касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной распахнулась дверь и появилась высокая белая фигура. Это был дед. Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал. Сон у стариков чуткий; спальня Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери. Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка вытянув трясущуюся голову; на нем был белый облегавший тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, это призрак заглядывает в могилу. Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, неподвижного. Старик задрожал всем телом; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось, покрылось землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал: — Мариус! — Сударь! — сказал Баск. — Господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там... — Он убит! — воскликнул старик страшным голосом.— Ах, разбойник! И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша. — Сударь! — сказал он. — Вы врач. Скажите мне только одно: он умер, не правда ли? 645

В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, осторожно касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной распахнулась дверь и появилась высокая белая фигура.

Это был дед.

Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.

Сон у стариков чуткий; спальня Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.

Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка вытянув трясущуюся голову; на нем был белый облегавший тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, это призрак заглядывает в могилу.

Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, неподвижного.

Старик задрожал всем телом; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось, покрылось землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:

— Мариус!

— Сударь! — сказал Баск.— Господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там...

— Он убит! — воскликнул старик страшным голосом.— Ах, разбойник!

И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.

— Сударь! — сказал он — Вы врач. Скажите мне

Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание. Заломив руки, Жильнорман разразился горьким смехом: — Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! О кровопийца! Вот каким он вернулся ко мне! Горе мне, он умер! Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему.це хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу: — Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него — каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком, не зная, чем себя занять! Ты отлично понимал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» — и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все что вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, назло, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение. Доктор начал тревожиться уже за обоих; покинув на минуту Мариуса, он подошел к Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес: — Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого и умею переносить испытания. Но вот что ужасно — это мысль, что все зло от ваших газет. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, но вот в каком виде принесут домой ваших дёТСй! 646

Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.

Заломив руки, Жильнорман разразился горьким смехом:

— Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! О кровопийца! Вот каким он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!

Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:

— Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него — каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком, не зная, чем себя занять! Ты отлично понимал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» — и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все что вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, назло, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.

Доктор начал тревожиться уже за обоих; покинув на минуту Мариуса, он подошел к Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:

— Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого и умею переносить испытания. Но вот что ужасно — это мысль, что все зло от ваших газет. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения,

Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор! Вы, кажется, живете в нашем квартале? Я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо' заравнивал тростью все ямки в песке от его лопаточки. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» — и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый- Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это? Он сын одного из тех луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, — он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого чего стоят все ваши Лафайеты, Бенжамены Константы, Тиркюи де Корсели, все те, кто отнял его у меня? Это им даром не пройдет! Он приблизился к мертвенно бледному, безжизненному Мариусу,, возле которого хлопотал врач, и заломил руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова: — Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Злодей! Разбойник! Умирающий еле слышным голосом упрекал мертвеца. Внутренние потрясения неизбежно должны излиться р словах, и речь деда мало-помалу снова стала свя647

Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор! Вы, кажется, живете в нашем квартале? Я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки в песке от его лопаточки. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» — и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это? Он сын одного из тех луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву *д*. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью,— он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого чего стоят все ваши Лафайеты, Бенжамены Константы, Тиркюи де Корсели, все те, кто отнял его у меня? Это им даром не пройдет!

Он приблизился к мертвенно бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и заломил руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:

— Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Злодей! Разбойник!

Умирающий еле слышным голосом упрекал мертвеца.

Внутренние потрясения неизбежно должны излить-

зной, но ему не хватало сил: голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти. — Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, которая была бы не рада составить счастье этого негодника! Бессовестный! Вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями, как дурак! И было бы за что! За республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика! Что за чертова чепуха! Бедные матери! Рожайте после этого красивых мальчиков! И вот он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот бедному старику придется умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, мне уж давным-давно пора умереть. Этот удар доконает меня. Значит, все кончено. Слава богу! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер понастоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, жалкое, гнусное время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяяхписателях, прощелыгах-философах, о ваших революциях, которые за все шестьдесят лет только распугали ворон в Тюильри! И если ты настолько безжалостен, что погубил себя ради этого, то и поделом, я и горевать о тебе не стану. Слышишь лй ты, убийца? В эту минуту веки Мариуса медленно раскрыл'ись, и его взгляд, еще затуманенный забытьем, с удивлением обратился на Жильнормана. — Мариус! — вскричал старик.— Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глава, ты смотришь на меня, ТЫ жив, благодарю тебя! И он упал без чувств.

зной, но ему не хватало сил: голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.

— Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, которая была бы не рада составить счастье этого негодника! Бесссвестный! Вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями, как дурак! И было бы за что! За республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика! Что за чертова чепуха! Бедные матери! Рожайте после этого красивых мальчиков! И вот он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот бедному старику придется умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, мне уж давным-давно пора умереть. Этот удар доконает меня. Значит, все кончено. Слава богу! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, жалкое, гнусное время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощелыгах-философах, о ваших революциях, которые за все шестьдесят лет только распугали ворон в Тюильри! И если ты настолько безжалостен, что погубил себя ради этого, то и поделом, я и горевать о тебе не стану. Слышишь ли ты, убийца?

В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный забытьем, с удивлением обратился на Жильнормана.

— Мариус! — вскричал старик.— Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл гла-

Книга четвертая ЖАВЕР СБИЛСЯ С ПУТИ Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека. Впервые в жизни он шел, опустив голову, и также впервые в жизни — заложив руки за спину. До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, — руки, скрещенные на груди; поза, выражающая нерешительность — руки за спиной, — была ему незнакома. Но теперь произошел перелом; в его медлительной, угрюмой походке ощущалась душевная тревога. Он углубился во тьму уснувших улиц. Однако его путь лежал в определенном направлении. Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине. Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается; волны яростно набрасываются на

Книга четвертая

ЖАВЕР СБИЛСЯ С ПУТИ

Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.

Впервые в жизни он шел, опустив голову, и также впервые в жизни — заложив руки за спину.

До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность,— руки, скрещенные на груди; поза, выражающая нерешительность — руки за спиной,— была ему незнакома. Но теперь произошел перелом; в его медлительной, угрюмой походке ощущалась душевная тревога.

Он углубился во тьму уснувших улиц.

Однако его путь лежал в определенном направлении.

Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине.

Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки.

мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут. Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды. В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать. Вот уже несколько часов, как он не узнавал сам себя. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец-то схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина. Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, цто особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна? Положение его было невыразимо трудным. Быть обязанном жизнью преступнику, признать этот долг и возвратить его; наперекор себе самому сравняться с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало. Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам пощадил Жана Вальжана. До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал себя. 650

мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.

Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.

В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.

Вот уже несколько часов, как он не узнавал сам себя. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец-то схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.

Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?

Положение его было невыразимо трудным.

Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возвратить его; наперекор себе самому сравняться с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.

Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам пощадил Жана Вальжана.

До чего же он дошел? Он старался понять и не

Что же делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было преступно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором — колодник возвышался над законом и попирал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один — конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва. Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить ¿ыло для него непривычно и необыкновенно мучительно. В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберегся от этого. Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако, после стольких потрясений, необходимо было заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе. Он ужасался тому, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно: не теряя времени, вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мб¥. Что-то преграждало ему путь в ту сторону. Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был пбтрябен. Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это по вине Жавер а! 651

Что же делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было преступно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором — колодник возвышался над законом и попирал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один — конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.

Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.

В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберегся от этого.

Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако, после стольких потрясений, необходимо было заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.

Он ужасался тому, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно: не теряя времени, вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.

Что-то преграждало ему путь в ту сторону.

Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.

Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это по вы-

Разве не ужасно, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон? Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи, и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее установленного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет попрежнему получать жалованье от казны? Его раздумье становилось все более мрачным. Он мог бы, помимо всего прочего, упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних, но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование. Жан Вальжан — вот тяжкий груз, давивший на его совесть. Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ Мадлена, и два эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто недопустимое — преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное превосходство отверженного. Это было нестерпимо. Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его, — преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете. 652

Разве не ужасно, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?

Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи, и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее установленного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?

Его раздумье становилось все более мрачным.

Он мог бы, помимо всего прочего, упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних, но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.

Жан Вальжан — вот тяжкий груз, давивший на его совесть.

Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ Мадлена, и два эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто недопустимое — преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное превосходство отверженного. Это было нестерпимо.

Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его,— преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу,

Дальше так продолжаться не могло. Правда, — и мы на этом настаиваем, — Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом: «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Берите его!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек — пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо! Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти». Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным. ^ Его благодетелем был каторжник! В сущности с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстре,лять себя. Так было бы лучше. Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилом его поступков. Оставаться в

Дальше так продолжаться не могло.

Правда,— и мы на этом настаиваем,— Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом: «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Берите его!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек — пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо! Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».

Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.

Его благодетелем был каторжник!

В сущности с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя. Так было бы лучше.

Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило

рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе; благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа сострадания над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого солнца; оно ужасало и ослепляло его, Филин был вынужден смотреть глазами орла. Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох. Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он — неслыханное дело! — только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя. Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе. Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок. Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить. Разумеется, он все время намеревался передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Пока Жан Вальжан находился в его власти, он ни разу не признался себе, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника. Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на 654

рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе; благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа сострадания над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого солнца; оно ужасало и ослепляло его, Филин был вынужден смотреть глазами орла.

Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох.

Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он — неслыханное дело! — только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.

Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.

Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.

Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.

Разумеется, он все время намеревался передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Пока Жан Вальжан находился в его власти, он ни разу не признался себе, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.

них, но ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, — что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда тоже пощадил его,— что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он отнюдь не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим — напротив, он чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии, однако рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и служил сыщиком, — мы говорим это без малейшей насмешки, с полной серьезностью, — служил сыщиком, как служат священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры ни разу не подумал о другом начальнике — о господе боге. Внезапно почувствовав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство. Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход — подать в отставку. Но как просить бога об отставке? Что бы там ни было, Жавер возвращался к факту, заслонявшему для него все остальное, — он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать, 655

них, но ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности,— что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда тоже пощадил его,— что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он отнюдь не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим — напротив, он чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии, однако рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и служил сыщиком,— мы говорим это без малейшей насмешки, с полной серьезностью,— служил сыщиком, как служат священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры ни разу не подумал о другом начальнике — о господе боге.

Внезапно почувствовав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.

Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход — подать в отставку.

Но как просить бога об отставке?

Что бы там ни было, Жавер возвращался к факту, заслонявшему для него все остальное,— он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он

он не узнавал себя. Причины такого поступка ускользали от него, от одной мысли у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. Отныне надо стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представитель власти. Его жизнь потеряла всякий смысл. Какое ужасное состояние — быть растроганным! Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь он внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом — и ласкаться к чужому! Быть льдом — и растаять! Быть клещами — и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу — какое страшное падение! Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять! Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судьи такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина. То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу; душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизмен656

он не узнавал себя. Причины такого поступка ускользали от него, от одной мысли у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. Отныне надо стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представитель власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.

Какое ужасное состояние — быть растроганным! Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь он внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом — и ластиться к чужому! Быть льдом — и растаять! Быть клещами — и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу — какое страшное падение!

Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять!

Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судьи такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.

То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу; душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного ко-

ное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск? Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, — этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, быть может, самое прекрасное из наших внутренних сокровищ, — понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности. Он не обратился к богу, увидев чудо,— он стал его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невозможность жить. Ему казалось, что дыхание его стеснено навеки. Чувствовать над собой неведомое было для него непривычно. Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, падение в пропасть — все это было уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине. Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что положиться? Все, во что он верил, рушилось! Что случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона принужден выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека — преступление, арестованъ его— тоже преступление! Значит, в уставе, данном 657

ное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?

Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины,— этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, быть может, самое прекрасное из наших внутренних сокровищ,— понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.

Он не обратился к богу, увидев чудо,— он стал его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невозможность жить. Ему казалось, что дыхание его стеснено навеки.

Чувствовать над собой неведомое было для него непривычно.

Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, падение в пропасть — все это было уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине.

Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что положиться? Все, во что он верил, рушилось!

Что случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона принужден выбирать между двумя преступле-

государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могут встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так и должно быть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи, неужели правда на его стороне? Можно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преступником? Да, такое чудо произошло! И Жавер его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что факты могли дойти до такого уродства. Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше? Так в тоске, в тревожном недоумении, в искаженных образах меркло все, что могло бы облегчить и улучшить его состояние; общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устои общества, общепризнанные истины — все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, — блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, — испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке, с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу. Можно Ди это вынести? Нет. Если все это так, он в отчаянном положении. Остается два выхода. Один — вернуться немедля к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход... Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле. 658

государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могут встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так и должно быть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи, неужели правда на его стороне? Можно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преступником?

Да, такое чудо произошло! И Жавер его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что факты могли дойти до такого уродства.

Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?

Так в тоске, в тревожном недоумении, в искаженных образах меркло все, что могло бы облегчить и улучшить его состояние; общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устои общества, общепризнанные истины — все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер,— блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества,— испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке, с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.

Можно ли это вынести? Нет.

Если все это так, он в отчаянном положении. Остается два выхода. Один — вернуться немедля к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход...

Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз

Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам. Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдце самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол — низшая ступень канцелярского стиля. Именно отсюда и идут официальные донесения. Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал: « Несколько заметок для пользы полицейской службы. Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже. Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на лечение. В-третьих: наблюдение, со сменой агентов на отдельных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает его место. В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату. В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусочная отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам хватать за руки буфетчицу. В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это грабеж. В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, 659

Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.

Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдце самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол — низшая ступень канцелярского стиля. Именно отсюда и идут официальные донесения.

Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:

«Несколько заметок для пользы полицейской службы.

Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.

Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на лечение.

В-третьих: наблюдение, со сменой агентов на отдельных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает его место.

В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.

В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусочная отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам хватать за руки буфетчицу.

В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это грабеж.

В-седьмых: в тканкой мастерской за каждую спи-

что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже. В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников. В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Жандарм должен быть безупречным, и ему не подобает разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, — это важный проступок. В-десятых: госпожа Анри — честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения». Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал: «Инспектор 1-го класса Жавер. Полицейский пост на площади Шатле. 7 июня 1832 года, около часу пополуночи». Жавер посушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним. Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета и принял ту самую позу. Могло показаться, что он и не трогался с места. Было совсем темно. Наступил тот час мертвой тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Сите; прохожих не было, все ближние улицы и набережные опустели; Собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов изгибались вдали один за другим, расплываясь в тумане. Река вздулась от дождей.

что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.

В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.

В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Жандарм должен быть безупречным, и ему не подобает разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя,— это важный проступок.

В-десятых: госпожа Анри — честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».

Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал:

«Инспектор 1-го класса Жавер.
Полицейский пост на площади Шатле.
7 июня 1832 года, около часу пополуночи».

Жавер посушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.

Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета и принял ту самую позу. Могло показаться, что он и не трогался с места.

Было совсем темно. Наступил тот час мертвой тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Сите; прохожих не было, все ближние улицы и набережные опустели; Собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов изгибались вдали один за дру-

Место, где облокотился на перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над опасной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт. Жавер наклонил голову и заглянул вниз. В черную воду. Ничего нельзя было различить. Вода бурлила, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Будто там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, круто обрывалась в эту бесконечность. Ничего не было видно, но тянуло холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, угрюмый рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты — весь этот мрак наводил ужас. Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весі> рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под

Место, где облокотился на перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над опасной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.

Жавер наклонил голову и заглянул вниз. В черную воду. Ничего нельзя было различить. Вода бурлила, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Будто там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, круто обрывалась в эту бесконечность.

Ничего не было видно, но тянуло холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, угрюмый рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты — весь этот мрак наводил ужас.

Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.

Книга пятая ДЕД И ВНУК Глава первая ЧИТАТЕЛЬ СНОВА ВИДИТ ДЕРЕВО С ЦИНКОВЫМ КОЛЬЦОМ Некоторе время спустя после описанных нами событий почтенному Башке пришлось испытать сильное волнение. Башка — тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести. Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день гденибудь под деревом найти в земле клад, а в ожидании этого не прочь был пошарить в карманах прохожих. Однако теперь он держался осторожно. Ему только недавно удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда, порок может пригодиться. Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. Ввиду вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны под наблюдением начальства, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, котброе вызволило его из беды. Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что. 662

Книга пятая

ДЕД И ВНУК

Глава первая

ЧИТАТЕЛЬ СНОВА ВИДИТ ДЕРЕВО С ЦИНКОВЫМ КОЛЬЦОМ

Некоторе время спустя после описанных нами событий почтенному Башке пришлось испытать сильное волнение.

Башка — тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.

Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад, а в ожидании этого не прочь был пошарить в карманах прохожих.

Однако теперь он держался осторожно. Ему только недавно удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться. Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. Ввиду вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны под наблюдением начальства, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.

Что же так сильно взволновало Башку после его

Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в зарослях человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстоянием предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью — необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком. — Где, черт возьми, я видел этого старикана? — спрашивал он себя. И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти. Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно? Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый! Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане. — Черт меня подери, если я его провороню! — воскликнул Башка. — Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, уж я-то дознаюсь, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал. Башка схватил свою острую кирку. — Пригодится и в земле поковырять и человека ковырнуть, — проворчал он. Словно связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли. 663

Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в зарослях человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью — необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.

— Где, черт возьми, я видел этого старикана? — спрашивал он себя.

И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.

Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?

Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!

Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.

— Черт меня подери, если я его провороню!— воскликнул Башка.— Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, уж я-то дознаюсь, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.

Башка схватил свою острую кирку.

— Пригодится и в земле поковырять и человека ковырнуть,— проворчал он.

Словно связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца

Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, — все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился в лес и вышел на пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше. Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека. Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду. Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время — лучший предлог, чтобы остаться надолго! Обрадованный Башка поспешно слез с дерева, вернее — скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал. Добраться до полянки было вовсе не легким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, на редкость колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии — это вполне допустимый обман зрения, однако он

Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь,— все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился в лес и вышел на пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.

Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.

Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.

Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время — лучший предлог, чтобы остаться надолго!

Обрадованный Башка поспешно слез с дерева, вернее — скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.

Добраться до полянки было вовсе не легким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, на редкость колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего

губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему верной дорогой. — Махнем по волчьему проспекту Риволи,— сказал он себе. Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик. Он решительно ринулся в драку с кустарником. Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан. На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд. Наконец, минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший. На прогалине никого не было. Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил. А человек исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было немыслимо. Но вот что поразило его в самое сердце: за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму. Яма была пуста. — Ограбили! — закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому. Глава вторая ПОСЛЕ ВОИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ МАРИУС ГОТОВИТСЯ К ВОИНЕ ДОМАШНЕЙ Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. Несколько недель у него продолжалась лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами. Ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Некоторые раны угрожали серьезной опасностью, ибо нагноение широкой рйны лещ) может распространиться и под влиянйем извест665

губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему верной дорогой.

— Махнем по волчьему проспекту Риволи,— сказал он себе.

Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.

Он решительно ринулся в драку с кустарником. Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.

На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.

Наконец, минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.

На прогалине никого не было.

Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.

А человек исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было немыслимо.

Но вот что поразило его в самое сердце: за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму.

Яма была пуста.

— Ограбили! — закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.

Глава вторая

ПОСЛЕ ВОЙНЫ ГРАЖДАНСКОЙ МАРИУС ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ ДОМАШНЕЙ

Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. Несколько недель у него продолжалась лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.

Ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Некоторые раны угрожали серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны

ных атмосферных условий привести к смертельному исходу. Поэтому малейшая перемена погоды, грозы беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», — повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом — в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв. Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седой господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок. Наконец 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь ручается за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного. Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза. Добавим, что беспримерный приказ префекта Жискэ, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но даже самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Поэтому Мариуса оставили в покое. Жильнорман прошел все стадии отчаяния, а затем бурной радости. Его с большим трудом отговорили про

ных атмосферных условий привести к смертельному исходу. Поэтому малейшая перемена погоды, грозы беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», — повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом — в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.

Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седой господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.

Наконец 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь ручается за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.

Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.

Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но даже самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Поэтому Мариуса оставили в покое.

Жильнорман прошел все стадии отчаяния, а затем

водить возле раненого ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадмуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась. «Ай! Ай!» — вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая, что постоянно задает одни и те же. В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая песенку: Жанна родом из Бордо, Всех пастушек там гнездо. Если Жанну видел раз, Ты увяз. Плут Амур в нее вселился, В глазках Жанны притаился, Там раскинул Сеть хитрец Для сердец. Как Диану, я пою Жанну резвую мою. С Жанной век свой коротать — Благодать. После этого Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, послышалось, будто он молится. До этих пор он совсем не верил в бога. При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная, зачем. Одна нз сотедок, правда, прехорошенькая, как-то утром была

водить возле раненого ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадмуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась. «Ай! Ай!» — вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая, что постоянно задает одни и те же.

В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая песенку:

Жанна родом из Бордо,
Всех пастушек там гнездо.
Если Жанну видел раз,
Ты увяз.

Плут Амур в нее вселился,
В глазках Жанны притаился,
Там раскинул сеть хитрец
Для сердец.

Как Диану, я пою
Жанну резвую мою.
С Жанной век свой коротать —
Благодать.

После этого Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, послышалось, будто он молится.

До этих пор он совсем не верил в бога.

При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная, зачем. Одна из

совершенно поражена, получив огромный букет цветов, его прислал Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует республика!» Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом: «Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда Мариуса кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука. При всем сумасбродстве, это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть отсвет утренней зари. А Мариус, не противясь перевязкам, рассеянно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью — о Козетте. С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею. Он не знал, что сталось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему, как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени — Эпонина, Гаврош, Мабеф, семья Тенардье, все его товарищи; окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее — все превратилось в смутное, туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно

совершенно поражена, получив огромный букет цветов, его прислал Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует республика!»

Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом: «Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда Мариуса кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.

При всем сумасбродстве, это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть отсвет утренней зари.

А Мариус, не противясь перевязкам, рассеянно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью — о Козетте.

С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею.

Он не знал, что сталось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему, как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени — Эпонина, Гаврош, Мабеф, семья Тенардье, все его товарищи; окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее — все превратилось в смутное, туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный

желание — найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, — будь то его дед, судьба или самый ад, — он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая. Препятствий он от себя не скрывал. Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге — отказ. Мариус заранее готовился к отпору. И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать истинной доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью. Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения. Явно назревал кризис. Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром Жильнорману, по поводу попавшейся ему под рук^Мзеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о

желание — найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить,— будь то его дед, судьба или самый ад, — он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.

Препятствий он от себя не скрывал.

Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге — отказ. Мариус заранее готовился к отпору.

И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать истинной доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.

Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.

Явно назревал кризис.

Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром Жильнорману, по поводу попавшейся ему под ру-

Конвенте и изречь роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера. — Люди девяносто третьего года были титанами, — сурово отрезал Мариус. Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова. Мариус помнил сурового деда своих детских лет, и он счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению. Он тзердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, снова сломает ключицу, разберединт не зажившие раны и откажется от пищи. Раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть. Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного. Эта минута наступила. Глава третья МАРИУС ИДЕТ НА ПРИСТУП Однажды Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал самым ласковым своим тоном: — Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета. Силы Мариуса почти совсем восстановились; он собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом: — По этому поводу я должен вам кое-что сказать. — Что такое? — Дело в том, что я намерен жениться. — Это уже предусмотрено, — отвечал дедушка, разражаясь хохотом. — Как предусмотрено? — Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей. Мариус задрожал от радости. Жильнорман продолжал: — Ну да, бери ее, свою прелестную милую девднку. 670

Конвенте и изречь роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.

— Люди девяносто третьего года были титанами,— сурово отрезал Мариус.

Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.

Мариус помнил сурового деда своих детских лет, и он счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.

Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, снова сломает ключицу, разбередит не зажившие раны и откажется от пищи. Раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.

Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.

Эта минута наступила.

Глава третья

МАРИУС ИДЕТ НА ПРИСТУП

Однажды Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал самым ласковым своим тоном:

— Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.

Силы Мариуса почти совсем восстановились; он собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:

— По этому поводу я должен вам кое-что сказать.

— Что такое?

— Дело в том, что я намерен жениться.

— Это уже предусмотрено, — отвечал дедушка, разражаясь хохотом.

— Как предусмотрено?

— Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.

Мариус задрожал от радости.

Жильнорман продолжал:

Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Тебе досадно. Ты никак не ожидал, что дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как обидно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана — все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только о романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица — уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И "йв-ду мал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой

Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Тебе досадно. Ты никак не ожидал, что дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как обидно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана — все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица— уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?»

крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта — согласен; любовь — пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Же* нитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя! Ç этими словами старик расплакался. Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба зарыдали. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье. — Отец! — воскликнул Мариус. — Ага, значит, ты любишь меня! — прошептал старик. Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить. — Ну вот, — пролепетал, наконец, дедушка, — разродился-таки! Сказал мне: «отец»! Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил: — Отец! Но ведь теперь я совсем здоров, теперь мне можно с ней повидаться? — Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра. — Отец! — Ну что? — Почему не сегодня? — Ну что же, ничего не имею против. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии Больной юноша Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разбойники... то есть эти титаны девяносто третьего года. Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился: — Зарезали — не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное слово, — истинные герои... нашли, 672

крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта — согласен; любовь — пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!

С этими словами старик расплакался.

Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба зарыдали. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.

— Отец! — воскликнул Мариус.

— Ага, значит, ты любишь меня! — прошептал старик.

Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.

— Ну вот, — пролепетал, наконец, дедушка,— разродился-таки! Сказал мне: «отец»!

Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:

— Отец! Но ведь теперь я совсем здоров, теперь мне можно с ней повидаться?

— Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.

— Отец!

— Ну что?

— Почему не сегодня?

— Ну что же, ничего не имею против. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии *Больной юноша* Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разбойники... то есть эти титаны девяносто третьего года.

Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:

— Зарезали — не то слово. Дело в том, что вели-

что Андре Шенье немного мешает им, и решили его гильотин... Вернее сказать, эти великие люди в интерн сг&" общественного блага седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем... Поперхнувшись собственными словами, Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь и весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо: — Тысяча чертей! Эти разбойники укокошили его? — Кого, сударь? — Андре Шенье. — Так точно, сударь, — ответил перепуганный Баск. Глава четвертая МАДМУАЗЕЛЬ ЖИЛЬНОРМАН ПРИМИРЯЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ФОШЛЕВАН ВОШЕЛ С ПАКЕТОМ ПОД МЫШКОЙ Козетта и Мариус, наконец, свиделись. Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце. В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой. Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние. Как раз в это время дедушка собирался сморкаться; он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья. — Обворожительна! — воскликнул он. И оглушительно высморкался. Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к влюбленным: мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь в

сущности им никого не нужно. 22.

что Андре Шенье немного мешает им, и решили его гильотин... Вернее сказать, эти великие люди в интересах общественного блага седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем...

Поперхнувшись собственными словами, Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь и весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:

— Тысяча чертей! Эти разбойники укокошили его?

— Кого, сударь?

— Андре Шенье.

— Так точно, сударь,— ответил перепуганный Баск.

Глава четвертая

МАДМУАЗЕЛЬ ЖИЛЬНОРМАН ПРИМИРЯЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ФОШЛЕВАН ВОШЕЛ С ПАКЕТОМ ПОД МЫШКОЙ

Козетта и Мариус, наконец, свиделись.

Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце.

В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.

Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.

Как раз в это время дедушка собирался сморкаться; он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.

— Обворожительна! — воскликнул он.

И оглушительно высморкался.

Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к влюбленным: мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине.

Вместе с Козеттой, держась позйди нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «ГосйЬдин Фошлеван»; то был Жан Вальжан. Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, — во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее. Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог ударжаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо». В спальне Мариуса Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета — казалось, она была покрыта плесенью, — Этот господин всегда таскает книги под мышкой? — шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг. — Что ж тут такого? — возразил Жильнорман тоже шепотом. — Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант. Приветствуя гостя, он проговорил , уже громко: — Господин Кашлеван... Старик Жильнорман сделал это не нарочно. — просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии. — Господин Кашлеван! Имею честь просить у вас руки мадмуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси. «Господин Кашлеван» поклонился. — По рукам, — заключил дед. Повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул} 674

Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван»; то был Жан Вальжан.

Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник,—во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.

Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».

В спальне Мариуса Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета — казалось, она была покрыта плесенью.

— Этот господин всегда таскает книги под мышкой? — шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.

— Что ж тут такого? — возразил Жильнорман тоже шепотом. — Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.

Приветствуя гостя, он проговорил уже громко:

— Господин Кашлеван...

Старик Жильнорман сделал это не нарочно — просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.

— Господин Кашлеван! Имею честь просить у вас руки мадмуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.

«Господин Кашлеван» поклонился.

— По рукам, — заключил дед.

— Отныне можете обожать друг друга! . Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса — Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него. «О, господи! — шептала Козетта. — Наконец-то я вас вижу! Это ты! Это вы! Подумать только, пойти туда сражаться! Зачем? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. Как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться; должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала! Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните, сударь; я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине». — Ангел! — прошептал Мариус. «Ангел» — единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные. Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, тихонько пожимали друг другу руки. Повернувшись ко всем находившимся в комнате, Жильнорман крикнул: — Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!

— Отныне можете обожать друг друга!

Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса — Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него. «О, господи! — шептала Козетта. — Наконец-то я вас вижу! Это ты! Это вы! Подумать только, пойти туда сражаться! Зачем? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. Как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться; должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала! Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните, сударь; я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине».

— Ангел! — прошептал Мариус.

«Ангел» — единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.

Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, тихонько пожимали друг другу руки.

Повернувшись ко всем находившимся в комнате, Жильнорман крикнул:

— Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!

Подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько: — Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь. Тетушка Жильнорман растерянно взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим, завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы: неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви. — Девица Жильнорман старшая! — сказал ей отец. — Я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь. Он помолчал с минуту и добавил: — Любуйся теперь чужим счастьем. Потом повернулся к Козетте: — До чего же она красива! До чего хороша! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадмуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет! Наш приход — это церковь святого Дионисия, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе святого Павла. Там церковь лучше. Ее построили иезуиты. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадмуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы — вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но тоскливо! В Библии оказано: «Размножайтесь». Чтобы спасать народы — нужна Жанна д’Арк, но чтобы плодить народы — нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девках? Я знаю, у них отдельные молельни в церквах и они вступают в общину Пресвятой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный па676

Подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:

— Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.

Тетушка Жильнорман растерянно взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим, завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы: неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.

— Девица Жильнорман старшая! — сказал ей отец. — Я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.

Он помолчал с минуту и добавил:

— Любуйся теперь чужим счастьем.

Потом повернулся к Козетте:

— До чего же она красива! До чего хороша! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадмуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет! Наш приход — это церковь святого Дионисия, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе святого Павла. Там церковь лучше. Ее построили иезуиты. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадмуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы — вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но тоскливо! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасать народы — нужна Жанна д'Арк, но чтобы плодить народы — нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девках? Я знаю, у них отдельные молельни в

рень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря,— это гораздо лучше, чем торчать у вечерни со свечой и распевать Turris eburnea l. Дёдушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины: Твоих мечтаний круг я замыкаю так: АлкиппI Поистине ты скоро вступишь в брак! — Да, кстати! — Что, отец? — У тебя был, кажется, закадычный друг? — Да, Курфейрак. — 4to с ним сталось? — Он умер. — Это хорошо. Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках. — Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее: она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь — это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но только экая беда! —добавил он, вдруг помрачнев. — Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке. В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос: — У мадмуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков. Это был голос Жана Вальжана. -До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял 1 Башня слоновой кости (лат.). 677

рень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря,— это гораздо лучше, чем торчать у вечерни со свечой и распевать *Turris eburnea*[1].

Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:

Твоих мечтаний круг я замыкаю так:
Алкипп! Поистине ты скоро вступишь в брак!

— Да, кстати!

— Что, отец?

— У тебя был, кажется, закадычный друг?

— Да, Курфейрак.

— Что с ним сталось?

— Он умер.

— Это хорошо.

Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.

— Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее: она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь — это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но только экая беда! — добавил он, вдруг помрачнев.— Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.

В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:

— У мадмуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.

Это был голос Жана Вальжана.

До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял

[1] Башня слоновой кости *(лат.)*.

молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей. — Кто такая мадмуазель Эфрази? — спросил psa*даченный дед. — Это я, — сказала Козетта. — Шестьсот тысяч франков? — переспросил Жильнорман. — На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может,— уточнил Жан Вальжан. Он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу. Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков. — Ай да книга! — воскликнул Жильнорман. — Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — прошептала тетушка. — Это улаживает многие затруднения, не так ли,, мадмуазель Жильнорман старшая? — заговорил дед.— Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Вот и верьте после этого бескорыстной любви молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино загребает деньги не хуже Ротшильда. — Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — бормотала вполголоса мадмуазель Жильнорман.— Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч! Каково? А Мариус и Козетта глядели друг на друга; они почти не обратили внимания на такую мелочь. Глава пятая ЛУЧШЕ ПОМЕСТИТЬ КАПИТАЛ В ЛЕСУ, ЧЕМ У НОТАРИУСА Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться ѣ пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за ‘Несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, на678

молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.

— Кто такая мадмуазель Эфрази? — спросил озадаченный дед.

— Это я,— сказала Козетта.

— Шестьсот тысяч франков? — переспросил Жильнорман.

— На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может,— уточнил Жан Вальжан.

Он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.

Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

— Ай да книга! — воскликнул Жильнорман.

— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — прошептала тетушка.

— Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадмуазель Жильнорман старшая? — заговорил дед.— Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Вот и верьте после этого бескорыстной любви молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино загребает деньги не хуже Ротшильда.

— Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! — бормотала вполголоса мадмуазель Жильнорман.— Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч! Каково?

А Мариус и Козетта глядели друг на друга; они почти не обратили внимания на такую мелочь.

Глава пятая

ЛУЧШЕ ПОМЕСТИТЬ КАПИТАЛ В ЛЕСУ, ЧЕМ У НОТАРИУСА

Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за не-

житый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным — а это действительно и случилось вскоре, — он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма — шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, — была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа. Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ. На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет»,— подумал он. Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась, расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков. Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Тусен. Заметим кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, — и он нашел тому подтверждение в газете «Монитер», опубликовавшей эхо происшествие, — что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, ко679

житый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным — а это действительно и случилось вскоре,— он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма — шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах,— была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа. Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ.

На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет»,— подумал он.

Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.

Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Тусен.

Заметим кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем,— и он нашел тому подтверждение в газете «Монитер», опубликовавшей это происшествие,— что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, ко-

торую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле,— подумал Жан Вальжан,-^если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме». Глава шестая ОБА СТАРИКА, КАЖДЫЙ НА СВОИ ЛАД, ПРИЛАГАЮТ ВСЕ СТАРАНИЯ, ЧТОБЫ КОЗЕТТА БЫЛА СЧАСТЛИВА Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья. Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой. — Очаровательница! Красотка! — восклицал он. — Такая нежная, такая кроткая! Клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя: брось сутяжничать! Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был Слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем. — Ты что-нибудь понимаешь? — спрашивал Мариус у Козетты. — Нет, — отвечала Козетта. — Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты. Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем условился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта. Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, — вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать! Это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту ,от всех трудйостеи. Он изобрел ей родню из покойников — верный способ избежать разоблачений. Козетта

торую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле,— подумал Жан Вальжан,— если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме».

Глава шестая

ОБА СТАРИКА, КАЖДЫЙ НА СВОЙ ЛАД, ПРИЛАГАЮТ ВСЕ СТАРАНИЯ, ЧТОБЫ КОЗЕТТА БЫЛА СЧАСТЛИВА

Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.

Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.

— Очаровательница! Красотка! — восклицал он.— Такая нежная, такая кроткая! Клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя: брось сутяжничать!

Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спрашивал Мариус у Козетты.

— Нет,— отвечала Козетта.— Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.

Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем условился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.

Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному,— вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать! Это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойни-

оказалась последним отпрыском угасшего рода; Ко•3$тта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилу чшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслившие и не склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда толком не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, очень охотно, все, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадмуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а Жильнорман был назначен ее вторым опекуном. Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадмуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь были кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим — шестьсот тысяч франков. Козетта узнала, что она не родная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец — другой Фошлеван. В другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые .минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, — такова жизнь. Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам; всякое существо, чье детство 681

оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслившие и не склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда толком не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, очень охотно, все, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадмуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.

Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадмуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь были кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим — шестьсот тысяч франков.

Козетта узнала, что она не родная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец — другой Фошлеван. В другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают,— такова жизнь.

Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к ок-

окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям. ! Однако она по-прежнему называла Жана Вальжкна отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старика Жильнормана. Тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, Жильнорман хлопотал об ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся Жму еще от его бабки. «Моды возрождаются,— говорил он, — теперь все помешаны на старинных вещах, я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего дётства». Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного Коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, — приговаривал он, — посмотрим, что у них в брюхе». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты — всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, упоенная любовью к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старика Жильнормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев. Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно гремят трубы. Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.

окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.

Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старика Жильнормана. Тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, Жильнорман хлопотал об ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его бабки. «Моды возрождаются,— говорил он,— теперь все помешаны на старинных вещах, я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».

Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек,— приговаривал он,— посмотрим, что у них в брюхе». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты — всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, упоенная любовью к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старика Жильнормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев.

Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно гремят трубы.

Каждое утро дедушка подносил Козетте старин-

Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу: — Деятели революции исполнены такого величіи, что даже в наііГи дни от них Исходит обайние древноctrf, как от Катона или Фокиона; они приводят на память. мемуары античных времен. — Мемуары антич... Муар-антик! — воскликнул дедушка. — Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно. Наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы. Дед извлекал из своих тряпок целую философию. — Любовь — само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье — это лишь самое необходимое, Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее серДце и Лувр вдобавок. Ёе сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от роскошных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Он годится на закуску, а не на обед. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помнится, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее удостаивали обозначать время, но, казалось, были созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень — час солнца, полночь — час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши: тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. А чудесный Перезвон, которым они то и дело оглашали воздух неизвестно по какому поводу? Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напро683

Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:

— Деятели революции исполнены такого величия, что даже в наши дни от них исходит обаяние древности, как от Катона или Фокиона; они приводят на память мемуары античных времен.

— Мемуары антич... Муар-антик! — воскликнул дедушка.— Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.

Наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.

Дед извлекал из своих тряпок целую философию.

— Любовь — само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье — это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от роскошных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Он годится на закуску, а не на обед. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помнится, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее удостаивали обозначать время, но, казалось, были созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень — час солнца, полночь — час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши: тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. А чудесный перезвон, которым они то и дело оглашали воздух неизвестно по какому поводу? Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напро-

сто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часикам. Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самбй свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку. — Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! — восклицал он. — Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Смотрите, смотрите! Достопочтенный Скаред женится на девице Сквалыге. Блеск и треск! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день, как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазоп, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции ехали на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги — и все до одного скряги. Они холят и лелеют себя, наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этакие разумники, этакие чистюли, и в то же время, — ей-же-ей! — в душе у них такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» — вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы.. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо: хоте нынче и женятся, а сыграть свадьбу не умеют. Право же, я грущу о добрых старых нравах! Я грущу обо

сто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часикам.

Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.

— Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! — восклицал он.— Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Смотрите, смотрите! Достопочтенный Скаред женится на девице Сквалыге. Блеск и треск! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день, как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции ехали на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги — и все до одного скряги. Они холят и лелеют себя, наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этакие разумники, этакие чистюли, и в то же время,— ей-же-ей! — в душе у них такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» — вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо: хоть

всем. Где прежнее изящество, рыцарство, милое, учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, где музыка — непременная участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у на* рода,— танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, громкий смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной сродни поясу Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт побери! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мерионея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор протыкают друг друга ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую Илиаду из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои! В старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо4 Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с едва прикрытой грудью! Эх, как громко смеялись, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориан. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз — на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы — и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха Галантной Индии. Одной чертой нашего времени было изящество, другой — великолепие; ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они Слиш685

всем. Где прежнее изящество, рыцарство, милое, учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, где музыка — непременная участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа,— танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, громкий смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной сродни поясу Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт побери! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мерионея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор протыкают друг друга ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую *Илиаду* из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои! В старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с едва прикрытой грудью! Эх, как громко смеялись, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориан. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз — на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы — и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха *Галантной Индии.* Одной чертой нашего времени было изящество, другой — великолепие; ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слиш-

ком декольтированы. Увы! Теперь скрывают красоту, словно уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните: радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дерн! Коли жениться, так уж жениться, очертя голову, в упоении счастьем, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви — согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои! Каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу — это ведь не расходы на хозяйство. Эх, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как бы это было изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро — вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу. Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался, И каждый был пленен, и каждый восхищался! Вот это празднество! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!

ком декольтированы. Увы! Теперь скрывают красоту, словно уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните: радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться, очертя голову, в упоении счастьем, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви — согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои! Каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу — это ведь не расходы на хозяйство. Эх, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как бы это было изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро — вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.

Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался,
И каждый был пленен, и каждый восхищался!

Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи. Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали / love you ', и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом деле тенью была она сама. Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизнедеятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, — говаривал дочери старик Жильнорман, — все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата». Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководствовался одной мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил о существовании тетки, о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю свою овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет хранила про себя. Вполне возможно, что если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей — тем хуже 1 Люблю тебя (англ.). 687

Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.

Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала *Ave* в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали *I love you*[1], и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом деле тенью была она сама.

Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизнедеятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие,— говаривал дочери старик Жильнорман,— все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».

Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководствовался одной мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил о существовании тетки, о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю свою овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет хранила про себя. Вполне возможно, что если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный

для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию портношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франке» бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались. Было решено, что юная чета поселится у деда. Жильнбрман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе,— заявил он. — Это мое давнишнее намерение; Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моёй комнате». Он убрал спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей,— говорил он, — была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора — женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу. Библиотека Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет. Глава седьмая ОБРЫВКИ СТРАШНЫХ СНОВ ВПЕРЕМЕЖКУ СО СЧАСТЛИВОЙ ЯВЬЮ Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении Фошлевана. «Где это видано,— ворчала девица Жильнорман, — чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без Фошлевана. Для Мариуса присутствие Фошлевана было необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая

для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.

Было решено, что юная чета поселится у деда. Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе,—заявил он. — Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей,—говорил он, — была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора — женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.

Библиотека Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.

Глава седьмая

ОБРЫВКИ СТРАШНЫХ СНОВ ВПЕРЕМЕЖКУ СО СЧАСТЛИВОЙ ЯВЬЮ

Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении Фошлевана. «Где это видано,—ворчала девица Жильнорман, — чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без Фошлевана. Для Мариуса

об улучшении жизни всего человечества и затрагивая виразговоре, слегка и в общих чертах, политические «опросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше. В глубине души Мариус обращался с немыми вопросами к Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался, не изменяет ли ему память. В его воспоминаниях образовался провал, темное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Много кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, действительно ли он видел Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде. Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Он не был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с тоской оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим картинам минувшего, неспособен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантер, все его друзья вставали перед ним, как живые, а затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Тяжкие потрясения вызывают тяжелые сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что

об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше.

В глубине души Мариус обращался с немыми вопросами к Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался, не изменяет ли ему память. В его воспоминаниях образовался провал, темное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Много кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, действительно ли он видел Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.

Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Он не был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с тоской оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим картинам минувшего, неспособен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантер, все его друзья вставали перед ним, как живые, а затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Тяжкие потрясения вызывают тяжелые сны. Он спрашивал себя, про-

все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту. Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие остались там, в глубине могилы. В иные минуты тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это великое счастье и могло изгладить следы катастрофы. Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так степенно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего, оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог прямо задать Фошлевану такой вопрос. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали эту черту его характера. Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому согласию, не перемолвятся о ней ни словом, далеко не такая редкость, как может показаться. Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к Фошлевану, спросил: — Ведь вы хорошо знаете эту улицу? — Какую? — Улицу Шанврери. — Понятия не имею, — отвечал Фошлеван самым естественным тоном. Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле. «Положительно мне это приснилось,— подумал он. — У меня была галЛ'юцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Фошлевана там не было». 690

все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.

Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие остались там, в глубине могилы. В иные минуты тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это великое счастье и могло изгладить следы катастрофы.

Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так степенно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего, оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог прямо задать Фошлевану такой вопрос. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали эту черту его характера.

Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому согласию, не перемолвятся о ней ни словом, далеко не такая редкость, как может показаться.

Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к Фошлевану, спросил:

— Ведь вы хорошо знаете эту улицу?

— Какую?

— Улицу Шанврери.

— Понятия не имею, — отвечал Фошлеван самым естественным тоном.

Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.

«Положительно мне это приснилось,— подумал

Глава восьмая ДВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО РАЗЫСКАТЬ

Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы. Пока шли приготовления к свадьбе, он в ожидании назначенного срока предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому. Он обязан был двойной признательностью: прежде всего — за отца, затем — за самого себя. Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом Жильнормана. Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух человек. Он не допускал мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, ныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем вступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим. Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса. Не . зная о том, что произошло в действительности на поле битвы под Ватерлоо, Мариус не подозревал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью. Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. Казалось, овсе было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что надо опустить туда лот. Жена Тенардье умерла. Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые 691

Глава восьмая

ДВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО РАЗЫСКАТЬ

Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.

Пока шли приготовления к свадьбе, он в ожидании назначенного срока предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.

Он обязан был двойной признательностью: прежде всего — за отца, затем — за самого себя.

Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом Жильнормана.

Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух человек. Он не допускал мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, ныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем вступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.

Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.

Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы под Ватерлоо, Мариус не подозревал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.

Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. Казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что надо опустить туда лот.

Жена Тенардье умерла. Башка был признан непри-

бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. ДейФ так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой — Пол-Лиарда, он же ДваМнллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье, как зачинщику и вожаку, был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор — вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба. Осуждение, заставляя Тенардье из страха быть пойманным отступать все дальше на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека. Розыски второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни дотемна на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; оттуда показался человек; он нес на плечах другого, по всей видимости мертвого; полицейский, который караулил это. место, арестовал живого и захватил мертвеца; по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника; этот покойник и есть господин Мариус, и он, извозчик, узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли, и полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, знать ничего не знает, к тому же нЬчь была очень темная. Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнит только, что сильная 692

бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой — Пол-Лиарда, он же Два-Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье, как зачинщику и вожаку, был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор — вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.

Осуждение, заставляя Тенардье из страха быть пойманным отступать все дальше на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.

Розыски второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни дотемна на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; оттуда показался человек; он нес на плечах другого, по всей видимости мертвого; полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника; этот покойник и есть господин Мариус, и он, извозчик, узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли, и полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, знать ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.

Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог

рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доiйе Жильнормана. Он терялся в догадках. Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве! Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование! Кто это был? Кто же он? Тот» кого разыскивал Мариус. От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего — ни следа, ни малейших примет. Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих поисках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и всюду, наведенные справки не привели к прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, — в префектуре склонны были считать это басней. Авторство басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве. Все казалось загадочным в этой странной истории. Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован карауливший его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознагражде

рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме Жильнормана.

Он терялся в догадках.

Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве! Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!

Кто это был? Кто же он?

Тот, кого разыскивал Мариус.

От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего — ни следа, ни малейших примет.

Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих поисках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и всюду, наведенные справки не привели к прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте,— в префектуре склонны были считать это басней. Авторство басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве.

Все казалось загадочным в этой странной истории.

Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован карaулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее по-

нии, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это за человек? Каков он с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николе'Н'а только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, вышедший éS свечой > в ту трагическую минуту, заметил этого человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него». В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска. Однажды вечером в присутствии Козетты и Жана Вальжана Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул: — О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Вы знаете, что он сделал! Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу биіъы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца. Этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Вы знаете, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем .я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне... — Они ваши,— перебил его Жан Вальжан. — Так вот, — продолжал Мариус,— я отдал бы цх все, чтобы разыскать этого человека! Жан Вальжан не промолвил ни слова,

нии, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это за человек? Каков он с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, вышедший со свечой в ту трагическую минуту, заметил этого человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».

В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.

Однажды вечером в присутствии Козетты и Жана Вальжана Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:

— О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Вы знаете, что он сделал! Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца. Этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Вы знаете, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне...

— Они ваши,— перебил его Жан Вальжан.

— Так вот,— продолжал Мариус,— я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!

Книга шестая БЕССОННАЯ НОЧЬ Глава первая 16 ФЕВРАЛЯ 1833 ГОДА

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты. День прошел восхитительно. Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным во фресках над карнизом двери, но все же это был радостный и пленительный день. Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии последней утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами Песни песней. В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным в часы райского блаженства трястись по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в Ночь, самое священное воспоминание своей жизни наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса. Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и бога; нам необходим еще кучер из Лонжюмо, его синяя куртка с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляха на рукаве, кожаные зеленые

Книга шестая

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Глава первая

16 ФЕВРАЛЯ 1833 ГОДА

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты.

День прошел восхитительно.

Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным во фресках над карнизом двери, но все же это был радостный и пленительный день.

Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии последней утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами *Песни песней.* В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным в часы райского блаженства трястись по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.

Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и бога; нам необходим еще кучер из Лонжюмо, его

штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальборо, Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременным условием свадебного празднества; но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого. В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом. В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание — праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что это добропорядочно и достойно; слияние двух судеб, дающее начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни. Словом, люди имели бесстыдство жениться дома. Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жильнормана. Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля. Между тем случилось так — мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности,— что 16-е число пришлось на последний день масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жильнорман. — Прощеный день, тем лучше! — воскликнул дед. — Ведь есть даже поговорка: На масленице брак затей — Послушных народишь детей. Станем выше предрассудков. Назначим, на- шестнадцатое! Разве ты согласен отложить, Мариус?

штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальборо, Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что́ якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременным условием свадебного празднества; но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого.

В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.

В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание — праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что это добропорядочно и достойно; слияние двух судеб, дающее начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни.

Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.

Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жильнормана.

Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля.

Между тем случилось так — мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности,— что 16-е число пришлось на последний день масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жильнорман.

— Прощеный день, тем лучше! — воскликнул дед.— Ведь есть даже поговорка:

На масленице брак затей —
Послушных народишь детей.

— Разумеется, нет,— отвечал влюбленный. — Стало быть, повенчаемся! — заключил дед. ' Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, — он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом. Накануне Жан Вальжан в присутствии Жильнормана передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков. Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей. Тусен с этоСо дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив Тусен в наследство, возвела ее в ранг горничной. А для Жана Вальжана в доме Жильнорманов была выделена и обставлена прекрасная комната; Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас!», что он почти обещал переселиться. Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой — ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему чтолибо подписывать. Жильнорман, в качестве второго опекуна, исполнил за него эту обязанность. Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви св. Павла. В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви св. Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут; проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» — спросил

— Разумеется, нет,— отвечал влюбленный.

— Стало быть, повенчаемся! — заключил дед.

Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных,— он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом.

Накануне Жан Вальжан в присутствии Жильнормана передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.

Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив Тусен в наследство, возвела ее в ранг горничной.

А для Жана Вальжана в доме Жильнорманов была выделена и обставлена прекрасная комната; Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас!», что он почти обещал переселиться.

Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой — ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Жильнорман, в качестве второго опекуна, исполнил за него эту обязанность.

Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви св. Павла.

В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви св. Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут; проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверно, будет

'Жильнорман. «Из-за ряженых». «Чудесно,— заявил дед, — поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад». Поехали бульваром. В пёрвой свадебной карете сидели Козетта с тетушкой Жильнорман и Жильнор'ызн с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще разлученный с невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, еключился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен. Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратились в ¡карнавал, потому-то и нет больше настоящих карнавалов. Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна — любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, одновременно и зритель и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз — одни к Шоссе д’Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия, с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.

Жильнорман. «Из-за ряженых». «Чудесно,— заявил дед,— поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».

Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели Козетта с тетушкой Жильнорман и Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще разлученный с невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.

Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящих карнавалов.

Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна — любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, одновременно и зритель и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз— одни к Шоссе д'Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия, с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осы-

В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие личики ряженых детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники. Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось. Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив Капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направлявшийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как рас напротив коляски с ряжеными. Такие коляски, или, лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, от ругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде менад, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лйца в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке, — вот что такое повозка с ряжеными. Греции нужна повозка Феспида. Франции нужен фургон Вйде. Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, озорная гримаса античной красоты, все более

В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие личики ряженых детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.

Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.

Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив Капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направлявшийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными.

Такие коляски, или, лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, от ругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде менад, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке,— вот что такое повозка с ряжеными.

Греции нужна повозка Феспида. Франции нужен фургон Ваде.

Все можно пародировать, даже пародию. Сатурна-

искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальной харей. Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турской чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся горланящих людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, приправленные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади — дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодушие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха. Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся. Такие разудалые коляоки, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками. 700

искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальной харей.

Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турской чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся горланящих людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, приправленные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади — дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодушие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.

Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.

Такие разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая

Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестья и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех — соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж — город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей — когда у него есть властители — только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох. Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, карету с невестой. — Гляди-ка,— воскликнула одна из масок,— свадьба! — Похороны, а не свадьба,— возразила другая маска,— Вот у нас так настоящая свадьба. Не имея возможности на столь далейом расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись. Впрочем, спустя минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, 701

Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестья и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех — соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж — город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей — когда у него есть властители — только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.

Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, карету с невестой.

— Гляди-ка,— воскликнула одна из масок,— свадьба!

— Похороны, а не свадьба,— возразила другая маска.— Вот у нас так настоящая свадьба.

Не имея возможности на столь далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись.

Впрочем, спустя минуту у всех ряженых, набивших-

как принято на карнавале, свое одобрение: обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне Cpiqварищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами. Тем временем двое других ряженых из той же коляски — старообразный испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске — тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу. Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла. Вот их диалог: — Слушай-ка! — Что, папаша? — Видишь того старика? — Какого старика? — Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны. — У кого рука болтается на черной тряпке? - Да. — Вижу, ну и что? — Мне сдается, я его знаю. — Ну и ладно! — Провалиться мне на месте, пускай у м,еня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна. — Нынче весь Париж плясун. — Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься? — Нет. — А жениха? — В этой тарахтелке нет жениха. — Да ну? — Разве только второй старикан. — Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту. — Не могу.

как принято на карнавале, свое одобрение: обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.

Тем временем двое других ряженых из той же коляски — старообразный испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске — тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.

Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.

Вот их диалог:

— Слушай-ка!

— Что, папаша?

— Видишь того старика?

— Какого старика?

— Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны.

— У кого рука болтается на черной тряпке?

— Да.

— Вижу, ну и что?

— Мне сдается, я его знаю.

— Ну и ладно!

— Провалиться мне на месте, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.

— Нынче весь Париж плясун.

— Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?

— Нет.

— А жениха?

— В этой тарахтелке нет жениха.

— Да ну?

— Разве только второй старикан.

— Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.

— Ладно, все равно, а я знаю этого старика с обмотанной клешней, разрази Меня гром! — А на кой тебе его знать? — Мало ли что! Пригодится. — Ну, а мне наплевать на стариков. — Я его знаю! — Ну и знай себе на здоровье. — Какого дьявола он попал на свадьбу? — Да мы-то ведь попали? — Откуда едет эта свадьба? — А я почем знаю? — Слушай-ка! — Ну? — Тебе бы надо обделать одно дельце. — Чего еще? — Соскочи на мостовую да последи за свадьбой, — Это зачем? — Разнюхай, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая. — Я не могу сойти с коляски. — Почему? — Меня наняли. — Тьфу пропасть! — Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде. — Что правда, то правда! — Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь. — Как не знать! — На сегодня меня сторговали фараоны. — Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик. — Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка! — Он едет в первой коляске. — Ну и что же? — В тарахтелке невесты. — А дальше? — Стало быть, это отец. — А мне плевать! — Говорят тебе, это отец. ь — Отец так отец, эка невидаль! — Слушай. — Чего еще? — Я могу выходить только в маске. Так я хорошо 703

— Ладно, все равно, а я знаю этого старика с обмотанной клешней, разрази меня гром!
— А на кой тебе его знать?
— Мало ли что! Пригодится.
— Ну, а мне наплевать на стариков.
— Я его знаю!
— Ну и знай себе на здоровье.
— Какого дьявола он попал на свадьбу?
— Да мы-то ведь попали?
— Откуда едет эта свадьба?
— А я почем знаю?
— Слушай-ка!
— Ну?
— Тебе бы надо обделать одно дельце.
— Чего еще?
— Соскочи на мостовую да последи за свадьбой.
— Это зачем?
— Разнюхай, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.
— Я не могу сойти с коляски.
— Почему?
— Меня наняли.
— Тьфу пропасть!
— Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.
— Что правда, то правда!
— Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь.
— Как не знать!
— На сегодня меня сторговали фараоны.
— Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик.
— Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка!
— Он едет в первой коляске.
— Ну и что же?
— В тарахтелке невесты.
— А дальше?
— Стало быть, это отец.
— А мне плевать!
— Говорят тебе, это отец.
— Отец так отец, эка невидаль!
— Слушай

¡укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже нѳ будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна. — Не так чтобы очень. — Все же больше, чем я. — Ладно, ну а дальше? — Постарайся узнать, куда поехала свадьба. — Куда она поехала? - Да. Я и так знаю. — Куда же она едет? — На улицу Синий циферблат. — Во-первых, она вовсе не в той стороне. — Ну тогда к Винной пристани. — А может, и еще куда? — Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят. — Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут. — Да ты обалдел? Вот умора! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо? — Мало ли что! Надо постараться. Слышишь, Азельма? В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной. Глава вторая У ЖАНА ВАЛЬЖАНА РУКА ВСЕ ЕЩЕ НА ПЕРЕВЯЗИ Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников. В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Никол етты. Поверх чехла из белой тафты на ней было платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев,

укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.

— Не так чтобы очень.

— Все же больше, чем я.

— Ладно, ну а дальше?

— Постарайся узнать, куда поехала свадьба.

— Куда она поехала?

— Да.

— Я и так знаю.

— Куда же она едет?

— На улицу Синий циферблат.

— Во-первых, она вовсе не в той стороне.

— Ну тогда к Винной пристани.

— А может, и еще куда?

— Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.

— Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.

— Да ты обалдел? Вот умора! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо?

— Мало ли что! Надо постараться. Слышишь, Азельма?

В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной.

Глава вторая

У ЖАНА ВАЛЬЖАНА РУКА ВСЕ ЕЩЕ НА ПЕРЕВЯЗИ

Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников.

В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.

Поверх чехла из белой тафты на ней было платье

жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим ореолом; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы — рубцы от ран, полученных на баррикаде. Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную. Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался. — Ах, господин Фошлеван! — говорил дед.— Не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену ¿сех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в Преисподней, иными словами, в Тюильрийской резиденции самого Сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни — вот все, чего я хочу. Когда по выполнении всех церемоний, — произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, — новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым 23. «Отверженные», т. 2. 705

жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим ореолом; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню.

Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы — рубцы от ран, полученных на баррикаде.

Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.

Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.

— Ах, господин Фошлеван! — говорил дед.— Не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в преисподней, иными словами, в Тюильрийской резиденции самого Сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни — вот все, чего я хочу.

Когда по выполнении всех церемоний,— произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма,— новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами уми-

настежь, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; Жильнорман и Жан Вальжан Поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете. — Ну вот, дети мои,— говорил дед,— теперь вы — господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты. Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском: — Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я — госпожа Ты. Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не Фидели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе; Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты — в неясной дымке, для Мариуса — à блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя — брачное ложе. Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько, — как это хорошо! Былое горе окружало их Участье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса. Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом': «Мы навестим наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса. 706

настежь, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете.

— Ну вот, дети мои,— говорил дед,— теперь вы — господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты.

Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском:

— Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я — госпожа Ты.

Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе; Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты — в неясной дымке, для Мариуса — в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя — брачное ложе.

Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько,— как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.

Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы навестим наш садик на

Этот день — неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство — в сиянии полдня мечтать о полуночи! Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало у прохожих радостное умиление. Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви св. Павла, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты. Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана — аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее Представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос. На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой. Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчанье кузена Понмерси. Козетта не узнала его. Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую. «Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана!» — 'Сказал себе старик Жильнорман. Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Подобно дедушке Жильнорману, который изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она Источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру. В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его. 707

Этот день — неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство — в сиянии полдня мечтать о полуночи! Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало у прохожих радостное умиление.

Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви св. Павла, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты.

Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана — аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.

На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.

Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчанье кузена Понмерси. Козетта не узнала его.

Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую.

«Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана!» — сказал себе старик Жильнорман.

Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Подобно дедушке Жильнорману, который изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.

В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние

Свадебный стол был накрыт в столовой. Яркое освещение — необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма — никогда. Если нет солнца, надо создать его. Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым ослепительно белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе — жирандоли, по стенам — трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро — все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами — там, где не было огней, пестрели цветы. Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Г айдна. Жан Вальжан сидел в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью: — Отец! Вы рады? — Да, — отвечал Жан Вальжан,— я рад. — Если так, то улыбнитесь. Жан Вальжан улыбнулся. Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан. Вслед за Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку. По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно — для Жилвнормана, другое — для Жана Вальжана. Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым. Все искали глазами «господина Фошлевана». Его не была Господин Жильнорман обратился к Баску: — Ты не знаешь, где господин Фошлеван? — Так точно, знаю, сударь, — отвечал Баск. — Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, 708

Свадебный стол был накрыт в столовой.

Яркое освещение — необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма — никогда. Если нет солнца, надо создать его.

Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым ослепительно белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе — жирандоли, по стенам — трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро — все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами— там, где не было огней, пестрели цветы.

Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.

Жан Вальжан сидел в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью:

— Отец! Вы рады?

— Да,—отвечал Жан Вальжан,— я рад.

— Если так, то улыбнитесь.

Жан Вальжан улыбнулся.

Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.

Вслед за Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.

По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно — для Жильнормана, другое — для Жана Вальжана. Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.

Все искали глазами «господина Фошлевана».

Его не было.

Господин Жильнорман обратился к Баску:

— Ты не знаешь, где господин Фошлеван?

— Так точно, знаю, сударь,— отвечал Баск. Гос-

что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он сию минуту вышел. Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жильнормана осенила блестящая мысль: — Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно я очень мило. Счастливец рядом со счастливицей. Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса. Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем. За десертом Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых. — Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! — воскликнул он. — Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели — будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, 709

что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он сию минуту вышел.

Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жильнормана осенила блестящая мысль:

— Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей.

Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.

Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем.

За десертом Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых.

— Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! — воскликнул он.— Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели — будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю:

как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты чересчур красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать — вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси — потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов? 1 Почем я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем; самое важное — владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте,— это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, плут эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были 1 Игра слов: centsix (сан си) — сто шесть.

как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты чересчур красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать — вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси — потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов? Почем я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем; самое важное — владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте,— это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, плут эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были

не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре — качучей. Чтобы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас — ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй — это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться никому из вас; я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан — это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет,— когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молния, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти — падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта; вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все лопнут от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым, — ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь — это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил — молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее — он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои! Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта! Пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем. Мариус! Пусть слезы жены станут 711

не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре — качучей. Чтобы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас — ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй — это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться никому из вас; я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан — это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет,— когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молния, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти — падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта; вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все лопнут от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым,— ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь — это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил — молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее — он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои! Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта! Пусть улыбка мужа станет для

для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любові», увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, заприте его на ключ, не транжирьтё его, обожайте друг друга и — пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога — любить свою жену! Я люблю тебя — вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с обжорством и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но как это ни удивитель^ но, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастьё этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чегонибудь другого; обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост — вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; тогда я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика. Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. 712

для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, заприте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и — пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога — любить свою жену! Я люблю тебя — вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с обжорством и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но как это ни удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост — вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; тогда я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.

Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много

Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице Жильнормана. После шума наступила тишина. Новобрачные скрылись. Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм. Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел; он улыбается, приложив палец к губам. Душа предается размышлениям перед святилищем, где совершается торжественное таинство любви. Над этой обителью должно появляться сияние. Сокрытое в ней счастье должно проникать сквозь камня бтен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь — это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; ¿диное, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение ёдиной души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник — это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме — как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах. Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь — вот единственное счастье на земле. Все остальное — юдоль слез. 713

Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице Жильнормана.

После шума наступила тишина.

Новобрачные скрылись.

Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.

Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел; он улыбается, приложив палец к губам.

Душа предается размышлениям перед святилищем, где совершается торжественное таинство любви.

Над этой обителью должно появляться сияние. Сокрытое в ней счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь — это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник — это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме — как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.

Только такое блаженство истинно. Нет других ра-

Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение. Глава третья НЕРАЗЛУЧНЫЙ Куда исчез Жан Вальжан? Вскоре после того как он, по ласковому нартоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него вимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз, Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом. Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула — нежный радостный голосок Козетты. Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека. Он шел туда окольным путем, через Сен-Луи, через Ниву св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, бн провожал Козетту с улицы Вооруженного человека йа улицу Сестер страстей господних. Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя. 714

Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение.

Глава третья

НЕРАЗЛУЧНЫЙ

Куда исчез Жан Вальжан?

Вскоре после того как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него вимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз, Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.

Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула — нежный радостный голосок Козетты.

Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.

Он шел туда окольным путем, через Сен-Луи, через Ниву св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тамплъскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних.

Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана. Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты. Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол. Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела. Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты,— на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук. Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; Козетта озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках по715

Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.

Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты.

Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.

Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела.

Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты,— на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук.

Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу;

синели от холода. Жан Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по лесу вместе, Козетта и он; он вспомнил зим^ нюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца,— все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды: косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом е платьем и разглядывал их. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки; кроме него, у нее не было никого на свете. И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платьице Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания. Глава четвертая IMMORTALE JECUR 1 Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась. Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы! Сколько раз видели мы, как Жан Вальжан, во мраке, один на один против своей совести изнемогал в отчаянной борьбе! Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! 1 Бессмертная печень (лат.) — печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась. 716

синели от холода. Жан Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по лесу вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца,— все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды: косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки; кроме него, у нее не было никого на свете.

И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платьице Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания.

Глава четвертая

IMMORTALE JECUR [1]

Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась.

Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы! Сколько раз видели мы, как Жан Вальжан, во мраке, один на один против своей совести изнемогал в отчаянной борьбе!

Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым!

Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь. Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!» Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы! Жан Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой. Перед ним вставал мучительный вопрос. Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков. Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать? На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое. Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой. 717

Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь. Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!»

Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!

Жан Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой.

Перед ним вставал мучительный вопрос.

Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков.

Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать?

На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.

Жану Вальжану снова предстоял выбор между

Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу — никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы! Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем: Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди. У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним. Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маска, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы? Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком: «Как ты поступишь?» — спрашивает сфинкс. Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза.

Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу — никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы!

Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:

Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.

У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.

Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы?

Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком: «Как

Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку. Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук? Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос ¿текла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить. Выпустить из рук? Тогда — бездна. Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения. Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий. Он чувствовал, что дошел до предела. Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, — какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена! Мы чувствуем, что нам отрезала отступление священная тень! Нечто невидимое, но неумолимое — какое наваждение! Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она — божество. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце. Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка. Разве не простительно отказаться наконец от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять нра719

Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.

Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?

Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить.

Выпустить из рук?

Тогда — бездна.

Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.

Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.

Он чувствовал, что дошел до предела.

Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода,—какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!

Мы чувствуем, что нам отрезала отступление священная тень!

Нечто невидимое, но неумолимое — какое наваждение!

Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она — божество. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце.

Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.

ва? Разве неизбывное бремя не превышает сил чело^ веческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут «Довольно!»? Податливость материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения? Сделать первый шаг ничего не стоит; труден последний шаг. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней — уйти в небытие? Первая ступень, ведущая вниз, — какая туманная мгла! Вторая ступень — какой черный мрак! Как не отпрянуть назад? Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию,— и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца? Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения. Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени. Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом — самого себя. На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову? Мучительное раздумье продолжалось всю ночь. Он оставался до утра в том же положении, на коленях, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, — увы, раздавленный, быть мо720

ва? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут «Довольно!»?

Податливость материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?

Сделать первый шаг ничего не стоит; труден последний шаг. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней — уйти в небытие?

Первая ступень, ведущая вниз,— какая туманная мгла! Вторая ступень — какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?

Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию,—и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?

Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения.

Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени.

Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом — самого себя.

На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову?

Мучительное раздумье продолжалось всю ночь. Он оставался до утра в том же положении на ко-

жет! — судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого; по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив. Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было? Тот, кто не дремлет во мраке.

жет! — судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого; по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.

Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было?

Тот, кто не дремлет во мраке.

Книга седьмая ПОСЛЕДНИЙ ГЛОТОК ИЗ ЧАШИ СТРАДАНИЯ

Глава первая СЕДЬМОЙ КРУГ И ВОСЬМОЕ НЕБО

День после свадьбы овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев, так же как позднее их пробуждение. Щумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, утром 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашнего пиршества и веселья. — Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно,— заметил Баск. — Ваш хозяин уже встал? — спросил Жан Вальжан. — Как ваша рука, сударь? — вместо ответа спросил Баск. — Лучше. Ваш хозяин встал? — Который? Старый или молодой? — Господин Понмерси. — Господин барон? — переспросил Баск, приосанившись. Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «Лучи его славы», и это. им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной не722

Книга седьмая

ПОСЛЕДНИЙ ГЛОТОК ИЗ ЧАШИ СТРАДАНИЯ

Глава первая

СЕДЬМОЙ КРУГ И ВОСЬМОЕ НЕБО

День после свадьбы овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев, так же как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, утром 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашнего пиршества и веселья.

— Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно,— заметил Баск.

— Ваш хозяин уже встал? — спросил Жан Вальжан.

— Как ваша рука, сударь? — вместо ответа спросил Баск.

— Лучше. Ваш хозяин встал?

— Который? Старый или молодой?

— Господин Понмерси.

— Господин барон? — переспросил Баск, приосанившись.

Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «Лучи его славы», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республика-

большой революции в доме. Именно Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой. — Господин барон? — повторил Баск. — Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его. — Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что ктото хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени. — А! — протянул Баск. — Я хочу сделать ему сюрприз. — А! — повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объяснял самому себе первое. Он вышел. Жан Вальжан остался один. В гостиной, как мы сказали, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялось множество цветов, выпавших из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, тричетыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. Стулья, разбросанные как погіало, увядающие цветы, угасшие огни — все говорило о радости. (Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом. Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног переплет окна — на тень, отброшенную солнцем. У дверей послышался шум; он поднял глаза.

большой революции в доме. Именно Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.

— Господин барон?— повторил Баск.— Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.

— Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.

— А! — протянул Баск.

— Я хочу сделать ему сюрприз.

— А! — повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объяснял самому себе первое.

Он вышел.

Жан Вальжан остался один.

В гостиной, как мы сказали, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялось множество цветов, выпавших из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. Стулья, разбросанные как попало, увядающие цветы, угасшие огни — все говорило о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.

Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног

Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь. — Ах, это вы, отец! — воскликнул он, увидев Жана Вальжана. — А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит. Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте. Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости. — Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли? Удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал: — Как много мы с Козеттой о вас говорили! Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице? Она такая неприветливая, некрасивая, холодная, она вредна для здоровья, вся загорожена, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. Сегодня же! Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше — направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, пу724

Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.

— Ах, это вы, отец! — воскликнул он, увидев Жана Вальжана.— А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.

Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.

Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.

— Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?

Удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:

— Как много мы с Козеттой о вас говорили! Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице? Она такая неприветливая, некрасивая, холодная, она вредна для здоровья, вся загорожена, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. Сегодня же! Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше — направо. Ночью будет петь соловей, а

тешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в ёылое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, ртец, будете счастливы нашим счастьем. Да ведь вы позавтракаете с нами сегодня? — Сударь, — сказал Жан Вальжан. — Мне надо вам что-то сообщить. Я — бывший каторжник. Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я — бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно — он не понял. Он был в сильнейшем недоумении. Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности. Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу. — С моей рукой ничего не случилось, — сказал он. Мариус взглянул на его палец. — И никогда не случалось, — добавил Жан Вальжан. Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.' Жан Вальжан продолжал: — Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать. — Что это значит? — запинаясь, спросил Мариус. — Это значит,— ответил Жан Вальжан,— что я был на каторге. — Я схожу с ума! — в испуге вскричал Мариус. 725

тешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да ведь вы позавтракаете с нами сегодня?

— Сударь,— сказал Жан Вальжан.— Мне надо вам что-то сообщить. Я — бывший каторжник.

Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я — бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно — он не понял. Он был в сильнейшем недоумении.

Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.

Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.

— С моей рукой ничего не случилось,— сказал он.

Мариус взглянул на его палец.

— И никогда не случалось,— добавил Жан Вальжан.

Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.

Жан Вальжан продолжал:

— Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.

— Что это значит? — запинаясь, спросил Мариус.

— Это значит,— ответил Жан Вальжан,— что я

— Господин Понмерси! — сказал Жан Вальжан.— Я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я скрываюсь от полиции. Напрасно Мариус старался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, — он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь. — Говорите все! Говорите правду! — крикнул он. — Вы отец Козетты? И, полный- невыразимого ужаса; отшатнулся. Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову. — Вы должны мне поверить сударь. И хотя нашу клятву — клятву таких, как я, — правосудие не признает... Он помолчал, потом заговорил медленно с какоюто властной мрачной силой подчеркивая каждый слог: — ...Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси! Я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты — никто. Успокойтесь. — Кто мне это докажет? — пробормотал Мариус. — Я. Мое слово. Мариус взглянул на этого человека. Человек был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие несовместимо с ложью. То, что обратилось в лед,— правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина. — Я вам верю,— сказал Мариус. Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал: — Что я для Козетты? Случайный прохожий. Десять лет назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. 726

— Господин Понмерси! — сказал Жан Вальжан.— Я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я скрываюсь от полиции.

Напрасно Мариус старался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности,— он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.

— Говорите все! Говорите правду! — крикнул он.— Вы отец Козетты?

И, полный невыразимого ужаса, отшатнулся.

Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.

— Вы должны мне поверить сударь. И хотя нашу клятву — клятву таких, как я,— правосудие не признает...

Он помолчал, потом заговорил медленно с какою-то властной мрачной силой подчеркивая каждый слог:

— ...Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси! Я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты — никто. Успокойтесь.

— Кто мне это докажет? — пробормотал Мариус.

— Я. Мое слово.

Мариус взглянул на этого человека. Человек был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие несовместимо с ложью. То, что обратилось в лед,— правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.

— Я вам верю,— сказал Мариус.

Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:

— Что я для Козетты? Случайный прохожий. Десять лет назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком?

Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Маленькие дети так беспомощны, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность по отношению к Козетте. Не думаю, чтобы такую малость можно было назвать добрым делом, но если это правда доброе дело, — ну что ж, считайте что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она — баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, — хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, — были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не Нее ли равно! Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. Больше вам не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается меня одного. Мне очень важко, чтобы вы знали, кто я такой. И тут Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариусу. Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны. Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, вызывают в нашей душе бурю. У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека, одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус так был ошеломлен, 4то стал упрекать Жана Вальжана, точно был раздосадован его признанием. — Не понимаю, — воскликнул он, — зачем вы мне говорите все это? Кто вас прийуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите все до конца. Здесь что-то кроется. С какой целью вы разоблачаете себя? Для чего? Зачем? 727

Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Маленькие дети так беспомощны, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность по отношению к Козетте. Не думаю, чтобы такую малость можно было назвать добрым делом, но если это правда доброе дело,— ну что ж, считайте что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она — баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков,— хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос,— были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно! Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. Больше вам не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.

И тут Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариусу.

Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны. Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, вызывают в нашей душе бурю.

У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека, одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус так был ошеломлен, что стал упрекать Жана Вальжана, точно был раздосадован его признанием.

— Не понимаю,— воскликнул он,— зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите все до конца. Здесь что-то кроется. С какой целью вы ра-

— Зачем? — проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. — В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и причина странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своей совести. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не подаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, — в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул изо всех сил; они держались крепко, они не подавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Понмерси очень меня любит, она даже сказала креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту... госпожу Понмерси,— простите, я оговорился по привычке,— мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой греться у камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше этого ничего нет на земле. Мы жили бы семьей. Одной семьей! При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым. — Одной семьей! — вскричал он. — Нет! У меня нет семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. На свете есть семьи, но не для меня. Я отверженный, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я начинаю в этом сомневаться. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, 728

— Зачем? — проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу.— В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и причина странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своей совести. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не подаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать,— в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул изо всех сил; они держались крепко, они не подавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Понмерси очень меня любит, она даже сказала креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту... госпожу Понмерси,— простите, я оговорился по привычке,— мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой греться у камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше этого ничего нет на земле. Мы жили бы семьей. Одной семьей!

При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.

— Одной семьей! — вскричал он.— Нет! У меня нет семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. На свете есть семьи, но не для меня. Я отверженный, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я начинаю в этом сомневаться. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она

что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не имею права лгать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица — моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто! Я всю ночь старался убеДить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, й всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать fy нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к Козеіте, и я не мог заглушить голос того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается только меня, говорить не стоит: это я оставлю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не прирошу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду Жить в своем уголке и что хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею? У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном — и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, то есть скрыл истинное свое лицо; рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в . себе тьму; не предупреждая вас, я простонапросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы 729

что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не имею права лгать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица—моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто! Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к Козетте, и я не мог заглушить голос того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается только меня, говорить не стоит: это я оставлю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею? У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном — и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, то есть скрыл истинное свое лицо; рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; не предупреждая вас, я просто-

прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать у вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, — ваш дед, вы, Козетта и я, — здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не открывать моей тайны, не давать сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы каждый день! И эту ложь я повторял бы каждый день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо каждый день! И я делал бы вас участниками моего позора каждый день! Непрестанно! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы дьявольской улыбкой на улыбку ангела,— -я был бы презренным негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, сударь! Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил i'олос, но он звучал тёперь уже не глухо, а зловеще: — Вы спрашиваете, зййем я говорю? Меня никто не выдает, нё преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследую!, меня травят! 730

прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что́ по праву должно вызвать у вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо,— ваш дед, вы, Козетта и я,— здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не открывать моей тайны, не давать сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы каждый день! И эту ложь я повторял бы каждый день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо каждый день! И я делал бы вас участниками моего позора каждый день! Непрестанно! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы дьявольской улыбкой на улыбку ангела,— я был бы презренным негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, сударь!

Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще:

— Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. На-

Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню. А когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться. Тут Жан Вальжан схватил себя за воротник. — Поглядите на этот кулак, — сказал он. — Не находите ли вы, что он держит за ворот так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собою бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой. G мучительным, скорбным выражением он продолжал: — Господин Понмерси! Хотя это и противоречит здравому смыслу, но я — честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. Тогда я держу голову высоко. Я — каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Йо что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполню его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни. Жан Вальжан помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус, заговорил снова: — Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, 731

Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню. А когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.

Тут Жан Вальжан схватил себя за воротник.

— Поглядите на этот кулак,— сказал он.— Не находите ли вы, что он держит за ворот так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собою бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.

С мучительным, скорбным выражением он продолжал:

— Господин Понмерси! Хотя это и противоречит здравому смыслу, но я — честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. Тогда я держу голову высоко. Я — каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполню его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.

Жан Вальжан помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус, заговорил снова:

— Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их

накидывать на них свою арестантскую куртку, омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой — это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя — это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я о многом размышлял, кое-что читал; как видите, я умею выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним — бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить покоя, в смертельной тоске терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все. Добровольно, как выразились вы. Он тяжело вздохнул. — Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя. — Чтобы жить? — прервал Мариус. — Вам не нужно это имя, чтобы жить. — Ах, я знаю, что говорю! — сказал Жан Вальжан, медленно покачивая головой. Наступила тишина. Оба молчали, погрузившись в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Он задержался перед зеркалом, потом, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд: — Зато теперь я облегчил свое сердце! Он опять стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом. — Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему, — произнес он с каким-то особенным выражением и продолжал: — А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я 732

накидывать на них свою арестантскую куртку, омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой — это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя — это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я о многом размышлял, кое-что читал; как видите, я умею выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним — бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить покоя, в смертельной тоске терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все. Добровольно, как выразились вы.

Он тяжело вздохнул.

— Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.

— Чтобы жить? — прервал Мариус.— Вам не нужно это имя, чтобы жить.

— Ах, я знаю, что говорю! — сказал Жан Вальжан, медленно покачивая головой.

Наступила тишина. Оба молчали, погрузившись в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Он задержался перед зеркалом, потом, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:

— Зато теперь я облегчил свое сердце!

Он опять стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом.

— Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему,— произнес он с каким-то особенным выраже-

ничего не сказался остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга. В один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы — вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий: «Жан Вальжан!» Й вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, й внезапно срывает с меня маску. Он замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил: — Что вы на это скажете? Ответом было молчание Мариуса. Жан Вальжан продолжал: — Как видите, я прав, что решил открыться. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в лучах солнца и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник рскрывает себе грудь, чтобы выполнять свой долг? Перед вами несчастный человек, сударь. Мариус медленно подошел к Жану Вальжану и протянул ему руку. Но Мариусу пришлось самому взять его руку, — она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную руку. — У моего деда есть друзья, — сказал Мариус,— я добьюсь для вас помилования. — Поздно,— возразил Жан Вальжан.— Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть — это то же, что Помилование. Высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством: — К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я 'прибегаю, — это выполнение долга. И лишь в однбі^ помиловании я нуждаюсь — в том, какое может даровать мне моя совесть. Тут в другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок пока733

ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга. В один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы — вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий: «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.

Он замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:

— Что вы на это скажете?

Ответом было молчание Мариуса.

Жан Вальжан продолжал:

— Как видите, я прав, что решил открыться. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в лучах солнца и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг? Перед вами несчастный человек, сударь.

Мариус медленно подошел к Жану Вальжану и протянул ему руку. Но Мариусу пришлось самому взять его руку,— она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную руку.

— У моего деда есть друзья,— сказал Мариус,— я добьюсь для вас помилования.

— Поздно,— возразил Жан Вальжан.— Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть — это то же, что помилование.

Высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:

— К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю,— это выполнение долга. И лишь в одном помиловании я нуждаюсь — в том, какое может даровать мне моя совесть.

залась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь,— казалось, роза расцвела улыбкой: — Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной! Жан Вальжан вздрогнул. — Козетта!.. — пролепетал Мариус. И замолк. Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты. Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая. — Я поймала вас на месте преступления, — заявила Козетта. — Я только что слышала за дверью, как мой отец Фошлеван говорил: «Совесть,.. Выполнить свой долг», — это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это нехорошо. — Ты ошибаешься, Козетта,— возразил Мариус. — У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков... — Не в этом дело, — перебила его Козетта. — Я пришла. Хотят меня здесь видеть? Решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадавший множеством складок от шеи до пят. На золотых небеса* старинных средневековых картин можно увидеть Зтй восхитительные хламиды, окутывающие ангелов. Она оглядела себя ç головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга: — Жили на свете король и королева! О, как я рада! Она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану. — Ну вот,— сказала она,— теперь я пристроюсь возле вйс в Кресле, завтрак через Полчаса, йы будете разговаривать, ó чем хотите; я знаю, мужчинам надо поговорить, и я ёуду сидеть смирно. 734

залась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь,— казалось, роза расцвела улыбкой:

— Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!

Жан Вальжан вздрогнул.

— Козетта!..— пролепетал Мариус. И замолк.

Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты.

Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.

— Я поймала вас на месте преступления,— заявила Козетта.— Я только что слышала за дверью, как мой отец Фошлеван говорил: «Совесть,.. Выполнить свой долг»,—это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это нехорошо.

— Ты ошибаешься, Козетта,— возразил Мариус.— У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков...

— Не в этом дело,— перебила его Козетта.— Я пришла. Хотят меня здесь видеть?

Решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадавший множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.

Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:

— Жили на свете король и королева! О, как я рада!

Она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.

— Ну вот,— сказала она,— теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете

Мариус взял ее за руку и сказал голосом влюбленного: — У нас деловой разговор. — Знаете,— снова заговорила Козетта,— я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня покаянная среда, а у них все еще масленица. — Малютка Козетта! Мы говорим о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит. — Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне не будет скучно. — Уверяю тебя, что ты соскучишься. — Нет. Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые полоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами,— мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все. — Козетта, любимая моя, это невозможно. — Невозможно? - Да. — Ну что ж, — сказала Козетта,— А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедне, что в комнате отца моего Фошлевана дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканьем Тусен. А теперь вы ничего не узнаете. Вот как, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Sto невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами! — Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних. — А разве я посторонняя? Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему: — А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже, — не говорить ни слова, вместо того чтобы вступиться за меня? За что бог наградил меня таким отцом! Вы ртлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту! 735

Мариус взял ее за руку и сказал голосом влюбленного:

— У нас деловой разговор.

— Знаете,— снова заговорила Козетта,— я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня покаянная среда, а у них все еще масленица.

— Малютка Козетта! Мы говорим о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.

— Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне не будет скучно.

— Уверяю тебя, что ты соскучишься.

— Нет. Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами,— мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.

— Козетта, любимая моя, это невозможно.

— Невозможно?

— Да.

— Ну что ж,— сказала Козетта.— А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедне, что в комнате отца моего Фошлевана дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканьем Тусен. А теперь вы ничего не узнаете. Вот как, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами!

— Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.

— А разве я посторонняя?

Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:

— А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже,— не говорить ни слова, вместо того чтобы вступиться за меня? За что бог наградил меня таким отцом! Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой

Жан Вальжан приблизился к ней. Козетта обернулась к Мариусу: — А вам гримаса, — вот, получаете. Потом подставила лоб Жану Вальжану. Он сделал шаг ей навстречу. Козетта отшатнулась: — Как вы бледны, отец! У вас так сильно болит рука? — Она прошла,— ответил Жан Вальжан. — Вы плохо спали? — Нет. — Вам грустно? — Нет. — Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить. И она снова подставила ему лоб. Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе. — Улыбнитесь! Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака. — А теперь защитите меня от моего мужа. — Козетта!.. — начал Мариус. — Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне не< обходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж необыкновенно? Дела, поместить деньги в байке, — подумаешь какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус. Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнул^ между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения. — Люблю тебя! — сказал Мариус. — Обожаю тебя! — сказала Козетта. Повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия. — А теперь, — снова заговорила Козетта, с забавным, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара,— я остаюсь. 736

Жан Вальжан приблизился к ней.

Козетта обернулась к Мариусу:

— А вам гримаса,— вот, получайте.

Потом подставила лоб Жану Вальжану.

Он сделал шаг ей навстречу.

Козетта отшатнулась:

— Как вы бледны, отец! У вас так сильно болит рука?

— Она прошла,— ответил Жан Вальжан.

— Вы плохо спали?

— Нет.

— Вам грустно?

— Нет.

— Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.

И она снова подставила ему лоб.

Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.

— Улыбнитесь!

Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.

— А теперь защитите меня от моего мужа.

— Козетта!..— начал Мариус.

— Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж необыкновенно? Дела, поместить деньги в банке,— подумаешь какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.

Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.

— Люблю тебя! — сказал Мариус.

— Обожаю тебя! — сказала Козетта.

Повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.

— А теперь,— снова заговорила Козетта, с забавным, торжествующим видом оправляя складки своего

— Нет, нельзя, — сказал Мариус умоляющим тоном. — Нам надо кое-что закончить. — Опять нет? Мариус постарался придать голосу строгое выражение: — Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно. — А, вы заговорили голосом властелина, сударь! Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг, господин отец, вы — тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо. И она вышла из комнаты. Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула: — Я очень сердита! Дверь затворилась, и вновь наступил мрак. Словно заблудившийся солнечный луч неожиданно прорезал тьму и скрылся. Мариус проверил, плотно ли затворена дверь. — Бедная Козетта! — прошептал он. — Когда она узнает... При этих словах Жан Вальжан задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил: — Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом! На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь! Заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это безразлично. Но она, она не должна знать ничего. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже! Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы — страшные слезы. 737 24. «Отверженные», т. 2.

— Нет, нельзя,— сказал Мариус умоляющим тоном.— Нам надо кое-что закончить.

— Опять нет?

Мариус постарался придать голосу строгое выражение:

— Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.

— А, вы заговорили голосом властелина, сударь! Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг, господин отец, вы — тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.

И она вышла из комнаты.

Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:

— Я очень сердита!

Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.

Словно заблудившийся солнечный луч неожиданно прорезал тьму и скрылся.

Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.

— Бедная Козетта! — прошептал он.— Когда она узнает...

При этих словах Жан Вальжан задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:

— Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом! На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь! Заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это безразлично. Но она, она не должна знать ничего. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!

Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолв-

Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины: — О, если б умереть! — Успокойтесь, — сказал Мариус, — я буду свято хранить вашу тайну. Мариус, возможно, был не так уж растроган. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил: — Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидельствует о вашей высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой. — Благодарю вас, сударь, — кротко промолвил Жан Вальжан. Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес: — Все почти сказано. Остается последнее... — Что именно? Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность. Беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее пролепетал: — Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, — вы, муж Козетты — что я больше не должен ее видеть? — Я считаю, что так было бы лучше,— холодно ответил Мариус. — Я не увижу ее больше,— прошептал Жан Вальжан и направился к выходу. Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, 738

Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины:

— О, если б умереть!

— Успокойтесь,— сказал Мариус,— я буду свято хранить вашу тайну.

Мариус, возможно, был не так уж растроган. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:

— Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидельствует о вашей высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.

— Благодарю вас, сударь,— кротко промолвил Жан Вальжан.

Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:

— Все почти сказано. Остается последнее...

— Что именно?

Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность. Беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее пролепетал:

— Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь,— вы, муж Козетты— что я больше не должен ее видеть?

— Я считаю, что так было бы лучше,— холодно ответил Мариус.

— Я не увижу ее больше,— прошептал Жан Вальжан и направился к выходу.

Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь

чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу. Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен. — Если вы позволите, сударь, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно! Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего — это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя боюсь, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, — кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет. — Вы будете приходить каждый вечер, — сказал Мариус,— и Козетта будет вас ждать. 739

чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.

Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен.

— Если вы позволите, сударь, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно! Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего — это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя боюсь, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте,— кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.

— Вы будете приходить каждый вечер,— сказал

— Вы очень добры, сударь, — проговорил Жан Вальжан. Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались. Глава вторая КАКИЕ НЕЯСНОСТИ МОГУТ ТАИТЬСЯ В РАЗОБЛАЧЕНИИ Мариус был потрясен. Странное чувство отчуждения, какое он всегда испытывал к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта была последней ступенью позора — каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном. Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья — все равно, что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы. Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать? Неужели он связал свою жизнь с каторжником? Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни — разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы. Как всегда бывает при подобных превращениях, Мариус стал раздумывать — не следует ли ему упрекнуть себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши поступки, жизнь малопомалу умудряет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характе740

— Вы очень добры, сударь,— проговорил Жан Вальжан.

Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.

Глава вторая

КАКИЕ НЕЯСНОСТИ МОГУТ ТАИТЬСЯ В РАЗОБЛАЧЕНИИ

Мариус был потрясен.

Странное чувство отчуждения, какое он всегда испытывал к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта была последней ступенью позора — каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.

Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья — все равно, что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.

Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?

Неужели он связал свою жизнь с каторжником?

Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни — разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы.

Как всегда бывает при подобных превращениях, Мариус стал раздумывать — не следует ли ему упрекнуть себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши поступки, жизнь малопомалу умудряет нас. Он видел теперь склонную к

ра, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в доме Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь — это вознесение влюбленных на высоты идеала; и, быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную, затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, в котором не желал играть никакой роли, от которого бежал и в котором не мог стать ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в доме Горбо, если бы и назвал Тенардье,— какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан — каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять ее в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих безумцев, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его — куда? В рай. 741

ра, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в доме Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь — это вознесение влюбленных на высоты идеала; и, быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную, затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, в котором не желал играть никакой роли, от которого бежал и в котором не мог стать ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в доме Горбо, если бы и назвал Тенардье,— какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан — каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять ее в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих безумцев, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы

Но этот рай отныне омрачало соседство с адом. Давнее нерасположение Мариуса к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом. Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения. Этот вор, закоренелый злодеи, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил. Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, — оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска — это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него — безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно — в нем пробуждалась совесть. В нем начиналось некое таинственное возрождение; по всей видимости, душевная тревога издавна владела этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести — признак величия души. Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Отношение к нему Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие. Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане. 742

Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.

Давнее нерасположение Мариуса к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.

Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения.

Этот вор, закоренелый злодей, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.

Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению,— оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска — это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него — безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно — в нем пробуждалась совесть. В нем начиналось некое таинственное возрождение; по всей видимости, душевная тревога издавна владела этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести — признак величия души.

Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Отношение к нему Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.

Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то

Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания — все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом тучи снова сгущались. Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне. Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того, чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Теперь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции. Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Сейчас перед Мариусом, в его смятенной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал зловещее появление Жана Вальжана, увлекавшего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным. Наконец, последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Зна743

Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания — все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом тучи снова сгущались.

Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.

Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того, чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Теперь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.

Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Сейчас перед Мариусом, в его смятенной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал зловещее появление Жана Вальжана, увлекавшего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.

Наконец, последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает

чит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных судьба человеческая может заставить идти рядом два существа: одно — ясное и чистое, другое — страшное; одно — озаренное сиянием утра, другое — навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и — что еще непостижимее — привязать волка к ягненку? Волк любил ягненка, свирепое существо боготворило существо слабое, целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет — ее порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна? Древние символы Книги бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока оно не обратится к свету, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, — Авеля, и того, кто исповедует зло, — Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, будучи сам порочен, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник,, который благоговел перед невинностью и ничем ее не запятнал? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный однойединственной заботой — предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды? Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной. Мариус отступал перед этой двойной тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. Пути господни неисповедимы. Бог пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо 744

чит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных судьба человеческая может заставить идти рядом два существа: одно — ясное и чистое, другое — страшное; одно — озаренное сиянием утра, другое — навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и — что еще непостижимее — привязать волка к ягненку? Волк любил ягненка, свирепое существо боготворило существо слабое, целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет — ее порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?

Древние символы Книги бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока оно не обратится к свету, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро,— Авеля, и того, кто исповедует зло,— Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, будучи сам порочен, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и ничем ее не запятнал? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной-единственной заботой — предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?

Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.

Мариус отступал перед этой двойной тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. Пути господни неисповедимы. Бог пользуется тем средством, каким по-

ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу? Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой. Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких еще расследованиях он нуждался? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все — разве этого недостаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! Наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я — никто для Козетты. Десять лет назад я не знал о ее существовании». Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам так сказал. Ну вот он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку — Жана Вальжана. Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал quid divinum 1 в этом человеке. Но, какие бы усилия он над собой ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одно1 Нечто божественное (лат.). 745

ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?

Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой. Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких еще расследованиях он нуждался? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все — разве этого недостаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! Наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я — никто для Козетты. Десять лет назад я не знал о ее существовании».

Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам так сказал. Ну вот он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку — Жана Вальжана.

Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал *quid divinum*[1] в этом человеке. Но, какие бы усилия он над собой ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одно-

му: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, ибо оно опустилось ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, в сущности, не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого — всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, тем не менее в вопросах, касающихся судопроизводства, он все еще стоял за систему беспощадной кары и всех, кого карал закон, осуждал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово vindicta *. Он считал справедливым, чтобы посягательства на писаный закон имели следствием пожизненное наказание, и признавал проклятие общества как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса. В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Беглый каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. Vade retro1 2. Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, — а ведь тот даже сказал ему: «Вы исповедуете меня», — Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имевших решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, — он их боялся. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан был, по-видимому, не способен отступать, и, кто знает, не захотелось ли бы самому Мариусу, толкнувшему его на признание, остановить его? Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными 1 Кара (лат.). 2 Изыди (Сатана) (лат.). 746

му: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, ибо оно опустилось ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, в сущности, не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого — всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, тем не менее в вопросах, касающихся судопроизводства, он все еще стоял за систему беспощадной кары и всех, кого карал закон, осуждал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово *vindicta*[1]. Он считал справедливым, чтобы посягательства на писаный закон имели следствием пожизненное наказание, и признавал проклятие общества как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.

В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Беглый каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. *Vade retro*[2].

Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана,— а ведь тот даже сказал ему: «Вы исповедуете меня»,— Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имевших решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним,— он их боялся. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан был, по-видимому, не способен отступать, и, кто знает, не захотелось ли бы самому Мариусу, толкнувшему его на признание, остановить его? Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными

подозрениями, задать вопрос и тут же заткнуть уши, чтобы не слышать ответа? Тем, кто любит, особенно свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на всё безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе ангела мерцающий отсвет адского пламени? Самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля . рока такова, что даже сама невинность обречена нести на себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Прав был Мариус или не прав, но он этого боялся. Он и так узнал слишком много. Ему хотелось не столько все понять, сколько все забыть. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая взгляд от Жана Вальжана. Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла стать омраченной навеки. В таком душевном состоянии Мариус не мог не тревожиться о том, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Мариус досадовал на себя, он роптал на внезапно налетевший вихрь, который оглушил, ослепил и увлек его. Он был недоволен собой. Что теперь будет? Мысль о том, что Жан Вальжан станет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? 747

подозрениями, задать вопрос и тут же заткнуть уши, чтобы не слышать ответа? Тем, кто любит, особенно свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на всё безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе ангела мерцающий отсвет адского пламени? Самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести на себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Прав был Мариус или не прав, но он этого боялся. Он и так узнал слишком много. Ему хотелось не столько все понять, сколько все забыть. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая взгляд от Жана Вальжана.

Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла стать омраченной навеки.

В таком душевном состоянии Мариус не мог не тревожиться о том, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Мариус досадовал на себя, он роптал на внезапно налетевший вихрь, который оглушил, ослепил и увлек его. Он был недоволен собой.

Что теперь будет? Мысль о том, что Жан Вальжан

Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал,— он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание, и Жан Вальжан это обещание получил, а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, непобедимое отвращение вытесняло в нем все другие чувства. Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь — великий талант, и Мариус справился с собой. Не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая рассказы о ее детстве и юности, он все больше убеждался, что отношение каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Зловещий чертополох любил и оберегал чистую лилию.

Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал,— он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание, и Жан Вальжан это обещание получил, а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, непобедимое отвращение вытесняло в нем все другие чувства.

Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь — великий талант, и Мариус справился с собой.

Не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая рассказы о ее детстве и юности, он все больше убеждался, что отношение каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Зловещий чертополох любил и оберегал чистую лилию.

Книга восьмая СУМЕРКИ СГУЩАЮТСЯ Глава первая КОМНАТА В НИЖНЕМ ЭТАЖЕ На другой день, с наступлением сумерек, Жа« Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то». Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый: — Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу. — Я останусь внизу, — отвечал Жан Вальжан. Баск, храня безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал: — Пойду доложить молодой хозяйке. Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая, сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой. Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками тут давно не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка 749

Книга восьмая

СУМЕРКИ СГУЩАЮТСЯ

Глава первая

КОМНАТА В НИЖНЕМ ЭТАЖЕ

На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».

Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:

— Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.

— Я останусь внизу,— отвечал Жан Вальжан.

Баск, храня безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:

— Пойду доложить молодой хозяйке.

Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая, сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.

Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками тут давно не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низ-

облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу». У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти. Комната освещалась огнем камина и тусклым светом из окна. Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло. Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи. Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта. Он не видел, но почувствовал, как она вошла. Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительна. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу. — Ну, отец, — вскричала Козетта, — я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь. — Да, сам. — Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец. И она подставила ему щеку. Жан Вальжан был неподвижен. — Вы даже не шевельнулись. Запомним это. Вы ведете себя, как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она. И она подставила другую. Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу. — Дело становится серьезным, — сказала Козетта. — В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедаете с нами. — Я уже обедал. 750

облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».

У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.

Комната освещалась огнем камина и тусклым светом из окна.

Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.

Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.

Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.

Он не видел, но почувствовал, как она вошла.

Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительна. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.

— Ну, отец,— вскричала Козетта,— я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.

— Да, сам.

— Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.

И она подставила ему щеку.

Жан Вальжан был неподвижен.

— Вы даже не шевельнулись. Запомним это. Вы ведете себя, как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.

И она подставила другую.

Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.

— Дело становится серьезным,— сказала Козетта.— В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедае-

— Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту. — Это невозможно. Тут Козетта слегка растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам. — Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно. — Ты ведь знаешь... Жан Вальжан поправился: — Вы ведь знаете, баронесса, что я чудак, у меня свои прихоти. Козетта всплеснула ручками: — Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит? Жан Вальжан посмотрел на нее с той душераздирающей, вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах. — Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею. — Но не для вас же, отец. — Не называйте меня больше отцом. — Что? — Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите. — Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! Вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло? — Ничего. — Тогда в чем же дело? — Все осталось по-прежнему. — Почему вы меняете имя? — Вы ведь тоже переменили свое. Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил: — Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном? — Решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причу751

— Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.

— Это невозможно.

Тут Козетта слегка растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.

— Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.

— Ты ведь знаешь...

Жан Вальжан поправился:

— Вы ведь знаете, баронесса, что я чудак, у меня свои прихоти.

Козетта всплеснула ручками:

— Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?

Жан Вальжан посмотрел на нее с той душераздирающей, вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.

— Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.

— Но не для вас же, отец.

— Не называйте меня больше отцом.

— Что?

— Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.

— Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! Вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?

— Ничего.

— Тогда в чем же дело?

— Все осталось по-прежнему.

— Почему вы меняете имя?

— Вы ведь тоже переменили свое.

Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:

— Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?

— Решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения назы-

ды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеете быть злым, ведь вы такой добрый Он не отвечал. Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к овоему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности. — О, — проговорила она, — будьте добрым, как прежде! И продолжала: — Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам — здесь тоже есть птички, как на улице Плюме, — жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека: не загадывать нам головоломок, быть, как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом. Он высвободил свои руки. — Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж. Козетта вспылила: — Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать. — Если бы тут была Тусен, — продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, — она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол. — Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном! Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»! — Нынче, по дороге сюда, — перевел разговор Жан Вальжан,— я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я бы это приобрел. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица. — У! Противный медведь! — проговорила Козетта и с очаровательной гримаской фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку. — Я просто взбешена, — заявила она. — Со вчерашнего дня гее вы меня изводите. Я очень сердита. 752

ды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеете быть злым, ведь вы такой добрый

Он не отвечал.

Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.

— О,— проговорила она,— будьте добрым, как прежде!

И продолжала:

— Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам — здесь тоже есть птички, как на улице Плюме,— жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломок, быть, как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.

Он высвободил свои руки.

— Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.

Козетта вспылила:

— Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.

— Если бы тут была Тусен,— продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку,— она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.

— Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном! Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!

— Нынче, по дороге сюда,— перевел разговор Жан Вальжан,— я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я бы это приобрел. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.

— У! Противный медведь! — проговорила Козетта и с очаровательной гримаской фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.

Я просто рабочена,— заявила она.— Со вча

Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату! Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок — паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям после свадьбы. Вы не имели права сразу же браться за прежние чудачества. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи! Вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжана, она уже серьезно спросила: — Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива? Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл. Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови. Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал: — Ее счастье — вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло. — Ах! Вы сказали мне «ты»! — воскликнула Козетта и кинулась ему на шею. Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе. — Спасибо, отец! — шепнула Козетта. Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу. — Что такое? — спросила Козетта. — Я ухожу, сударыня, вас ждут,— ответил Жан Вальжан и, стоя уже в дверях, прибавил: 753

Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату! Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок — паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям после свадьбы. Вы не имели права сразу же браться за прежние чудачества. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!

Вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжана, она уже серьезно спросила:

— Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?

Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл. Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.

Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:

— Ее счастье — вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.

— Ах! Вы сказали мне «ты»! — воскликнула Козетта и кинулась ему на шею.

Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.

— Спасибо, отец! — шепнула Козетта.

Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.

— Что такое? — спросила Козетта.

— Я ухожу, сударыня, вас ждут,— ответил Жан Вальжан и, стоя уже в дверях, прибавил:

— Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня. Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием. Г лава вторая ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ НАЗАД Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час. Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она избегала называть его и отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить. Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви. Нижнюю залу более или менее привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину. Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», — твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые. связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ля он Фошлеваном или Кашлеваном — для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Все эти оригиналы одинаковы. Они способны на любые чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он купил дворец, а жил на чердаке. Напускают же на себя люди этакую блажь!» 754

— Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.

Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.

Глава вторая

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ НАЗАД

Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час.

Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она избегала называть его и отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить.

Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.

Нижнюю залу более или менее привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.

Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким»,— твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Кашлеваном — для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Все эти оригиналы одинаковы. Они способны на любые чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он купил дворец, а жил на чердаке. Напускают

Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной: вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности странную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну. Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которое не дает им покоя всю ночь. Такие люди на вид ничем не отличаются от других: они ходят, двигаются. Никто не знает, что страшный разрушительный недуг живет в этих несчастных и как червь гложет их, причиняя тяжкие муки. Никто не знает, что любой из них — омут. Стоячий, глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, исчезает, появляется снова: всплывает пузырь и лопается. Это почти ничего, и вместе с тем жутко. Это дыхание неведомого зверя. Иные странные привычки — являться в часы, когда другие уходят, держаться, в тени, когда другие выставляют себя напоказ, носить всегда плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить со двора, подниматься по черной лестнице, — все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности исходят нередко из глубин отчаяния. Так прошло некоторое время. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые знакомства, визиты, домашние заботы, развлечения — все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном — быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, — в этом состояло главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, Тусен пришлось уйти. 755

Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной: вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности странную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.

Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которое не дает им покоя всю ночь. Такие люди на вид ничем не отличаются от других: они ходят, двигаются. Никто не знает, что страшный разрушительный недуг живет в этих несчастных и как червь гложет их, причиняя тяжкие муки. Никто не знает, что любой из них — омут. Стоячий, глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, исчезает, появляется снова: всплывает пузырь и лопается. Это почти ничего, и вместе с тем жутко. Это дыхание неведомого зверя.

Иные странные привычки — являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, носить всегда плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить со двора, подниматься по черной лестнице,— все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности исходят нередко из глубин отчаяния.

Так прошло некоторое время. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые знакомства, визиты, домашние заботы, развлечения — все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном — быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома,— в этом состояло главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Ту-

Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день. Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» — все это изменило его отношения с Козеттой. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя, были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас». Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когдато жила Козетта. На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил. Но постепенно он затягивал свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже. Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите: Жан»,— «Да, правда, — отвечала она, рассмеявшись, — господин Жан!» — «Вот так», — сказал он и отвернулся, чтобы незаметно вытереть слезы. Глава третья ОНИ ВСПОМИНАЮТ САД НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ Больше это не повторялось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан постепенно лишился всех своих радостей; его постигло то несчастье, что он потерял Козетту в один день, а потом ему пришлось сызнова терять ее постепенно. Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету 756

Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день.

Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» — все это изменило его отношения с Козеттой. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя, были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».

Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.

На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.

Но постепенно он затягивал свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.

Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите: Жан».— «Да, правда,— отвечала она, рассмеявшись,— господин Жан!» — «Вот так»,— сказал он и отвернулся, чтобы незаметно вытереть слезы.

Глава третья

ОНИ ВСПОМИНАЮТ САД НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ

Больше это не повторялось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан постепенно лишился всех своих радостей; его постигло то несчастье, что он потерял Козетту в один день,

подземелья. Видеть Козетту хотя бы раз в день казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках. Однажды после полудня — это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады за окнами Мариуса и Козетты трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны — белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях дерев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, — Мариус сказал Козетте: — Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными. И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетили этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних. — Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались, — сказал ему Баск. Жан Вальжан молча сел и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел. Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана. — Как вы добрались туда? — спросил ее Жан Вальжан. — Пешком. — А как вернулись? 757

подземелья. Видеть Козетту хотя бы раз в день казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.

Однажды после полудня — это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады за окнами Мариуса и Козетты трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны — белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях дерев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны,— Мариус сказал Козетте:

— Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными.

И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетили этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних.

— Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались,— сказал ему Баск.

Жан Вальжан молча сел и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.

Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.

— Как вы добрались туда? — спросил ее Жан Вальжан.

— Пешком.

■ — В наемной карете. С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос: — Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты. — Не знаю, — отвечала Козетта. — Вот и Тусен тоже, — продолжал Жан Вальжан. — Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего? — Нам достаточно Николетты. — Но вам, баронесса, нужна камеристка. — А разве у меня нет Мариуса? — Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего такого, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство много прибавляет к счастью. Козетта ничего не ответила. Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне. Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые тома. Таким способом Жану Вальжану удавалось посидеть подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее было так отрадно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить: — Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано. В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости. Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, которое пришло в голову Мариуса? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который 758

— В наемной карете.

С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:

— Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.

— Не знаю,— отвечала Козетта.

— Вот и Тусен тоже,— продолжал Жан Вальжан.— Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?

— Нам достаточно Николетты.

— Но вам, баронесса, нужна камеристка.

— А разве у меня нет Мариуса?

— Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего такого, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство много прибавляет к счастью.

Козетта ничего не ответила.

Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.

Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые тома. Таким способом Жану Вальжану удавалось посидеть подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее было так отрадно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить:

— Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано.

В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.

Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, которое пришло в голову Мариуса? Не был

упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку? Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! — подумал он. — Огня нет». И успокоил себя таким объяснением: «Вполне понятно. Холода кончились». — Бог ты мой, как здесь холодно! — воскликнула Козетта входя. — Да нет, нисколько,— возразил Жан Вальжан. — Значит, это вы запретили Баску развести огонь? — Да. Ведь уже май на дворе. — Но печи топят до июня! А этот погреб надо отапливать круглый год. — Я подумал, что не к чему разжигать камин. — Это опять одна из ваших выдумок! — возмутилась Козетта. На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены в другой конец залы, к самым дверям. «Что это означает?» — подумал Жан Вальжан. Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина. Зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила: — Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь. — Что такое? — Он сказал: «Козетта! У нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» «Конечно, — сказала я, — пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай». Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений, но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью и, вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз. Его обуревали мучительные мысли. Было ясно, что 759

упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?

Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как!— подумал он.— Огня нет». И успокоил себя таким объяснением: «Вполне понятно. Холода кончились».

— Бог ты мой, как здесь холодно! — воскликнула Козетта входя.

— Да нет, нисколько,— возразил Жан Вальжан.

— Значит, это вы запретили Баску развести огонь?

— Да. Ведь уже май на дворе.

— Но печи топят до июня! А этот погреб надо отапливать круглый год.

— Я подумал, что не к чему разжигать камин.

— Это опять одна из ваших выдумок! — возмутилась Козетта.

На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены в другой конец залы, к самым дверям.

«Что это означает?» — подумал Жан Вальжан.

Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.

Зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:

— Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.

— Что такое?

— Он сказал: «Козетта! У нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» «Конечно,— сказала я,— пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».

Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений, но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью и, вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.

Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть он даже открыл, что деньги принадлежат Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством? Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому. На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула. — Вот как! — вскричала Козетта входя. — Кресел нет! Куда же девались кресла? — Их больше нет, — отвечал Жан Вальжан. — Ну это уж чересчур! Жан Вальжан пробормотал: — Это я велел Баску убрать их. — Но почему же? — Сегодня я останусь всего на несколько минут. — Прийти ненадолго — не значит все время стоять. — Баску как будто понадобились кресла для гостиной. — Зачем? — Вероятно, вы ждете вечером гостей. — Мы никого не ждем. Жан Вальжан не мог вымолвить ни слова. Козетта пожала плечами. — Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный! — Прощайте! — прошептал Жан Вальжан. Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня». Он вышел подавленный. На этот раз он понял. На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером. — Что это? — сказала она. — Господин Жан не пришел сегодня? Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем. Жан Вальжан не пришел и назавтра. Козетта не обратила на это внимания, провела ве760

Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть он даже открыл, что деньги принадлежат Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством?

Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.

На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.

— Вот как! — вскричала Козетта входя.— Кресел нет! Куда же девались кресла?

— Их больше нет,— отвечал Жан Вальжан.

— Ну это уж чересчур!

Жан Вальжан пробормотал:

— Это я велел Баску убрать их.

— Но почему же?

— Сегодня я останусь всего на несколько минут.

— Прийти ненадолго — не значит все время стоять.

— Баску как будто понадобились кресла для гостиной.

— Зачем?

— Вероятно, вы ждете вечером гостей.

— Мы никого не ждем.

Жан Вальжан не мог вымолвить ни слова.

Козетта пожала плечами.

— Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!

— Прощайте! — прошептал Жан Вальжан.

Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».

Он вышел подавленный.

На этот раз он понял.

На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.

— Что это? — сказала она.— Господин Жан не пришел сегодня?

Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.

Жан Вальжан не пришел и назавтра.

чер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают. Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне».— «Я не приходил целых два дня», — кротко поправил ее Жан Вальжан. Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте. Глава четвертая ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Маре, лавочники и ротозеи, слонявшиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который каждый день в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи. Здесь он замедлял шаги и брел, вытянув голову, ничего не видя и не слыша, устремив взгляд в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, выражение лица становилось умиленным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался жалкой, бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Казалось, он стремился к некоей цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко к ней. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось

чер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.

Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне».— «Я не приходил целых два дня»,— кротко поправил ее Жан Вальжан.

Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.

Глава четвертая

ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛКИВАНИЕ

В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Маре, лавочники и ротозеи, слонявшиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который каждый день в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи.

Здесь он замедлял шаги и брел, вытянув голову, ничего не видя и не слыша, устремив взгляд в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, выражение лица становилось умиленным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался жалкой, бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Казалось, он стремился к некоей цели и вместе с тем боял-

всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних, здесь он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на тоску по недостижимому, на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал их горький вкус. Он стоял несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал. Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи: иногда немного дальше, иногда чуть-чуть ближе. Как-то раз он остался на углу Нивы св. Екатерины и посмотрел издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой, как бы отказываясь от чего-то, повернул обратно. Вскоре он перестал доходить даже до улицы СенЛуи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче перед тем, как остановиться. Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шел тем же путем, но не доходил до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и уже не загорались. Слезы иссякли, глубоко запавшие глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но не раскрывал его. Кумушки говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.

всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних, здесь он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на тоску по недостижимому, на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал их горький вкус. Он стоял несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал.

Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи: иногда немного дальше, иногда чуть-чуть ближе. Как-то раз он остался на углу Нивы св. Екатерины и посмотрел издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой, как бы отказываясь от чего-то, повернул обратно.

Вскоре он перестал доходить даже до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче перед тем, как остановиться.

Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шел тем же путем, но не доходил до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и уже не загорались. Слезы иссякли, глубоко запавшие глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но

Книга девятая НЕПРОГЛЯДНЫЙ МРАК, ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯ Глава первая БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ К НЕСЧАСТНЫМ, БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЫ К СЧАСТЛИВЫМ!

Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, — этой ложной жизненной цели, — о цели истинной — долге! Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса. Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше чем исчезновение из памяти, — это было полное ее затмение. Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведе763

Книга девятая

НЕПРОГЛЯДНЫЙ МРАК, ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯ

Глава первая

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ К НЕСЧАСТНЫМ, БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЫ К СЧАСТЛИВЫМ!

Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья,— этой ложной жизненной цели,— о цели истинной — долге!

Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.

Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше чем исчезновение из памяти,— это было полное ее затмение.

Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим до-

ні!Я, хотя и не искал их. В сущности, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался. Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и ее обвинять было бы жестоко. Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, — в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины, душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты. Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону. Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, — успокаивал ее Мариус. — Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, — думала Козетта. — У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два-три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся. Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус. 764

ния, хотя и не искал их. В сущности, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.

Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и ее обвинять было бы жестоко.

Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус,— в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины, душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты.

Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.

Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже,— успокаивал ее Мариус.— Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда,— думала Козетта.— У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два-три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.

Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не

Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон, Мариус возил Козетту на могилу своего отца. Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому. В конце концов то, что нередко слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие — к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и естественное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно усиливается, как при всяком росте. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость идет к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики — равнодушием могилы. Не станем обвинять бедных детей. Глава вторая ПОСЛЕДНИЕ ВСПЫШКИ СВЕТИЛЬНИКА, В КОТОРОМ ИССЯКЛО МАСЛО Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели. Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, — немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, — заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула: — Да вы не ели вчера, голубчик! — Я поел, — возразил Жан Вальжан. — Тарелка-то ведь полна! — Взгляните на кружку с водой. Она пуста. — Это значит, что вы пили, но не ели. 765

Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон, Мариус возил Козетту на могилу своего отца.

Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому.

В конце концов то, что нередко слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие — к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и естественное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно усиливается, как при всяком росте. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость идет к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики — равнодушием могилы. Не станем обвинять бедных детей.

Глава вторая

ПОСЛЕДНИЕ ВСПЫШКИ СВЕТИЛЬНИКА, В КОТОРОМ ИССЯКЛО МАСЛО

Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.

Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак,— немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом,— заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:

— Да вы не ели вчера, голубчик!

— Я поел,— возразил Жан Вальжан.

— Тарелка-то ведь полна!

— Что же делать, если мне хотелось только воды? — сказал Жан Вальжан. — Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой. — Я поем завтра. — А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой! Такая вкусная лапша! Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково: — Обещаю вам попробовать. — Я сердита на вас,— молвила привратница. Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном, из таких домов жил Жан Вальжан. В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой! Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели. — Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, — говорила привратница своему мужу. — Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж. Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства: — Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет. — А если позовет? — Тоже помрет, — изрек муж. Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар». — Экая жалость! Такой славный старичок! Беленький, как цыпленок,— бормотала она, выдергивая траву,

— Что же делать, если мне хотелось только воды?— сказал Жан Вальжан.

— Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.

— Я поем завтра.

— А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!

Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:

— Обещаю вам попробовать.

— Я сердита на вас,— молвила привратница.

Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.

В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой!

Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели.

— Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет,— говорила привратница своему мужу.— Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.

Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:

— Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.

— А если позовет?

— Тоже помрет,— изрек муж.

Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».

— Экая жалость! Такой славный старичок! Бе-

В конце улицы она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному. — Это на третьем этаже, — сказала она. — Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок не встает с постели. Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним. Когда он спустился вниз, привратница начала допрос: — Ну как, доктор? — Ваш больной очень плох. — А что у него? — Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают. — Что ж он вам сказал? — Он сказал, что чувствует себя хорошо. — Вы еще придете, доктор? — Приду, — сказал врач, — но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой. Глава третья ПЕРО КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ ТЯЖЕЛЫМ ТОМУ, КТО ПОДНИМАЛ ТЕЛЕГУ ФОШЛЕВАНА Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот. С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах. Он открыл сундучок и вынул из него детское приданое Козетты. Он разложил его на постели. На камине, на обычном месте, стояли подсвечники 767

В конце улицы она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.

— Это на третьем этаже,— сказала она.— Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок не встает с постели.

Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним.

Когда он спустился вниз, привратница начала допрос:

— Ну как, доктор?

— Ваш больной очень плох.

— А что у него?

— Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают.

— Что ж он вам сказал?

— Он сказал, что чувствует себя хорошо.

— Вы еще придете, доктор?

— Приду,— сказал врач,— но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой.

Глава третья

ПЕРО КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ ТЯЖЕЛЫМ ТОМУ, КТО ПОДНИМАЛ ТЕЛЕГУ ФОШЛЕВАНА

Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.

С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.

Он открыл сундучок и вынул из него детское приданое Козетты.

Он разложил его на постели.

епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник. Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в последних тяжких усилиях. Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса, — здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии — жертву несправедливого рока. Он дошел до ^такого состояния, до той последней степени изнеможёния, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния. Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу. И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток. Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все свои бесценные сокровища. Он мог любоваться так часами, которые казались ему минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, как

епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник.

Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в последних тяжких усилиях.

Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса,— здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии — жертву несправедливого рока.

Он дошел до такого состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.

Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.

И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.

Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все свои бесценные сокровища.

Он мог любоваться так часами, которые казались

его охватывает холод; облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо. Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он отирал со лба пот. Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они: «Козетта! Благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси! Всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта! Здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным — для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат...» Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался. «О! — вскричал он мысленно (это была жалоба, услышанная только богом). — Все кончено! Я больше не увижу ее. Это улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на 25. «Отверженные», т. 2. 769

его охватывает холод; облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.

Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он отирал со лба пот.

Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:

«Козетта! Благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси! Всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта! Здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным — для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат...»

Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.

«О! — вскричал он мысленно (это была жалоба, услышанная только богом).— Все кончено! Я больше не увижу ее. Это улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг

нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!» В эту минуту в дверь постучались. Г лава четвертая УШАТ ГРЯЗИ, КОТОРЫЙ МОГ ЛИШЬ ОБЕЛИТЬ В этот самый день, точнее в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо и сказал: — Господин, который принес это письмо, ожидает в передней. Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду. Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода. Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел: «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса. Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное — это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета. Итак — странный каприз судьбы! — один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в рукй. Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел: 770

нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»

В эту минуту в дверь постучались.

Глава четвертая

УШАТ ГРЯЗИ, КОТОРЫЙ МОГ ЛИШЬ ОБЕЛИТЬ

В этот самый день, точнее в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо и сказал:

— Господин, который принес это письмо, ожидает в передней.

Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.

Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.

Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел: «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса.

Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное — это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.

Итак — странный каприз судьбы! — один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он пот-

«Господин барон, Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет. Я ажидаю в пиредней приказаний господина барона. С почтением». Письмо было подписано «Тенар». Подпись была не вымышленной. Только несколько укороченной. Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению. Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло. Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, — того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь. — Попросите войти,— сказал Мариус. Баск доложил: — Господин Тенар. В комнату вошел человек. Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком. У этого человека, впрочем тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей, подобно парику кучера из ари771

«Господин барон,

Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет.

Я ажидаю в пиредней приказаний господина барона.

С почтением».

Письмо было подписано *«Тенар»*.

Подпись была не вымышленной. Только несколько укороченной.

Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению. Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.

Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц,— того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать.

Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.

— Попросите войти,— сказал Мариус.

Баск доложил:

— Господин Тенар.

В комнату вошел человек.

Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.

У этого человека, впрочем тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей, подобно парику кучера на ари-

стократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина. Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление. В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому прохвосту вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, — в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался «Менялой»; этим именем окрестили его парижские жулики — его настоящего имени никто не знал. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано на все вкусы. Оно отражало разные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке — мундир отставного военного, дальше — костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик был костюмером бесконечной драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно; Меняла оказывал полное доверие ворам и никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на 772

стократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.

Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.

В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому прохвосту вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется,— в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался «Менялой»; этим именем окрестили его парижские жулики — его настоящего имени никто не знал. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано на все вкусы. Оно отражало разные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке — мундир отставного военного, дальше — костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик был костюмером бесконечной драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно; Меняла оказывал полное доверие ворам и никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их но-

других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь среднего роста и объема людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одеяние государственного деятеля, например, — черное снизу доверху, и следовательно, вполне пристойное, — было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы следующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, можно сказать, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось чтото вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее обстоятельство не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице. Если бы Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы. Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, пёрешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус сухо спросил: — Что вам угодно? Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила: 773

других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь среднего роста и объема людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одеяние государственного деятеля, например,— черное снизу доверху, и следовательно, вполне пристойное,— было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы следующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, можно сказать, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее обстоятельство не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.

Если бы Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.

Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус сухо спросил:

— Что вам угодно?

Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая

— Мне кажется просто невероятным, что я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции. Притвориться, что узнаёшь человека, которого вовсе не знаешь, — излюбленный прием мошенников. Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Разочарование возрастало: у посетителя был гнусавый голос, нисколько не похожий на тот резкий, жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку. — Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре,— сказал он.— Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов. Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном: — В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище... не пропустить ли нам по стаканчику?» Выражение лица Мариуса становилось все более суровым. — Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно? На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном. — Господин барон! Соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его — внутренний двор, где хранятся продовольствие и боевые припасы. Окон нет — только бойницы, дверей нет — только лестницы; для подъема на первую площадку — приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор — лестницы; вместо дверей в комнатах — люки, вместо обыкновенных лестниц — приставные. Ночью люки запирают, лестницы 774

— Мне кажется просто невероятным, что я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.

Притвориться, что узнаёшь человека, которого вовсе не знаешь,— излюбленный прием мошенников.

Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Разочарование возрастало: у посетителя был гнусавый голос, нисколько не похожий на тот резкий, жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.

— Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре,— сказал он.— Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.

Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:

— В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище... не пропустить ли нам по стаканчику?»

Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.

— Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?

На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.

— Господин барон! Соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его — внутренний двор, где хранятся продовольствие и боевые припасы. Окон нет — только бойницы, дверей нет — только лестницы; для подъема на первую площадку — приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор — лестницы; вместо дверей в комнатах — люки, вместо обыкновенных лест-

убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью — крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому, что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота. — К чему вы клоните? — прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением. — Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей. — Дальше что? — Господин барон! Миром управляет эгоизм: Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода — вот конечная цель людей. Золото — вот магнит. — Дальше что? Договаривайте. — Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег. — Какое мне до этого дело? — спросил Мариус. Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью: — Разве господин барон не прочел моего письма? Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад у него родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы любой судебный следователь. Он словно прощупывал этого человека. — Говорите яснее, — сказал он. Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины и тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки. 775

убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью — крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому, что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.

— К чему вы клоните? — прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.

— Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.

— Дальше что?

— Господин барон! Миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода — вот конечная цель людей. Золото — вот магнит.

— Дальше что? Договаривайте.

— Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.

— Какое мне до этого дело? — спросил Мариус.

Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:

— Разве господин барон не прочел моего письма?

Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад у него родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы любой судебный следователь. Он словно прощупывал этого человека.

— Говорите яснее,— сказал он.

Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины и тоже свер-

— Хорошо, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну. — Тайну? - Да. — Она касается меня? — Да, отчасти. — Что это за тайна? Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался. — Вступление я сделаю бесплатно, — сказал неизвестный. — Оно вас заинтересует, вот увидите. — Говорите. — Господин барон! У вас в доме живет вор и убийца. Мариус вздрогнул. — В моем доме? Нет, — сказал он. Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо: — Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом — раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно. — Я слушаю. — Его зовут Жан Вальжан. — Я это знаю. — Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой. — Говорите. — Он беглый каторжник. — Я это знаю. — Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить. — Нет. Я знал об этом раньше. Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, но тут же притушил его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозмож* но забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в 776

— Хорошо, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.

— Тайну?

— Да.

— Она касается меня?

— Да, отчасти.

— Что это за тайна?

Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.

— Вступление я сделаю бесплатно,— сказал неизвестный.—Оно вас заинтересует, вот увидите.

— Говорите.

— Господин барон! У вас в доме живет вор и убийца.

Мариус вздрогнул.

— В моем доме? Нет, — сказал он.

Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:

— Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом — раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.

— Я слушаю.

— Его зовут Жан Вальжан.

— Я это знаю.

— Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.

— Говорите.

— Он беглый каторжник.

— Я это знаю.

— Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.

— Нет. Я знал об этом раньше.

Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, но тут же притушил его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозмож-

низких душах; им вспыхивают зрачки — эти оконца мысли; даже очки ничего не скроют, — попробуйте загородить стеклом преисподнюю. Неизвестный возразил, улыбаясь: — Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно лишь мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков. — Мне известна эта тайна так же, как и другие, — сказал Мариус. Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену. — Господин барон! Выложите десять тысяч франков, и я ее открою. — Повторяю: вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать. В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал: — Но надо же мне пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон! Я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков. Мариус пристально посмотрел на него. — Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя. — Мое имя? - Да. — Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар. — ...дье. — Как? — Тенардье. — Это кто такой? В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре, а этот человек разразился смехом. Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука. Мариус продолжал: — Вы также рабочий Жондрет, комический актер 777

низких душах; им вспыхивают зрачки — эти оконца мысли; даже очки ничего не скроют,— попробуйте загородить стеклом преисподнюю.

Неизвестный возразил, улыбаясь:

— Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно лишь мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.

— Мне известна эта тайна так же, как и другие,— сказал Мариус.

Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.

— Господин барон! Выложите десять тысяч франков, и я ее открою.

— Повторяю: вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.

В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:

— Но надо же мне пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон! Я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.

Мариус пристально посмотрел на него.

— Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.

— Мое имя?

— Да.

— Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.

— ...дье.

— Как?

— Тенардье.

— Это кто такой?

В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре, а этот человек разразился смехом.

Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.

Мариус продолжал:

Фабакту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар. — Тетушка? Что такое? — И у вас была харчевня в Монфермейле. — Харчевня? Никогда. — Я говорю вам, что вы Тенардье. — Я это отрицаю. — И что вы негодяй. Берите! Вынув из кармана банковый билет, Мариус швырнул его в лицо незнакомцу. — Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон! Пораженный, продолжая кланяться, незнакомец подхватил билет и осмотрел его. — Пятьсот франков! — повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал:— Солидный куш! — Ладно, была не была! — воскликнул он внезапно. — Ну-ка, вздохнем посвободней. С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав кудато две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, — читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги,— этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу. Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника. — Господин барон весьма проницателен. — Я Тенардье, — сказал он резким, без малейшего следа гнусавости голосом и выпрямил свою сгорбленную спину. Тенардье, — ибо, конечно, это был он, — не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности. Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой велйко778

Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.

— Тетушка? Что такое?

— И у вас была харчевня в Монфермейле.

— Харчевня? Никогда.

— Я говорю вам, что вы Тенардье.

— Я это отрицаю.

— И что вы негодяй. Берите!

Вынув из кармана банковый билет, Мариус швырнул его в лицо незнакомцу.

— Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!

Пораженный, продолжая кланяться, незнакомец подхватил билет и осмотрел его.

— Пятьсот франков!— повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал:— Солидный куш!

— Ладно, была не была!— воскликнул он внезапно.— Ну-ка, вздохнем посвободней.

С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали,— читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги,— этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.

Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.

— Господин барон весьма проницателен.— Я Тенардье,— сказал он резким, без малейшего следа гнусавости голосом и выпрямил свою сгорбленную спину.

Тенардье,— ибо, конечно, это был он,— не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в кур-

душный, который, зная имена людей, — даже все их клички, — вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля? Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, что дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между Мариусом и г-ном бароном Понмерси. Что же до имени Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога — «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности. Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, — история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что получше. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь нарваться на удар сапогом в зад. С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт, однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим 779

душный, который, зная имена людей,— даже все их клички,— вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?

Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, что дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между Мариусом и г-ном бароном Понмерси.

Что же до имени Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога — «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.

Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная,— история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что получше. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь нарваться на удар сапогом в зад.

С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт, однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане.

бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор — сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов «Я Тенардье» выжидающе замолчал. Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце. Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что именно он разведал, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус. Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд. — Тенардье! Я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера. — Что-то не пойму, господин барон, — сказал Тенардье. — Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале около тысяча восемьсот двадцать второго года жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, ис780

бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор — сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов «Я Тенардье» выжидающе замолчал.

Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.

Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что именно он разведал, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.

Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.

— Тенардье! Я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.

— Что-то не пойму, господин барон,— сказал Тенардье.

— Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале около тысяча восемьсот двадцать второго года жил человек, который в прошлом был не в ладах с право-

правился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но уже потом и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита — я знаю это со слов кассира— по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал. Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд; он был уверен, что вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать утраченные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся: низшему надлежит сохранять смирение даже одержав победу, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу: — Вы на ложном пути, господин барон. Он подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков. — Как?— возразил Мариус. — Вы станете это оспаривать? Но это факты. — Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон! Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера. — Вот это, я понимаю, открытие! Как же так? — Я могу привести два довода. — Какие же? Говорите! — Вот вам первый: он не обокрал господина Мад«. 781

правился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но уже потом и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита — я знаю это со слов кассира—по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.

Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд; он был уверен, что вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать утраченные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся: низшему надлежит сохранять смирение даже одержав победу, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:

— Вы на ложном пути, господин барон.

Он подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.

— Как?— возразил Мариус.— Вы станете это оспаривать? Но это факты.

— Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон! Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера.

— Вот это, я понимаю, открытие! Как же так?

Я могу привести два довода.

лена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен. — Что за вздор вы мелете? — А вот и второй: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер. — Что вы хотите сказать? — Что Жавер покончил самоубийством. — Докажите! Докажите! — вне себя вскричал Мариус. Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал: — Жавер-агент-полиции-найден-утонувшим-подбаркой-у-моста-Менял. — Докажите же! Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого разного формата. — Вот мои документы, — сказал он гордо и продолжал: — Господин барон! В ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен — одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать — мои доказательства напечатаны. С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком. Одна из этих газет, протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая. — Два дела, два доказательства, — заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты. Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер Белого знамени от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, Монитер от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде, на улице Шанврери, был обязан 782

лена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.

— Что за вздор вы мелете?

— А вот и второй: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.

— Что вы хотите сказать?

— Что Жавер покончил самоубийством.

— Докажите! Докажите!— вне себя вскричал Мариус.

Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:

— Жавер-агент-полиции-найден-утонувшим-подбаркой-у-моста-Менял.

— Докажите же!

Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого разного формата.

— Вот мои документы,— сказал он гордо и продолжал:—Господин барон! В ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен — одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать—мои доказательства напечатаны.

С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.

Одна из этих газет, протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.

— Два дела, два доказательства,—заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.

Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер *Белого знамени* от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, *Монитер* от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в

своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб. Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства. Не могли же два номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения россказней Тенардье! Заметка, опубликованная в Монитере, являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не осталось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выступил из мрака. Мариус не мог сдержать радостный крик: — Но, значит, этот несчастный — превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен — провидение целого края! Это Жан Вальжан — спаситель Жавера! Это герой! Это святой! — Он не святой и не герой. Он убийца и вор, — сказал Тенардье и тоном человека, который начинает чувствовать свой вес, прибавил: — Спокойствие! Мариус снова услыхал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено: его как будто окатили ледяной водой. — Опять! — воскликнул он. — Да, опять, — сказал Тенардье. — Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца. — Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели? — Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню, — это, что ни говори, ловкая штука. 783

своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.

Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства. Не могли же два номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения россказней Тенардье! Заметка, опубликованная в *Монитере,* являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не осталось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выступил из мрака. Мариус не мог сдержать радостный крик:

— Но, значит, этот несчастный—превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен — провидение целого края! Это Жан Вальжан — спаситель Жавера! Это герой! Это святой!

— Он не святой и не герой. Он убийца и вор,—сказал Тенардье и тоном человека, который начинает чувствовать свой вес, прибавил:— Спокойствие!

Мариус снова услыхал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено: его как будто окатили ледяной водой.

— Опять!— воскликнул он.

— Да, опять,—сказал Тенардье.— Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.

— Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?

— Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться пло-

— Я мог бы прервать вас здесь,— заметил Мариус, — однако продолжайте. — Господин барон! Я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» — спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть. Мариус сел сам и подал ему знак сесть. Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по Белому знамени: — Не так-то легко было заполучить эту бумажонку. Потом, заложив нога за ногу и откинувшись на спинку стула, — поза, свойственная людям, уверенным в себе, — он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова: — Господин барон! Шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом. Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов: — Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю: это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это были шаги; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело! В водостоке, кроме него, оказался еще один человек. 784

— Я мог бы прервать вас здесь,— заметил Мариус,— однако продолжайте.

— Господин барон! Я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?»— спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.

Мариус сел сам и подал ему знак сесть.

Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по *Белому знамени:*

— Не так-то легко было заполучить эту бумажонку.

Потом, заложив нога за ногу и откинувшись на спинку стула,—поза, свойственная людям, уверенным в себе,—он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:

— Господин барон! Шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.

Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов:

— Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю: это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это были шаги; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело!

Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Ну, а насчет ограбления, то это само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым. Мариус придвинул стул еще ближе, Тенардье воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем продолжал: — Господин барон! Клоака — не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник — человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, — средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитой© в-реку. 785

Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Ну, а насчет ограбления, то это само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.

Мариус придвинул стул еще ближе, Тенардье воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем продолжал:

— Господин барон! Клоака—не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник — человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли,— средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свиде-

Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья... Не закончив фразу, Тенардье достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна. Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, бледный как смерть, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его. растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардье. Между тем Тенардье продолжал: — Господин барон! У меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку. — Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! — вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук. Выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука кусок сукна. Тот кусок пришелся к месту, и теперь пола казалась целой. Тенардье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!» Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаяньем и радостью Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковыми и тысячефранковыми билетами. —Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий! 786

Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья...

Не закончив фразу, Тенардье достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.

Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, бледный как смерть, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардье.

Между тем Тенардье продолжал:

— Господин барон! У меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.

— Этот молодой человек был я, а вот и сюртук!— вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук.

Выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука кусок сукна. Тот кусок пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.

Тенардье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!»

Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаяньем и радостью

Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковыми и тысячефранковыми билетами.

—Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас

Он швырнул Тенардье тысячефранковый билет. — А, Жондрет-Тенардье, подлый плут! Пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, гробокопатель, презренный негодяй! Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо. — Ватерлоо? — проворчал пораженный Тенардье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков. — Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику... — Генералу,— поправил Тенардье, вздернув голову. — Полковнику! — запальчиво крикнул Мариус. — ■ За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других! Нет преступления, какого бы вы не совершили. Уходите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы — вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, бессовестный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте! — Господин барон! — сказал Жондрет, поклонившись до земли. — Я век буду вам благодарен. Он вышел, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный отрадным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданно разразившейся грозой, осыпавшей его банковыми билетами. Правда, он был повержен, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз. Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Подлость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Дурному человеку достаточно иметь касательство к доброму делу, чтобы все погубить, обратив добро во зло. На день-, ги Мариуса Тенардье стал работорговцем. 787

Он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.

— А, Жондрет-Тенардье, подлый плут! Пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, гробокопатель, презренный негодяй! Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.

— Ватерлоо?— проворчал пораженный Тенардье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.

— Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику...

— Генералу,— поправил Тенардье, вздернув голову.

— Полковнику!— запальчиво крикнул Мариус.— За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других! Нет преступления, какого бы вы не совершили. Уходите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы—вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, бессовестный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!

— Господин барон!— сказал Жондрет, поклонившись до земли.— Я век буду вам благодарен.

Он вышел, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный отрадным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданно разразившейся грозой, осыпавшей его банковыми билетами.

Правда, он был повержен, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.

Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Подлость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Дурному человеку достаточно иметь касательство к доброму де-

Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта. — Козетта! Козетта! — закричал он. — Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль. Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась. Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту. — Ах, Козетта! Какой я негодяй! — твердил он. Мариус потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, образ высокий и кроткий, смиренный при всем его величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в своих чувствах — он знал только, что увидел нечто великое. Спустя минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро сел сам. — Живей! — сказал он кучеру. — Улица Вооруженного человека, дом семь. Фиакр покатился. — Ах, какое счастье! — воскликнула Козетта. — Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану. — К твоему отцу! Он теперь больше чем когда-либо твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание — быть ангелом-хранителем, поэтому он спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта! Он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная трясина, где можно было сто раз утонуть. Слышишь, Козетта? Утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем 788

Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.

— Козетта! Козетта! — закричал он.— Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.

Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.

Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту.

— Ах, Козетта! Какой я негодяй! — твердил он.

Мариус потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, образ высокий и кроткий, смиренный при всем его величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в своих чувствах — он знал только, что увидел нечто великое.

Спустя минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро сел сам.

— Живей! — сказал он кучеру.— Улица Вооруженного человека, дом семь.

Фиакр покатился.

— Ах, какое счастье! — воскликнула Козетта.— Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.

— К твоему отцу! Он теперь больше чем когда-либо твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание — быть ангелом-хранителем, поэтому он спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта! Он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная трясина, где можно было сто раз утонуть. Слышишь, Козетта? Утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ни-

с собой, и, хочет не хочет, больше он с нами не разлучится. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца моих дней. Да, Козетта, видишь ли, все именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь? Козетта ничего не понимала. — Ты прав, — сказала она. Экипаж катился вперед. Глава пятая НОЧЬ, ЗА КОТОРОЙ БРЕЗЖИТ ДЕНЬ Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся. — Войдите, — сказал он слабым голосом. Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и МариусКозетта бросилась в комнату. Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери. — Козетта! — произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре. Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана. — Отец! — сказала она. Жан Вальжан, потрясенный, невнятно повторял: — Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! — И, ощутив объятия Козетты вскричал: — Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь! Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания: — Отец мой! — И вы, и вы тоже прощаете меня! — сказал Жан Вальжан. Мариус не мог вымолвить ни слова. — Благодарю вас, — добавил Жан Вальжан. Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать шляпку. — Мне это мешает, — сказала она. Усевшись на колени к старику, она осторожно откинула его седые волосы и поцеловала в лоб. 789

с собой, и, хочет не хочет, больше он с нами не разлучится. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца моих дней. Да, Козетта, видишь ли, все именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?

Козетта ничего не понимала.

— Ты прав,— сказала она.

Экипаж катился вперед.

Глава пятая

НОЧЬ, ЗА КОТОРОЙ БРЕЗЖИТ ДЕНЬ

Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.

— Войдите,— сказал он слабым голосом.

Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.

Козетта бросилась в комнату.

Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.

— Козетта! — произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре.

Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.

— Отец! — сказала она.

Жан Вальжан, потрясенный, невнятно повторял:

— Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! — И, ощутив объятия Козетты вскричал:— Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!

Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:

— Отец мой!

— И вы, и вы тоже прощаете меня! — сказал Жан Вальжан.

Мариус не мог вымолвить ни слова.

— Благодарю вас,— добавил Жан Вальжан.

Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать шляпку.

— Мне это мешает,— сказала она.

Усевшись на колени к старику, она осторожно отки-

Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился. Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта усилила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса. Жан Вальжан шептал: — Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек узнает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен! Он замолк на мгновение, потом продолжал: — Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хотя бы на миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглодать косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Слава богу, я снова вижу ее! Знаешь, Козетта, у тебя очень красивый муж. Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси! Позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго. А Козетта журила его: — Как дурно с вашей стороны, что вы нас покинули! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех-четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали! Посмотри, Мариус, тронь его руку, какая она холодная! — Итак, вы пришли! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? — повторил Жан Вальжан. 790

Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился.

Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта усилила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.

Жан Вальжан шептал:

— Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек узнает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!

Он замолк на мгновение, потом продолжал:

— Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хотя бы на миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглодать косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Слава богу, я снова вижу ее! Знаешь, Козетта, у тебя очень красивый муж. Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси! Позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.

А Козетта журила его:

— Как дурно с вашей стороны, что вы нас покинули! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех-четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали! Посмотри, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!

Итак, вы пришли! Значит, вы меня прощаете

При этих словах, сказанных Жаном Сальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, и он вскричал: — Слышишь, Козетта? Он опять о том же, он все просит у меня прощения! А знаешь, чем он виноват передо мной, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бес< сердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта! Провести всю мою жизнь у ног этого человека, и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, — через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, оберегая меня от них и подставляя им свою грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, — все в нем! Козетта, он ангел! — Тише, тише! — прошептал Жан Вальжан. — К чему говорить об этом? — Ну, а вы! — вскричал Мариус гневно и вместе с тем почтительно. — Почему вы ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно! — Я сказал правду, — заметил Жан Вальжан. — Нет,— возразил Мариус,— правда — это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого? — Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех. — Чем стеснило? Кого стеснило? — возмутился Мариус.— Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы — одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужас791

При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, и он вскричал:

— Слышишь, Козетта? Он опять о том же, он все просит у меня прощения! А знаешь, чем он виноват передо мной, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта! Провести всю мою жизнь у ног этого человека, и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку,— через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, оберегая меня от них и подставляя им свою грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого,— все в нем! Козетта, он ангел!

— Тише, тише! — прошептал Жан Вальжан.— К чему говорить об этом?

— Ну, а вы! — вскричал Мариус гневно и вместе с тем почтительно.— Почему вы ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно!

— Я сказал правду,— заметил Жан Вальжан.

— Нет,— возразил Мариус,— правда — это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?

— Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.

— Чем стеснило? Кого стеснило? — возмутился Мариус.— Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы —

ном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь. — Завтра, — сказал Жан Вальжан, — меня не будет здесь, но не будет и у вас— Что вы хотите этим сказать? — спросил Мариус.— Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим. — На этот раз уж мы не шутим, — добавила Козетта. — У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу. Смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика. — Ваша комната все еще ожидает вас, — продолжала она. — Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут! Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана»! Мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка! Она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней! Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться. Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы — таинственные жемчужины души — медленно навертывались на его глаза. Он прошептал: — Вот доказательство, что господь милосерд: она здесь. — Отец! — сказала Козетта. Жан Вальжан продолжал: — Правда, как было бы прекрасно жить вместе! На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно быть среди живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого 792

ном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.

— Завтра,— сказал Жан Вальжан,— меня не будет здесь, но не будет и у вас.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Мариус.— Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.

— На этот раз уж мы не шутим,— добавила Козетта.— У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.

Смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.

— Ваша комната все еще ожидает вас,— продолжала она.— Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут! Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана»! Мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка! Она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней! Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.

Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы — таинственные жемчужины души — медленно навертывались на его глаза. Он прошептал:

— Вот доказательство, что господь милосерд: она здесь.

— Отец! — сказала Козетта.

Жан Вальжан продолжал:

— Правда, как было бы прекрасно жить вместе! На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой.

утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня клубникой, я давал бы ей срывать розы. Это было бы восхитительно. Только... Он остановился и тихо сказал: — Как жаль! Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся. Козетта сжала руки старика в своих руках. — Боже мой! — воскликнула она. — Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно? — Я? Нет, — ответил Жан Вальжан, — мне очень хорошо. Только... Он замолчал. — Только что? — Я сейчас умру. Козетта и Мариус содрогнулись. — Умрете? — вскричал Мариус. — Да, но это ничего не значит, — сказал Жан Вальжан. Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова: — Козетта! Ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла. Говори, я хочу слышать твой голос! Мариус глядел на старика, словно окаменев. Козетта испустила душераздирающий вопль: — Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите? Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту. — О да, запрети мне умирать! Кто знает? Быть может, я послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю. — Вы полны жизни и сил! — воскликнул Мариус. — Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, все миновало. Это я должен просить у вас прощенья, и я прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одна мысль — о вашем счастье! — Ну вот, видите, — сказала Козетта вся в слезах, — Мариус тоже говорит, что вы не умрете. Жан Вальжан улыбался. — Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. 793

утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня клубникой, я давал бы ей срывать розы. Это было бы восхитительно. Только...

Он остановился и тихо сказал:

— Как жаль!

Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.

Козетта сжала руки старика в своих руках.

— Боже мой! — воскликнула она.— Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?

— Я? Нет,— ответил Жан Вальжан,— мне очень хорошо. Только...

Он замолчал.

— Только что?

— Я сейчас умру.

Козетта и Мариус содрогнулись.

— Умрете? — вскричал Мариус.

— Да, но это ничего не значит,— сказал Жан Вальжан.

Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:

— Козетта! Ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла. Говори, я хочу слышать твой голос!

Мариус глядел на старика, словно окаменев.

Козетта испустила душераздирающий вопль:

— Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?

Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.

— О да, запрети мне умирать! Кто знает? Быть может, я послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.

— Вы полны жизни и сил! — воскликнул Мариус.— Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, все миновало. Это я должен просить у вас прощенья, и я прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одна мысль — о вашем счастье!

— Ну вот, видите,— сказала Козетта вся в слезах,— Мариус тоже говорит, что вы не умрете.

Жан Вальжан улыбался.

Господь рассудил так же, как я и вы, а он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть — прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души, а я ни на что больше не нужен, я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя поделать, я чувствую, что все кончено. Час назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной. У дверей послышались шаги. Вошел доктор. — Здравствуйте и прощайте, доктор! — сказал Жан Вальжан.— Вот мои бедные дети. Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь...», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос. На этот вопрос доктор ответил выразительным взглядом. — Если нам что-либо не по душе,— молвил Жан Вальжан, — это еще не дает права роптать на бога. Наступило молчание- У всех сжалось сердце. Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он вглядывался в нее так напряженно, словно хотел унести ее образ в вечность. В темной глубине, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения Козеттой. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости. Доктор пощупал ему пульс. — А, так это по вас он тосковал! — проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, тихо добавил: — Слишком поздно. Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно излетели слова: — Умереть — это ничего; ужасно — не жить. Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко бывает признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом он подошел к стене, отстранив Мариуса и врача, желав794

Господь рассудил так же, как я и вы, а он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть — прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души, а я ни на что больше не нужен, я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя поделать, я чувствую, что все кончено. Час назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.

У дверей послышались шаги. Вошел доктор.

— Здравствуйте и прощайте, доктор! — сказал Жан Вальжан.— Вот мои бедные дети.

Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь...», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.

На этот вопрос доктор ответил выразительным взглядом.

— Если нам что-либо не по душе,— молвил Жан Вальжан,— это еще не дает права роптать на бога.

Наступило молчание. У всех сжалось сердце.

Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он вглядывался в нее так напряженно, словно хотел унести ее образ в вечность. В темной глубине, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения Козеттой. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.

Доктор пощупал ему пульс.

— А, так это по вас он тосковал! — проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, тихо добавил: — Слишком поздно.

Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно излетели слова:

— Умереть — это ничего; ужасно — не жить.

Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко бывает

ших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятно произнес: — Вот великий страдалец! Потом плечи его опустились, голова склонилась, словно в забытьи, а сложенные на коленях руки стали царапать ногтями материю. Козетта, поддерживая его за плечи, плакала, пыталась говорить с ним, но не могла. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова: — Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять? Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью. Жан Вальжан оправился после этого полузабытья, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его. — Он оживает! Доктор, он оживает! — вскричал Мариус. — Вы оба так добры! — сказал Жан Вальжан. — Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они правда принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат — из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны. В приоткрытую дверь заглянула привратница. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом: — Не позвать ли священника? — У меня он есть, — ответил Жан Вальжан и поднял палец, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному. 795

ших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятно произнес:

— Вот великий страдалец!

Потом плечи его опустились, голова склонилась, словно в забытьи, а сложенные на коленях руки стали царапать ногтями материю.

Козетта, поддерживая его за плечи, плакала, пыталась говорить с ним, но не могла. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова:

— Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?

Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.

Жан Вальжан оправился после этого полузабытья, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.

— Он оживает! Доктор, он оживает! — вскричал Мариус.

— Вы оба так добры! — сказал Жан Вальжан.— Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они правда принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат — из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.

В приоткрытую дверь заглянула привратница. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:

— Не позвать ли священника?

— У меня он есть,— ответил Жан Вальжан и поднял палец, словно указывая на кого-то над своей го-

Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью. Козетта осторожно подложила ему за спину подушку. Жан Вальжан заговорил снова: — Господин Понмерси! Заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка. Когда умирает дорогое нам существо, мы пристально смотрим на него, стараясь как бы приковать, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием. Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели. Но по мере того как росли слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах. Улыбающееся лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветился некий свет. Дыхание слабело, взгляд становился глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья. Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, — казалось, между ними воздвиглась стена. — Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем осталь796

Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.

Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.

Жан Вальжан заговорил снова:

— Господин Понмерси! Заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.

Когда умирает дорогое нам существо, мы пристально смотрим на него, стараясь как бы приковать, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием.

Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели. Но по мере того как росли слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах.

Улыбающееся лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветился некий свет. Дыхание слабело, взгляд становился глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.

Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека,— казалось, между ними воздвиглась стена.

— Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков

ном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью пользоваться богатством. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто подарил мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои! Не забудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя последняя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня — одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки! Я огорчался, когда она становилась хоть чуточку бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта! Видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы! Все кончено. Не плачьте, дети, я ухожу не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только вглядитесь в темноту — и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта! А ты помнишь Монфермейль? Тебя послали в лес, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла! Помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь! Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала 797

ном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью пользоваться богатством. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто подарил мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои! Не забудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя последняя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня — одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки! Я огорчался, когда она становилась хоть чуточку бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта! Видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы! Все кончено. Не плачьте, дети, я ухожу не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только вглядитесь в темноту — и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта! А ты помнишь Монфермейль? Тебя послали в лес, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла! Помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не мог-

по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И лес, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех — все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем моя глупость. Тенардье были злые люди. Надо им простить, Козетта! Пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо любила тебя. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга — нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. Козетта! Полно! Я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои! У меня темнеет в глазах, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие! Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы. Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки уже похолодели. Он откинулся; его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо; он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв. Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, рядом, во мраке, стоял ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу. 798

по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И лес, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех — все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем моя глупость. Тенардье были злые люди. Надо им простить, Козетта! Пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо любила тебя. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга — нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. Козетта! Полно! Я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои! У меня темнеет в глазах, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие! Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.

Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки уже похолодели.

Он откинулся; его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо; он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.

Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, рядом, во мраке, стоял ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую

Глава шестая ТРАВА СКРЫВАЕТ, ДОЖДЬ СМЫВАЕТ На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы, в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, — трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда сползаются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки. Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и позаботились лишь о том, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека. На камне не вырезано имени. Только много лет назад чья-то рука написала на нем четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись: Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним, Он жил. Но, ангелом покинутый своим, Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед. Как наступает ночь, едва лишь день уйдет. 1862 г.

Глава шестая

ТРАВА СКРЫВАЕТ, ДОЖДЬ СМЫВАЕТ

На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы, в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят,— трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда сползаются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.

Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и позаботились лишь о том, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.

На камне не вырезано имени.

Только много лет назад чья-то рука написала на нем четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись:

Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.

1862 г.

СОДЕРЖАНИЕ j III. МАРИУС (Продолжение) Перевод Н. Эфрос :ть IV. ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ И ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ Перевод К. Л окса) в а я. Несколько страниц истории . . .

Книга вторая. Эпонина 174
Книга третья. Дом на улице Плюме 193
Книга четвертая. Помощь снизу может быть помощью свыше 232
Книга пятая. Конец которой не похож на начало . . 243
Книга шестая. Маленький Гаврош 261
Книга седьмая. Арго 300
Книга восьмая. Чары и печали 326
Книга девятая. Куда они идут? 363
Книга десятая. 5 июня 1832 года 371
Книга одиннадцатая. Атом братается с ураганом . 395
Книга двенадцатая. «Коринф» 408
Книга тринадцатая. Мариус скрывается во мраке . 443
Книга четырнадцатая. Величие отчаяния 455
Книга пятнадцатая. Улица Вооруженного человека . 474

Часть V. ЖАН ВАЛЬЖАН

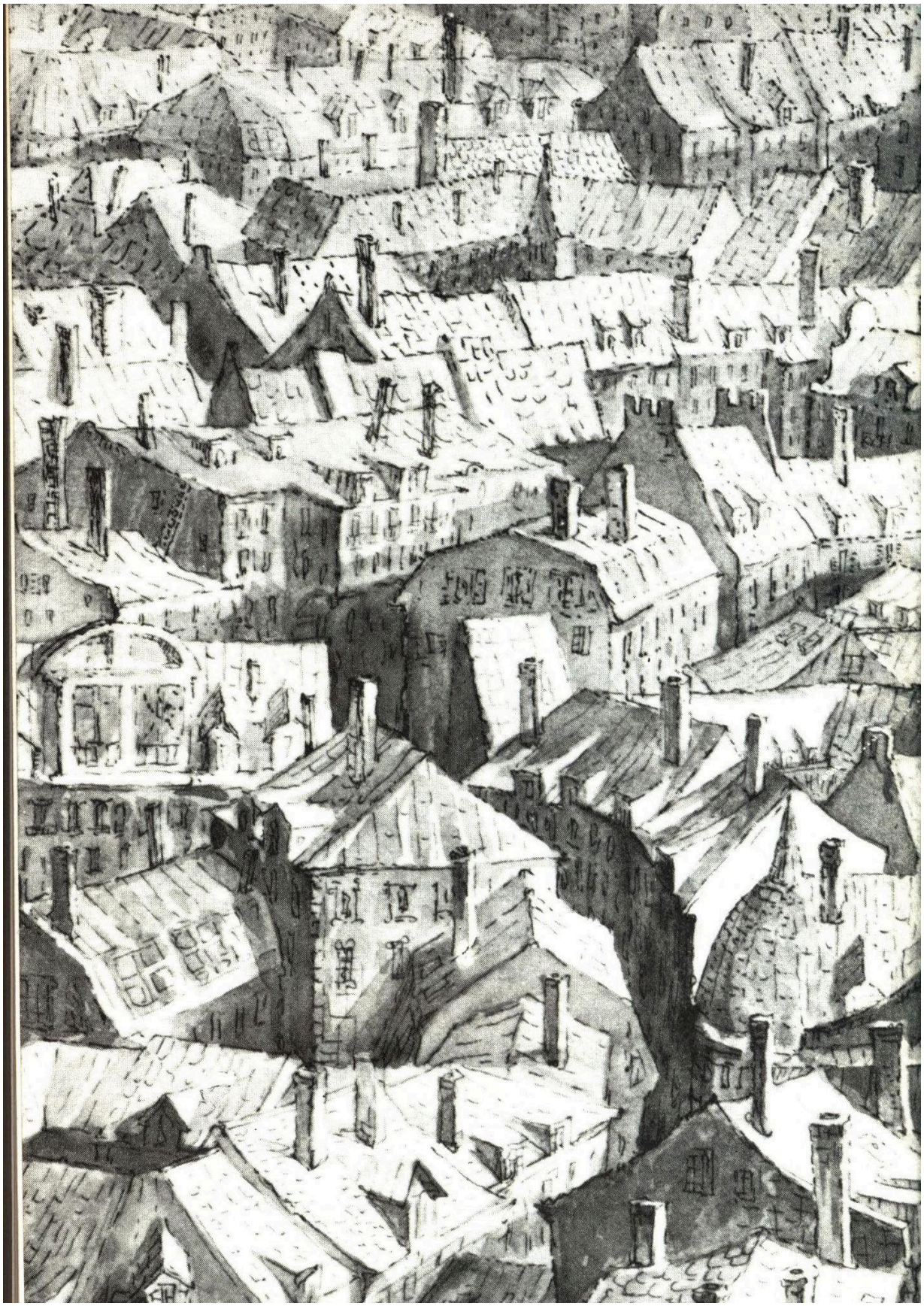
Перевод М. В. Вахтеровой

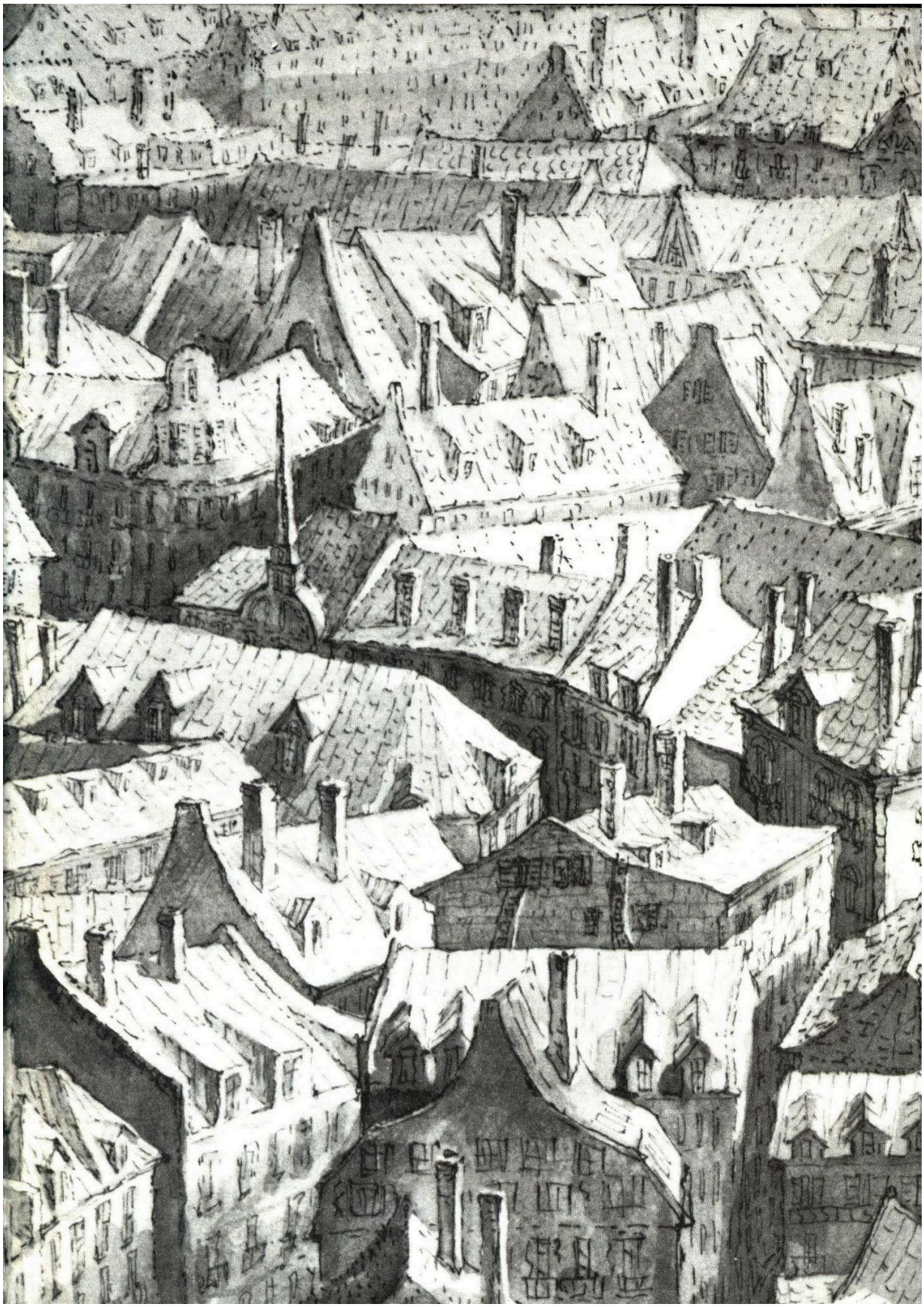
Книга первая. Война в четырех стенах 495
Книга вторая. Утроба Левиафана 584
Книга третья. Грязь, побежденная силой духа 605
Книга четвертая. Жавер сбился с пути 649
Книга пятая. Дед и внук 662
Книга шестая. Бессонная ночь 695
Книга седьмая. Последний глоток из чаши страдания . 722
Книга восьмая. Сумерки сгущаются 749
Книга девятая. Непроглядный мрак, ослепительная заря 763

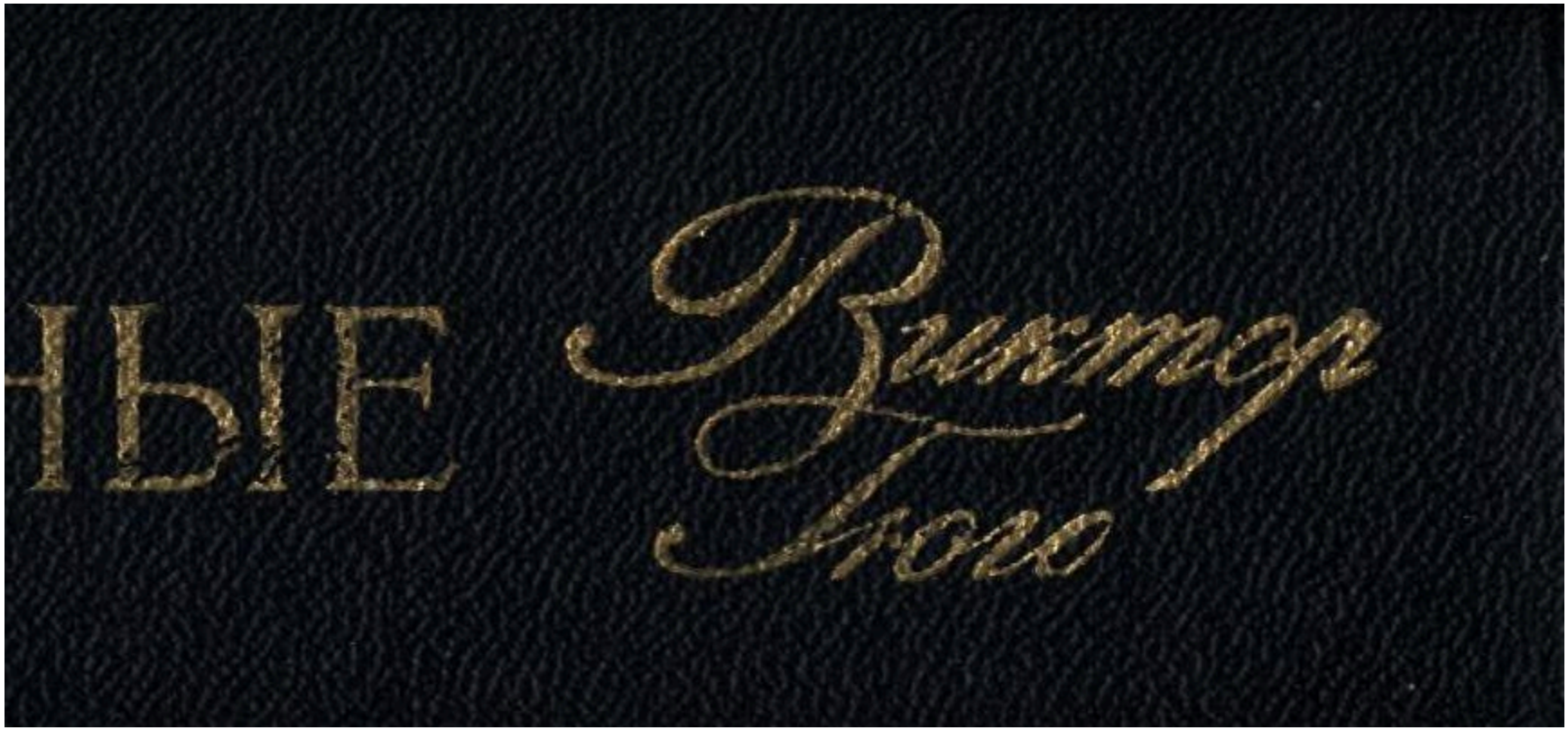
ВИКТОР ГЮГО
ОТВЕРЖЕННЫЕ
Том 2
Редактор Н. Н. Ермолаева
Художественный редактор Л. И. Королева
Технический редактор К. И. Заботина

The text on this page is estimated to be only 28.00% accurate

! l'







НЫЕ Виктор Гюго


ОТВЕРЖЕН